

Б.Ю. Норман

ИГРА
на гранях языка

Москва
Издательство «Флинта»
Издательство «Наука»
2006

УДК 811.161.1:82-7
ББК 81.2Рус
Н83

Норман Б.Ю.

Н83 Игра на гранях языка / Б.Ю. Норман. — М. : Флинта :
Наука, 2006. — 344 с.

ISBN 5-89349-790-2 (Флинта)

ISBN 5-02-033617-3 (Наука)

Книга Б.Ю. Нормана, известного лингвиста, рассказывает о том, что язык служит не только для человеческого общения, передачи информации, самовыражения личности, но и для многого другого: он развлекает, смешит, удивляет, восхищает... Речь идет о всевозможных разновидностях *языковой игры*, понимаемой максимально широко. Творцом здесь оказывается обычный человек, а объектом наблюдения и размышления — словесные шутки, анекдоты, каламбуры, массовое поэтическое творчество и т.п., вплоть до речевого кривляния и балагурства. В книге приводится также богатый материал из русской художественной литературы и фольклора, в том числе современного. Завершает книгу юмористический «Этимологический словарь», удостоенный в свое время премии 16-й страницы «Литературной газеты» и вызвавший целую лавину подражаний. Это на сегодняшний день наиболее полный (более 2000 слов) перечень шуточных словотолкований, у которых, как оказывается, есть и вполне серьезный научный аспект.

Книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию, прежде всего студентов, школьников старших классов, всех ценителей юмора и любителей русского слова.

УДК 811.161.1:82-7
ББК 81.2Рус

ОГЛАВЛЕНИЕ

«Что наша жизнь? — Игра!» (Вместо предисловия)	4
Языковое Зазеркалье	12
«Без грамматической ошибки я русской речи не люблю...»	33
Жизнь и приключения слова	76
Сегодня — это завтра вчера	116
«Синтаксис домики строит не те...»	138
О контексте, диалоге и принципе кооперации	173
«Язык создает мир» (у истоков фанталингвистики)	208
История и уроки одной забавы	252
Этимологический словарь	283
Избранная литература по вопросам языковой игры и языкового юмора	338

ISBN 5-89349-790-2 (Флинта)
ISBN 5-02-033617-3 (Наука)

© Издательство «Флинта», 2006

«ЧТО НАША ЖИЗНЬ? — ИГРА!» (Вместо предисловия)

«Игра на гранях языка» — выражение из поэмы выдающегося русского поэта Николая Заболоцкого «Рубрук в Монголии». Его следует понимать так: язык многогранен, и подобно тому как самоцветный камень своими гранями переливается и вспыхивает неожиданно под лучами света, так и языковую единицу человек может заставить «заиграть». В слове или предложении вдруг появляются новые оттенки значения, которые вызывают глубокие ассоциации, порождают сложный смысл... И об этом пойдет речь в книге. О богатстве нашего языка, о его творческом потенциале, над которым мы редко задумываемся. О тех точках, в которых сходятся интересы специалиста-филолога и рядового, обычного «носителя языка». Играть на гранях языка, таким образом, — значит обнаруживать в языке новые и новые возможности передачи мысли и чувства.

Но слово «граница» вызывает в нашем сознании и другие ассоциации. Грань — это ведь не только «плоскость», «сторона многогранника», это еще и «граница», «линия раздела». Мы говорим: *на грани возможного, перейти грань, оказаться за гранью...* В таком случае *играть на гранях* значит «балансировать», «ходить по этой острой грани, стараясь не сорваться». Или еще: оставаться по эту сторону, хотя уже отчетливо видна та сторона... И в этом — вторая задача книги: показать, как язык действует в ситуации, близкой к запредельной, когда нарушить правило «нельзя, но очень хочется». Когда же это бывает? Ну, например тогда, когда человеку нужно не столько сообщить что-то другому человеку, сколько обратить на себя внимание, произвести эффект, «поиграть» словом.

Скажем сразу: грани языка не так уж остры. Это значит, что языковые предписания и запреты — не то что правила дорожного движения, где все ясно: или нарушил, или нет. Или главная дорога, или второстепенная. В языке мы ежедневно и ежечасно сталкиваемся с ситуациями, когда невозможно однозначно ответить на вопросы: можно так сказать или нельзя? Так говорят или нет? Это правильно или неправильно? Правда, есть люди (и среди них

нередко попадают редакторы и школьные учителя), которые полагают, что в языке все твердо установлено, для каждого факта существует своя рубрика, свое правило. И если он, этот человек, данного правила не знает, то надо просто спросить у человека более сведущего, заглянуть в «полные списки, хранящиеся в недоступных для профана местах, у жрецов грамматической науки» (это цитата из статьи «Объективная и нормативная точка зрения на язык» замечательного русского лингвиста А.М. Пешковского), — уж там-то, в этих скрижалях, наверняка содержится окончательная истина... Ну что можно сказать о сторонниках такой точки зрения? Наверное, это счастливые люди: у них на все есть ответ. А может быть, им просто надо работать в ГАИ? Потому что сам язык — совсем иной природы. Его правила не жестки (хотя бы потому, что всегда предусматривают какие-то исключения), границы его классов размыты (в математике такие классы называются нечеткими множествами), его предписания имеют характер вероятностных рекомендаций (это выглядит примерно следующим образом: «лучше так, чем этак», «скорее это, чем то»). Иными словами, у говорящего человека всегда есть выбор: сказать так или иначе. Но вся штука в том, что человек часто выбирает как раз не самый простой и естественный вариант.

К примеру, вместо того чтобы кому-то просто сказать: «До свидания», он может выразиться витиевато: «Привет родителям!» или «Пишите письма!» (вовсе не имея в виду ни конкретных папу-маму, ни — на самом деле — писание писем). Вместо того чтобы поинтересоваться, допустим: «Чья это книга?», спросит: «Чей туфля?» — и сам же ответит: «Мое». Вместо нормального, полагающегося в том или ином контексте слова *качество* скажет «качество» (и «количество»), вместо *убийца* — «убивец», вместо *эпопея* — «опупея», вместо *мест нет* — «местов нет» (хорошо сознавая, что «так сказать нельзя»). Зачем все это, спрашивается? По-видимому, говорящий рассчитывает на какой-то эффект, на какое-то вознаграждение за свои речевые усилия, за риск, связанный с нарушением правил.

Все приведенные примеры — это многообразные проявления языковой игры, сложного феномена, которому посвящена данная книга. Что же такое языковая игра? Это использование язы-

ка в особых — эстетических, социальных и т.п. — целях, при котором языковая система наилучшим образом демонстрирует свою «мягкость»: языковые единицы, их классы и правила их функционирования получают тут большую степень свободы по сравнению с иными речевыми ситуациями.

Вообще, игра — чрезвычайно важный вид человеческой деятельности. Не надо думать, что она сводится к периоду детства, к возне в песочнице или беготне в пятнашки. Человек играет всю свою сознательную жизнь. Более того, можно сказать, что игра древнее, чем сам человек: ведь играют и животные. Кошка балуется с клубком ниток, собаки изображают борьбу друг с другом... Для них это забава. А что человек? При помощи игры он оттачивает наблюдательность, тренирует память, набивает руку. В процессе игры он моделирует (т.е. умственно воссоздает) разные ситуации, планирует свои ходы и просчитывает ходы партнеров — учится до известной степени предвидеть развитие событий. В игре он также примеряет к себе разные роли: ребенка, родителя, врача, просителя, шута, солдата (воина), командира (начальника) и т.д. В значительной мере благодаря игре он формирует свое окружение: подбирает себе знакомых, друзей, врагов, быть может, даже мужа или жену... В самом деле, ведь игра, как мы ее понимаем, — это не только партия в домино или заполнение карточек «Спортлото», а еще и приглашение на танец, и ухаживание за невестой, и даже свадебный ритуал... Надо ли еще распространяться о том, как важна игра для человека? И так ясно: это часть его общественной сути, его неотъемлемая социальная функция. Говоря проще, без игры человек не был бы человеком.

Есть ли у игры какие-то общие, универсальные свойства? В классической работе голландского мыслителя Й. Хёйзинги «*Homo ludens*» (Человек играющий) говорится: игра — это деятельность, осуществляемая по определенным правилам, в определенном времени и пространстве. Вместе с тем она противопоставлена обыденной жизни, не связана напрямую с биологическими процессами, без нее вроде бы можно прожить.

В этом смысле игра не приносит непосредственной пользы, это своего рода излишество, дополнение к природным процессам. Зато она доставляет человеку удовольствие или удовлетворение.

Это и есть достойная плата за те старания (напряжение, риск), которые связаны с игрой. (Не случайно, заметим, игра часто сопровождается тайной, опасностью, риском; играя, человек может забыть обо всем на свете!)

Все это — общие свойства игры как таковой. Что же касается игры словесной, игры в языке, то здесь следует подчеркнуть некоторые ее отличительные черты.

Во-первых, эта игра обязательно содержит эстетический момент. Удовольствие, которое испытывают говорящий и слушающий, не исчисляется в рублях или призах, а заключается в ощущении красоты и изящества сказанного. Кто-то из великих физиков заметил о современной ему теории: она недостаточно красива, чтобы быть истинной. Так вот, языковая игра должна быть красивой — в этом ее правда, ее право на существование. Приведем в связи с этим еще одно свидетельство. Великий английский политик сэр Уинстон Черчилль обладал даром сочинять тексты, завораживавшие аудиторию. «Чем изящнее удавалось выразить ему ту или иную мысль, тем сильнее настаивал он на ее абсолютной верности. Кажется, он находил бесспорным любое соображение, воплощенное в привлекательную форму» («Известия». 1998. 10 июля).

Тут мы невольно соприкасаемся с одной из великих философских проблем: действительно ли красота внутренне связана с истиной (и потому именно она «спасет мир»)? Оставим сию отвлеченную проблематику философам и моралистам. Но заметим, что она имеет и чисто филологическое преломление: софизмы, парадоксы, метафоры, гиперболы и прочие фигуры речи — помогают ли они общению или затрудняют его? В применении к конкретным случаям этот вопрос может получить и вовсе неожиданный вид: а всегда ли эти красоты языка уместны? Встречаются люди — наверное, каждый припомнит себе хоть один такой пример, — которые «словечка в простоте не скажут, всё с ужимкой». Для них языковая игра — привычная стихия, вторая натура, и трудно понять, говорят ли они всерьез или дурачатся и треплют языком. Вот как описывал такой «характер» (тип людей) французский моралист XVII века Жан де Лабрюйер: они придают словам «не

свойственный им смысл и сочетают их в несочетаемые выражения. Они говорят не так, как подсказывает разум или обычай, а как им взбредет в голову, и, подстрекаемые желанием блеснуть, неприметно создают свое собственное, особое, небывалое наречие... При этом они неизменно довольны собой и своим остроумием: в остроумии им, пожалуй, не откажешь, но оно так убого и, более того, так неприятно, что уж лучше бы его не было совсем». Действительно, такого собеседника приятным не назовешь: он утомляет своим пустым красноречием, вычурностью своих высказываний. Игра ведь тем и хороша, что существует на фоне не-игры: серьезной и обыденной деятельности, в том числе деятельности речевой. Так что можно вспомнить по данному поводу старую истину: все хорошо в меру, в том числе и языковая игра.

Вторая отличительная особенность языковой игры — это то, что она очень часто сопряжена с комическим эффектом. Конечно, у нее могут быть и более «возвышенные» цели — например, в текстах поэтических или магических (заклинаниях, заговорах и т.п.), но сплошь и рядом языковая игра нацелена на то, чтобы просто позабавить собеседника, развеселить, рассмешить его. В зависимости от конкретной ситуации это намерение принимает вид словесной остроты, каламбура, шутки, анекдота и т.п. И тут языковая игра — только одно из средств создания комического, она «сотрудничает» с целым рядом приемов, с помощью которых достигается юмористический эффект. Это, в частности: намеренное искажение, пародирование, передразнивание какого-то явления, преувеличение, нагромождение, выпячивание каких-то черт, вырывание, изъятие предмета из его привычной среды, столкновение несоединимых предметов или черт, например «высокого» и «низкого», вообще снижение образа, его упрощение, вульгаризация, обманывание ожидания и т.п.

Все эти приемы, разумеется, свойственны не только словесному творчеству, они проявляются и в разных жанрах изобразительного искусства (шарж, карикатура), музыки (музыкальная шутка, бурлеск), цирка (клоунада) и т.д.

И все же смешное смешному рознь. Одно дело — остроумные афоризмы и тонкие эпиграммы, а другое — языковое баловство,

«кривлянье». В первом случае говорящий апеллирует к интеллектуальному опыту и способностям слушающего, второй же случай сродни гримасничанью и паясничанью. Например, если мы читаем шуточные определения вроде *Любовь — это эгоизм вдвоем* или *Коза — корова бедняка*, то понимаем, что их автор рассчитывает на определенную «встречную» умственную работу, на сравнение с иными определениями, на удовольствие от неожиданности или парадоксальности афоризма... А если говорящий произносит «Чаво?» вместо *Что?* или «десять рублѐв» вместо *десять рублей* (хорошо зная, что надо сказать иначе), то он как бы подмигивает нам: «Конечно, я знаю, что это неправильно, что так сказать нельзя, но мы-то люди взрослые и независимые, к тому же принадлежащие к одному кругу, а потому можем позволить себе вольность и сумеем по достоинству ее оценить». Конечно, сильно оригинальными такие речевые отклонения не назовешь, но и особых усилий в их понимании и употреблении не требуется...

В научной литературе предлагается даже терминологически разграничить эти два вида языковой игры: первый называют острословием, второй — балагурством (такие термины вводятся, в частности, в коллективной монографии «Русская разговорная речь». М., 1983). Вот только на практике разграничить их не всегда легко. Если, к примеру, говорящий образует, вопреки запретам, какое-то новое слово вроде «отъезжант» или «вдолгожитель», — что это, острословие или всего лишь балагурство?

Впрочем, игра слов вообще считается довольно простым способом достижения комического эффекта. Вот как писал шотландский философ XVIII в. Генри Хоум: «Этот род остроумия зависит большей частью от выбора слова, имеющего несколько значений; благодаря ему становятся возможны различные языковые трюки и простые мысли приобретают совершенно иной вид. Игра необходима человеку как отдых после трудов; поэтому человек любит игру настолько, что наслаждается также и игрой слов... Примечательно, что этот низший род остроумия был излюбленным развлечением всех народов на известной ступени развития у них вкуса, но постепенно утратил это почетное место» («Основания критики»).

По мнению Хоума, языки со временем становятся все более точными в выражении значений, это ограничивает возможности языковой игры, постепенно сводит ее на нет. Слава Богу, философ ошибся. Языковая игра — неизбежный спутник любого естественного языка; это, как уже говорилось, вечная потребность человеческого духа...

Третья особенность языковой игры заключается в том, что в основе ее лежат некоторые внутренние, «природные» свойства самого языка — его строения и функционирования в обществе. В самом деле, стоит задуматься: ведь языковая игра — это постоянное нарушение каких-то правил или, как мы выразились, балансирование на грани нормы. И в то же время сами эти нарушения не бессистемны и случайны, а также происходят по определенным правилам, подчиняются некоторым закономерностям (потому их нетрудно разложить по полочкам). Как это объяснить?

Дело в том, что язык изначально содержит в себе глубинные, неразрешимые противоречия. Это и создает основания для различного рода отклонений, размывает, «смягчает» систему. Вспомним, с каким количеством исключений из грамматических правил нам приходится сталкиваться в школьном курсе русского языка! А лексика, т.е. словарный запас? Ведь тут что ни слово — то свое, особенное значение, подчас с трудно уловимыми оттенками... И признаемся себе: если бы мы располагали неограниченным временем (например, при изучении или преподавании языка) и неограниченным пространством (например, неограниченной бумажной площадью при издании книг), то количество этих исключений и особенностей выросло бы во много раз! Просто мы вынуждены закрывать глаза на многие и многие сложности в языке, представлять его в книгах и на уроках более простым и «более системным», чем он есть на самом деле, — и в этом уже скрывается неразрешимое противоречие.

Получается, что язык, при всей его системности, — очень уж своеобразная система: сложная, «мягкая», противоречивая. А языковая игра все эти противоречия безжалостно вскрывает и показывает нам: вот они, исключения и отклонения, вот они, языковые сложности! И в этом, может быть, самая большая польза от изучения того феномена, которому посвящена данная книга. Да-

лее мы и постараемся систематизировать многообразные случаи языковой игры в соответствии с теми глубинными противоречиями, которые определяют природу языка. Иллюстративным же материалом для нас послужат факты современного русского литературного языка — в первую очередь цитаты из художественных текстов, а также примеры из публицистических изданий, разговорной речи, городского фольклора.

ЯЗЫКОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Начнем мы наш обзор с наиболее фундаментального противоречия, которое уходит своими корнями в общественную природу языка. Известно: язык отражает действительность, с его помощью человек сообщает о чем-то, что происходит в мире (в том числе и в самом человеке). В этом смысле язык вторичен, производен от реальности. Слово *стол* потому и существует, что в реальном мире существует предмет стол (точнее говоря, некоторое множество сходных предметов) и для человека важно выделить этот предмет из массы других. Не было бы самого стола — не было бы и соответствующего слова — кажется, все ясно?

На деле же все обстоит значительно сложнее. Наше средство общения — язык — обладает достаточной самостоятельностью. Его значения нередко «замыкаются на себе» (т.е. за ними, случается, не стоит никаких объективных реалий), его правила не мотивированы непосредственно миром вещей, его классификации идут вразрез с объективными природными признаками... Получается, у языка — своя собственная система, своя жизнь. А человек, пользующийся языком, должен по мере возможности совмещать эти две системы — языка и реальности, согласовывать их между собой. Хотя бывает, что по каким-то причинам он не может или не хочет этого делать, и тогда «зазор» между миром слов и миром вещей увеличивается, а в конкретном случае может даже стать, что человек, утрачивая под ногами почву реальности, частично «переселяется» в мир языка.

Приведем пример из художественной литературы. Девочка, будучи в восторге от стихотворения М. Лермонтова «Русалка», читает его своей сестре:

«Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны... и т.д.

— Ну? Ну, хорошо? — нетерпеливо спросила я Муську, закончив чтение.

— Ага, — ответила она басом и, помолчав, сурово спросила: — Лялька! А лобзанья и перси — это чего?

Я растерялась, но лишь на мгновение.

— Ну, дура... Ну как ты не понимаешь? Это такие цветы, необыкновенные, подводные... чудеса морские... или такие, знаешь, большие золотые рыбки...» (О. Берггольц. «Дневные звезды»).

Можно, даже не делая скидки на возраст сестер, согласиться с героиней: слова здесь так прекрасны, так чарующи, что, право, не важно — что за ними стоит. В сущности, ведь и русалка — существо фантастическое, выдуманное; намного ли оно понятнее читателю, чем таинственные лобзанья и перси? Добавим, что и вполне взрослый человек, и не только по отношению к поэтическим текстам, позволяет себе иногда весьма произвольно трактовать значения слов (у нас еще будет возможность в этом убедиться).

Самый простой вид языковой игры, основанной на отношениях языка и действительности, — это когда название подменяет собой предмет, «слово и вещь меняются ролями» (М.В. Ляпон). Подобные фигуры речи нередки в художественной литературе. Вот один пример. Герой рассказа, тяжелобольной человек, постепенно утрачивает свободу передвижения. «...Уже ускользнул из власти его коридор, и в самой комнате, на глазах у него, прекратилось значение пальто, дверной задвижки, башмаков. Он знал: смерть по дороге к нему уничтожает вещи» (Ю. Олеша. «Лиомпа»). В этой цитате некоторые слова как бы отождествились, срослись с предметами; отсюда и обороты типа «значение пальто» и т.п. Еще несколько иллюстраций, уже без комментариев:

«И слово чудное “бутылка”

Опять встает передо мной.

Салфетка, перечница, вилка —

Слова, прекрасные собой...» (Н. Олейников. «На выздоровление Генриха»).

«...Мы с удовольствием отмываем слово “флакон” в тепловатой воде, любуясь идеей грани, пока из нее не сверкнет, мыльно и хрустально, луч детства...» (А. Битов. «Пушкинский дом»).

«Потом немного как бы отдохнул — два часа тяжелого, липкого сна. Причем спал почему-то не под одеялом, а на одеяле — падежи перепутал и предлоги...» (В. Попов. «Успеваем...»).

Тот же прием «игры слова с вещью» используется в малых жанрах литературы и фольклора — пословицах и афоризмах, загадках и шарадах, ср. следующие примеры:

«Из спасибо шубы не сошьешь» (пословица).

«Нельзя напиться словом “вода”, нельзя плыть по формуле H_2O » (афоризм, принадлежащий Алану Уотсу).

«Что находится посередине Земли?» (загадка; ответ — буква М).

«Когда старший пропускает вперед младшего?» (ответ — в словаре).

«Какое слово пишется всегда неправильно?» (ответ — *неправильно*).

«Как из реки сделать море?» (ответ: река — репа — ропя — роза — коза — кора — гора — горе — море).

«Первый слог метут метлой,
Глазом назову второй,
Третий резать хлеб годится,
А четвертый лишь частица» (шарада; ответ: *сороконожка*).

Еще одна сфера, в которой отношения слова и предмета свойственно «переворачиваться», — это область магии: верований, заклинаний, заговоров... Здесь слово становится полноценным представителем предмета. Если ты относишься к некоторому объекту с обожанием, не употребляй его имени всуе (впустую); если ты боишься предмета или ненавидишь его, постарайся его имя забыть. Да, существа и явления страшные, опасные, непознаваемые в древнейшем обществе подлежали словесному уничтожению. Это значит, на их названия налагался запрет (табу). Считалось, что если уничтожить имя (например, не произносить его, стереть из памяти, проклясть или, позже, сжечь бумажку с написанным на ней именем), то само явление исчезнет, канет в небытие, перестанет беспокоить.

А уж если сильно понадобится, то можно назвать его как-нибудь по-другому, «неопасно». (Такие «смягчающие» названия-

замены называются эвфемизмами.) Таким образом человек пробовал «бороться» со смертью, с болезнями, с хищными зверями... Между прочим, исторически эвфемизмами в славянских языках являются названия медведя (буквально «тот, кто ест мед») и змеи (буквально «земная», «ползающая по земле») — столь опасны были эти существа для древнего человека, что их изначальные названия забылись!

Если же вспомнить еще какие-то особые ситуации — выбор имени при рождении человека, переименование (например, при переходе из светской жизни в монашескую), употребление проклятий и заклинаний и т.п., — то становится ясно, что языковая игра довольно тесно «сотрудничает» с магической функцией языка. Вот, к примеру, как описывает И.П. Сахаров, знаменитый собиратель старинных обычаев, предновогодние гадания на Руси: «Собравшись все вместе, в один дом, девицы выходят на улицу: здесь каждая из них должна спрашивать об имени первого встретившегося ей человека. Они верят, что таким именем будет называться их суженый... Пересчитывают в лестницах балясы, говоря: “Вдовец, молодец”, и, доходя до последней, смотрят: на каком слове остановились, такой и будет муж». Случайно выпавшее слово становится здесь знамением судьбы.

Игра, основанная на «перепутывании» языка и действительности, может также иметь своей целью достижение чисто комического эффекта. Примером нам на сей раз послужит анекдот.

«Часовой стоит на посту. Кто-то идет.
— Стой! Кто идет? Скажи пароль!
— Пароль.
— Проходи».

Второй анекдот имеет своим источником детскую речь. Мальчик ябедничает:

«— А Вовка из коровника на ботинках плохое слово принес!»

Часто анекдоты и шутки строятся также на обыгрывании грамматических категорий (числа, времени, рода и др.), не совпадающих с категориями объективной действительности.

- «Преподаватель техникума спрашивает студента:
- В каком числе стоит слово *брюки*?
 - Верхняя часть в единственном, а нижняя — во множественном».
 - «— Как будет будущее время от глагола *жениться*?
 - Развестись».
 - «— Какого рода существительное *яйцо*?
 - Неизвестно, надо подождать, пока из него вылупится цыпленок».

В стремлении человека «продублировать» или даже вовсе подменить языком действительность могут играть роль и определенные объективные предпосылки: не только возраст, но и, скажем, психическая или даже национальная предрасположенность. Известный польский языковед Витольд Дорошевский вспоминал, как в свое время (дело было еще перед Второй мировой войной) его поразили в Германии аккуратные таблички над всем, что можно было поименовать. Этакий чиновнический зуд, страсть к инвентаризации. На почтамте, возле лестницы, красовалась табличка «Лестница».

В другом месте стоял киоск, и над ним была вывеска «Киоск»...

Тот же Дорошевский рассказывает в своей книге о двух дамах, прогуливавшихся в парке по направлению к обзорной площадке (с которой открывался прекрасный вид). И одна из них, дойдя до таблички-указателя с надписью «К месту обзора», вздохнула: «Ах, вундершён!» («О, прекрасно!») — так, как будто этот прекрасный вид уже был у нее перед глазами. Можно было поворачивать назад...

Итак, человек подчас удовлетворяется словом (названием) там, где только должна была бы начаться его познавательная, исследовательская деятельность. И это не только смешно, иногда это порождает серьезные проблемы.

Так, в науке знание специального названия — термина — создает иллюзию знания предмета. «Знать имена вещей, — писал французский языковед Жозеф Вандриес, — значит иметь над ними власть... Знать название болезни — это уже наполовину вылечить ее. Нам не следует смеяться над этой первобытной верой. Она живет еще в наше время, раз мы придаем значение форме диагноза. “У меня очень голова болит, доктор”. — “Это цефалалгия”. “У меня плохо работает желудок”. — “Это диспепсия”. Этот

мольтеровский диалог повторяется каждый день в приемных врачей... Но ведь врач ограничивается, в сущности, тем, что подставляет таинственное слово на место обычного слова, понятного для всех больных. А больные чувствуют себя уже лучше только от того, что представитель науки знает название их тайного врага». Насколько человек действительно понимает значение употребляемого им слова? Это отдельная и интересная тема, к которой мы еще вернемся.

А пока подведем промежуточный итог: «перевертывание» отношений между языком и действительностью, подмена предмета словом или слова предметом — это, конечно, очень характерное свидетельство относительной самостоятельности языка. И все же человека, желающего пошутить или «красиво выразиться», не покидает при этом чувство некоторой искусственности или даже абсурдности произносимого. (Ну кому, в самом деле, придет в голову шить из слова шубу или класть его в карман? Кто сегодня всерьез будет связывать статус своего будущего мужа с количеством столбиков в лестничных перилах? Кто удовлетворится чтением таблички, вместо того чтобы полюбоваться видом на город?)

И потому описанные выше случаи все-таки относительно редки и специфичны. А значительно более естественным и более показательным проявлением автономии языка служат иные — массовые — случаи расхождения мира слов с миром вещей. Вот они-то действительно заставляют усомниться в справедливости тезиса о вторичном, «отражательном» характере языка или во всяком случае принимать его с большими оговорками.

Речь идет о внутреннем своеобразии языковой системы, об оригинальности языковых классификаций, о «труднообъяснимости» отдельных языковых значений.

Начнем с лексики. Если язык отражает мир, то почему он его не воспроизводит подряд и целиком, а делает это выборочно и в определенной последовательности? Обратимся к окружающей нас действительности — и что мы увидим?

Рядом с реалиями, давно и четко обозначенными в языке, существуют, так сказать, «белые пятна»: участки, кусочки объективной действительности, не имеющие своего собственного обозначения. Вот, к примеру, рука: уж, казалось бы, какой предмет

знаком нам лучше, чем этот, изучен в мельчайших подробностях? Внутреннюю сторону кисти мы обозначаем словом *ладонь*. А вот как обозначить противоположную сторону? *Тыльная сторона ладони*? Получается, что только так, описательно.

Или пальцы. Каждый из них имеет свое название (которое, кстати, приходит нам в голову с неодинаковой скоростью: легче всего вспоминаются большой палец и мизинец, потом указательный, потом средний и безымянный). А как называются промежутки («выемки») между пальцами? Никак специально не называются... А как назвать складки на внутренней стороне пальцев? Да так и назвать: складки на внутренней стороне пальцев, по-другому вроде бы и не скажешь... А пальцы на ноге — чем они хуже пальцев руки? Но на ноге мы выделяем названием, пожалуй, только большой палец да еще, быть может, мизинец — все остальные просто нумеруем: второй палец, третий... Что за дискриминация? И подобные вопросы можно задавать до бесконечности. Получается, что язык имеет на окружающую нас действительность свою точку зрения, разрабатывает как бы свою «концепцию». Некоторые объекты он просто не хочет замечать, а другие «ранжирует», распределяет по степени важности...

Объяснение всему этому находится без труда. Это, конечно, не всемогущий и «самовитый» язык проявляет свои прихоти и капризы, а его властелин, человек, демонстрирует свой прагматизм. То, что для него важно, что используется в жизни часто, что приводит к каким-то практическим результатам, то и называется в первую очередь. Указательный палец мы, конечно же, используем чаще, чем безымянный; вообще пальцы на руке нам приходится различать чаще, чем пальцы на ноге... Вот отсюда и вытекают описанные выше различия. Старинная русская поговорка гласит: «Едчи рыба дать ей имя». Это значит: если ты ешь рыбу, то ее надо назвать. Если же эта рыба несъедобна и бесполезна или плавает в каких-то неведомых морях, то с присвоением ей имени можно и подождать: название надо заслужить. Поэтому в языковой картине мира совершенно естественны какие-то пропуски, «дыры» — их называют лакунами. И уже хотя бы в этом отношении язык не обязан копировать действительность.

Но мало того, что язык позволяет себе не замечать каких-то элементов реальности. Он может создавать слова, не опирающи-

еся на эту реальность. В таком случае мы имеем дело со словами-призраками, или фантомами. Нет, внешне это самые обычные слова, только за их значением не стоит никакого явления объективной действительности, это продукт умственной деятельности человека. Самые простые примеры слов-фантомов — это названия всяких сказочных и мифологических существ: *русалка, кентавр, циклоп, домовой, водяной, леший, бука, упырь, гоблин*... В принципе отдельные элементы, составные части данных феноменов могут существовать в реальности — например, рыбий хвост, голова и туловище женщины и т.п. Но комбинация их — это уже порождение человеческой фантазии: русалок в природе не существует и кентавров тоже. И все же, как говорят юристы, прецедент создан: если прижились в языке русалки и кентавры, кто нам запретит сочинять новые сказки, продолжать ряд слов-фантомов, играть в эту игру дальше? Вот как это делает маленькая девочка в стихотворении Корнея Чуковского:

«Дали Мурочке тетрадь,
Стала Мура рисовать.
“Ну, а это что такое,
Непонятное, чудное,
С десятью рогами,
С десятью ногами?”
“Это Бяка-закаляка кусачая.
Я сама из головы ее выдумала”.
“Что ж ты бросила тетрадь,
Перестала рисовать?”
“Я ее боюсь”».

Но в принципе подобным «мифотворчеством» занимаются и взрослые. К примеру, озорные книжки детского писателя Григория Остера, наряду с «нормальными», обычными персонажами — какими-нибудь там Машей, дядей Гошей, удавом, мартышкой, — населены загадочными существами и предметами. Среди них: фарик, пусик, Мряка, фуфыра, Слюник, залява, мукука, всхлюп и др. Это все, конечно, тоже фантомы, причем не такие общеизвестные, как русалка или бука. Но читателю они никаких особых хлопот не доставляют. Мы просто принимаем предложенные ав-

тором правила игры: допустим, что существует некто по имени *Мряка*. И существует нечто, что называется *пусик*. И т.д. А дальше все эти фантомы действуют по законам жанра, например: «Мряка дружит пусики. На дружьку одного пусика Мряка тратит полдолгика. Сколько долговиков истратит Мряка на дружьку восьми пусиков?»

Большим мастером создания искусственных слов был английский ученый и писатель Льюис Кэрролл, известный нам по сказкам про девочку Алису.

В его «Алисе в Зазеркалье» есть баллада о «джаббервокках» (слово, которого нет в английских словарях), почти целиком состоящая из слов-фантомов. Вот ее начало (в переводе Д.Г. Орловской):

«Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове...»

Несмотря на «абсолютную непонятность» того, о чем тут говорится, стихи эти с удовольствием читают и дети, и взрослые: игра захватывает всех. Еще показательней в данном отношении — для русского читателя — сказочка «Пуськи бятые», принесшая ее автору, писательнице Людмиле Петрушевской, поистине всенародную популярность. Вот она:

«Сяпала Калуша по напушке и увазила бутявку. И волит:
— Калушата, калушаточки! Бутявка!
Калушата присяпали и бутявку стрямкали.
И подудонились.
А Калуша волит:
— Оее, оее! Бутявка-то некузявая!
Калушата бутявку вычучили.
Бутявка вздрезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.
А Калуша волит:
— Бутявок не трямкают. Бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые.
От бутявок дудонятся.
А бутявка волит за напушкой:

— Калушата подудонились! Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!»

Филологам такие забавы давно и хорошо знакомы. Пожалуй, самый известный пример — это предложение, которое в свое время, в 1920-е годы, придумал профессор Л.В. Щерба, чтобы показать, что даже из незнакомых, искусственных слов можно составить целое, которое будет нести некоторый смысл. Вот как это предложение выглядело: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка». С тех пор многие и многие поколения молодых филологов прошли через «глокую куздру» (об этой истории хорошо рассказано в книге Льва Успенского «Слово о словах»).

Искусственно созданные слова используются также психолингвистами. Психолингвисты — ученые, которые изучают процессы речевой деятельности, т.е. то, как человек производит и понимает текст. Их, в частности, интересует внутренняя связь между значением слова и его звуковой оболочкой. Дело в том, что звуки, из которых состоит форма слова, могут связываться у нас в сознании с определенными эмоциями, приятными или неприятными. И если «настоящее» значение слова неясно, неизвестно, то эти ассоциации играют решающую роль. В частности, описаны эксперименты, в ходе которых испытуемым предъявлялись две картинки. На одной было изображено округлое добродушное существо, на другой — мохнатый (или колючий) зверь с рогами. Задание состояло в том, чтобы определить, кто тут жаваруга, а кто — мамлыга. Ответ, кажется, напрашивается сам собой.

Слова-фантомы применяются и в иных научных целях. Скажем, во вполне серьезной книге П. Линдсея и Д. Нормана «Переработка информации у человека» приводится такое искусственное сообщение:

«В гликe с руповыми локсенами и кейтером мункните локсен в бламп, и в гратце появится бим».

В сущности, перед нами еще один вариант «глокой куздры»: высказывание, которое содержит «информацию об отношениях», но умалчивает о том, между какими реалиями эти отношения

устанавливаются. Тем не менее, как показывают авторы, и с таким высказыванием можно «работать» — например, задавать вопросы и получать ответы типа: «Где находится кейтер?» — «В глике». «Что является руповым?» — «Локсен»...

Как мы видим, это игра не только языковая. Она имеет отношение к логике и теории информации, она сродни алгебраическим операциям. Мы ведь можем складывать и умножать не только конкретные величины (например, $7 + 8 = 15$), но и величины абстрактные, о которых известно только то, что они **нечто** значат (например, $a + b = c$). Чем отличаются наши слова-фантомы от символов a , b , c в приведенной формуле? Практически ничем: мы тоже принимаем, что *путьки* и *мукуки* «что-то значат», и всё.

Но слово-фантом — не какое-то изолированное и «запредельное» явление языка, оно связано с другими, обычными словами множественными нитями. Иногда бывает так, что слово в начале своего «жизненного пути» ведет себя совершенно нормально: соотносится с соответствующим предметом и т.п. Но затем эта связь почему-то утрачивается: то ли предмет выходит из употребления, то ли выясняется, что его, собственно говоря, и не было, то ли еще что — и слово постепенно превращается в фантом.

Очень интересны, в частности, такие слова, которые «обесмысливаются» по мере развития науки. Это, так сказать, вехи, отмечающие тупики на пути человеческого познания. К примеру, в XVIII веке ученые считали, что есть особое вещество, которое рождает и передает тепло — теплород. Позже, с развитием молекулярной физики, это представление отпало, а слово *теплород* так и осталось в языке — как памятник заблуждению. Подобной историей может похвастаться существительное *флогистон* — так ученые в XVIII веке называли «огненную материю», которая, по их мнению, содержалась в горючих веществах и выделялась из них при горении. Позже флогистонная теория горения сменилась кислородной, но название *флогистон* так и сохранилось в словарях и энциклопедиях. Любопытно, все ли науки находят в себе смелость отказываться от одних понятий в пользу других — или только экспериментальные? Это отдельная тема, так же как и вопрос о словах-призраках в сфере общественной жизни — идеологии и т.д.

Нередко слово утрачивает предметную соотнесенность в составе устойчивого словосочетания — фразеологизма. Это значит, что сочетание в целом имеет свой смысл, а его элемент, отдельное слово, как бы растворяет свое значение в смысле целого выражения. Таковы в современном русском языке фразеологизмы *бить баклуши* — «бездельничать, лодырничать», *точить лясы* — «болтать, трепать языком, сплетничать», *типун (тебе) на язык* «не говори так», «я не хочу, чтобы случилось то, о чем ты говоришь», *у черта на куличках* — «очень далеко», *турусы на колесах* — «нелепица, вздор» и др. *Баклуши*, *лясы*, *типун*, *кулички*, *турусы* — все эти слова когда-то обозначали (а можно сказать, в какой-то степени и сегодня обозначают) определенные предметы. В частности, *баклуши* — это чурки, заготовки для деревянных ложек, *лясы* (*балясы*, *балясины*) — столбики в перилах, ограде и т.п. Но постепенно эти слова превращаются в фантомы — во всяком случае, когда они употребляются в составе фразеологизмов, за ними уже не стоит никаких предметов.

Близки к этому случаю и слова, которые существуют только в определенных литературных или фольклорных контекстах. Все мы читали в детстве сказку «Колобок» и помним просьбу деда к бабке: «А ты по амбару помети, по сусекам поскреби — глядь, муки и наберется». Что такое *сусеки*? (Один маленький мальчик так переименовал незнакомое ему слово: «Ты по соседкам поскреби...») *Сусеки*, вообще-то, — «закрома», большие ящики, в которых хранили зерно. Но слово это постепенно забывается, выходит из употребления, остается только в сказке, которая вряд ли забудется. Но тут мы сталкиваемся с целым рядом лингвистических проблем. Можно ли считать фантомом слово, значение которого известно только узкому кругу лиц (например, специалистов)? Если есть слова, знакомые носителю языка лишь «понаслышке», по их оболочке, можно ли считать, что он их знает? Как далеко может отходить переносное значение от первоначального, прямого, может ли оно превращаться в «нуль», в отсутствие значения?

Все эти вопросы очень интересны, но, к сожалению, уведут нас за границы нашей темы. Поэтому здесь мы только отметим, что утрата предметной соотнесенности слова, отрыв его от пита-

тельной почвы действительности не только свидетельствует об относительной автономии языка, но и создает богатые возможности для языковой игры. Такие слова, как мы видели, можно «безнаказанно» создавать в развлекательных и прочих целях, ими можно манипулировать, придавать им чуть ли не любое значение...

Лакуны и фантомы в лексической системе — это еще не все проявления самобытности и самостоятельности языка. Не менее характерным доказательством этих его качеств является своеобразие языковых классификаций. Дело в том, что те разбиения на классы, которые предлагает нам язык, часто не совпадают с классификационными основаниями, предлагаемыми нам объективной действительностью. Ничего удивительного в этом нет. Чем дальше продвигается человек по пути познания окружающего мира, тем глубже он узнает суть вещей, тем полнее и совершеннее становятся его определения... Но — одновременно — тем заметнее становятся расхождения между классификацией научной и классификацией бытовой, может быть, примитивной и архаичной, но уже закрепленной в языке.

Если кто-то попросит перечислить известных нам насекомых, мы с легкостью назовем муху, комара, муравья, кузнечика, паука, жука, скорпиона, таракана... Для нас насекомое — это маленькое животное, с ножками и, возможно, крылышками, которое ползает (а возможно, также прыгает или летает); остальное неважно. Наука же подходит к своему объекту более тщательно, учитывает его существенные признаки: строение тела, особенности поведения и т.п. И с этой точки зрения оказывается, что мухи, комары, жуки и т.д. действительно представители класса насекомых, а вот пауки и скорпионы не относятся к насекомым и в научной номенклатуре образуют отряды иного, отдельного класса паукообразных.

Точно так же для нас минерал — это какое-то природное образование, твердое, вроде камня, встречающееся в горах и добываемое людьми. Наука же определяет минерал как «природное тело, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, образующееся в результате физико-химических процессов на поверхности или в глубинах Земли» (Большая

советская энциклопедия, 3-е изд., т. 16). В соответствии с данным определением к минералам относятся не только малахит, апатит, кварц и т.д., но и, скажем, лед, а быть может, даже вода.

В той же энциклопедии можно найти немало других примеров расхождения научной теории и языковой практики. В частности, при объяснении того, что такое орех, специально указывается: «Неправильно называют орехом семена некоторых сосен («кедровый орех»), косточку грецкого ореха («грецкий орех»), сухую костянку кокосовой пальмы («кокосовый орех»)» (т. 18). При определении ягоды говорится: «Ягодой часто неправильно называют плоды земляники, малины, инжира и некоторые др.» (т. 30).

Действительно, для обычного человека ягода — это маленький сочный плод кустарника (обычно сладкий или кислый), и всё. Пусть себе познание развивается как ему угодно, язык не склонен менять свою устоявшуюся точку зрения, он консервативен. Впрочем, утешением может служить то, что наши «наивные» определения не очень мешают нам в практической жизни. Мы знаем, что малина вкусна, и едим ее, независимо от того, ягода она или что-то там иное... Другое утешение — в иных языках классификация природных и общественных явлений имеет свои странности и непоследовательности, иногда, пожалуй, даже бóльшие, чем в русском языке.

Вот как выглядит, например, часть классификационной системы языка навахо (индейское племя Северной Америки): «Индейцы вначале классифицируют все живые существа на говорящие и неговорящие... Неговорящие существа затем подразделяют на животных и растения. Потом первые на основе очевидных воспринимаемых свойств подразделяются на «бегающих», «летающих» и «ползающих». Далее каждая группа еще раз делится на «передвигающихся по земле» и «передвигающихся по воде», а также на «передвигающихся днем» и «передвигающихся ночью». Для всех этих описаний, основанных на отдельных признаках, имеются характерные названия» (Ф. Кликс. «Пробуждающееся мышление»). Не стоит только относиться к подобным «картинам мира» высокомерно: это, мол, свойство примитивных народов. Наша собственная «наивная» классификация — например, де-

ление на животных и растения и т.д. — тоже довольно далека от истины.

Получается, что языку свойственно весьма вольно поступать с реалиями, с предметами объективной действительности. И если так, то стоит ли удивляться тому, что конкретный человек в своей речевой деятельности может еще сильнее нарушать правила, перетасовывать классификационные признаки?

Известны казусы, случавшиеся даже с великими художниками слова. А.С. Пушкин, похоже, плохо различал медь и бронзу, если позволил себе в «Медном всаднике» (медном!) выразиться так:

«...Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне».

М.Ю. Лермонтов приписал львице наличие гривы (хотя грива бывает только у льва):

«И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел...»
(«Демон»).

А И.А. Крылов в своем переложении басни Лафонтена «Стрекоза и муравей» вынужден был пойти на некоторые изменения. В оригинале у французского поэта действуют цикада (насекомое, близкое к кузнечнику) и муравей (кстати, по-французски оба существительных относятся к женскому роду, так что это две «кумушки»). Крылов заменил цикаду на стрекозу, но при этом сохранил особенности поведения насекомого: стрекоза у него «прыгает» и «поет» в мягких муравах! «Стрекозы, — замечает Л. Успенский в «Слове о словах», — насекомые, которые в траву попадают только благодаря какой-нибудь несчастной случайности; это летучие и воздушные, да к тому же совершенно безголовые, немые красавицы».

Самое интересное тут, что обычный читатель подобных ляпсусов просто не замечает. И не потому, что находится под гипнозом авторитетов (или вообще печатного слова), а более всего по-

тому, что он привык к нежесткости языковой системы: тут «всё может быть». Если есть кентавры и циклопы, человеки-невидимки и черепашки ниндзя, то почему не быть львицам с гривой или прыгающим стрекозам...

Создавая свои классы предметов и — на их основе — свои понятия, практическое (или «наивное», что в данном случае одно и то же) мышление человека как-то их упорядочивает, соотносит друг с другом. В конце концов классы выстраиваются в систему последовательного подчинения — иерархию. Например, мы можем сказать: жук — это насекомое, насекомое — это животное, животное — часть природы... Только надо признаться, что и эта иерархия довольно непоследовательна и случайна. Посмотрим на примеры того, как некоторые предметы объединяются нашим сознанием в классы.

Туфли, тапочки, сапоги, ботинки, кроссовки... — это всё обувь.

Молоток, дрель, плоскогубцы, отвертка, клещи... — инструменты.

Шапка, кепка, шляпа, берет, фуражка, папаха... — головные уборы.

Молоко, сыр, творог, кефир, сметана, брынза... — молочные продукты.

Чашка, кружка, стакан, бокал, фужер... — то, из чего пьют.

Марки, монеты, значки, открытки, спичечные этикетки... — то, что коллекционируют.

Уже тут видна первая непоследовательность: одни классы имеют свое четкое, устойчивое, однословное наименование (*обувь*, *инструменты*), другие обозначаются устойчивым же, но словосочетанием (*головные уборы*, *молочные продукты*), у третьих и такого названия нет, они могут быть обозначены по-разному (*то, из чего пьют*; *посуда для питья*; *чашки-кружки* и т.п.). На примере данных классов легко также показать нежесткость языковой системы.

Скажем, класс головных уборов в принципе проникаем, незамкнут. Можно добавить в него платок, шаль, тюбетейку, башлык, феску, чалму и т.д., хотя мы чувствуем, что с каждым шагом все дальше отходим от «типичного», привычного нам головного убора. А если продолжить этот список: войдет ли в него каска? Мотоциклетный шлем? Парик? Фата? Корона?.. Трудно сказать.

Это уже то ли головные уборы (по некоторым своим признакам), то ли нет (по другим). Границы класса оказываются нечеткими, размытыми — хотя ясно, что у него есть некоторое более или менее стабильное «ядро». (Сказанное, естественно, относится и к другим выделенным нами группам.)

Сложность лексической классификации связана и с тем, что слова неодинаковы по своей способности налаживать иерархические связи с другими словами. Есть такие, которые с легкостью образуют родовидовые отношения (например: *туфли* — вид обуви, *отвертка* — вид инструмента), а есть такие, которые плохо поддаются подобной систематизации. Это касается, в частности, слов неоднозначных, с отвлеченным или оценочным значением (например, *загадка* — это вид чего? *Бессмыслица* — это вид чего?). Кроме того, носителю языка привычно «работать» с некоторым наиболее удобным уровнем обобщения (примером может служить слово и понятие *жук*), а на уровне выше- и нижележащие (соответственно: *насекомое* и, допустим, *навозник*) он редко обращает внимание, они для него служат скорее своеобразным фоном...

Наконец, сами отношения иерархии, подчинения понятий в языковой классификации не так уж отчетливы и прозрачны. Вот, скажем, сыр — это вид молочных продуктов. А брынза? Находится ли она на том же уровне обобщения? То есть это тоже вид молочных продуктов? Или же это вид сыра? Другой пример. Птица — в языковом или, если угодно, наивном понимании — относится к животным или же существует рядом с ними как отдельный класс? Как мы скажем по-русски: «Птицы и другие животные спасались от пожара» или же просто «Птицы и животные спасались от пожара?» Кажется, первое предложение вызывает у нас сомнения («режет слух»), в то время как второе выглядит вполне нормально; это значит: птица — не животное...

Подобных вопросов и сомнений может быть множество. Главное же, сложность этих внутриязыковых отношений дает массу поводов для языковой игры. Дело в том, что принадлежность понятий к одному уровню обобщения не только интуитивно ощущается человеком, но и выражается формально, в тексте. Простейшая «проба на однородность» — возможность установления

между словами сочинительной связи. На практике это означает: если имеется сочетание из двух слов, соединенных союзом *и* (или каким-либо другим сочинительным союзом), то оба его члена должны принадлежать к одному уровню обобщения. Поэтому нормальными, правильными являются конструкции типа *сад и огород, стол и стул, учебники и словари, преподаватели и студенты*. А ненормальными, по крайней мере странными, являются *книги и словари, стол и мебель, яблоки и овощи*. Тем не менее именно такие словосочетания встречаются иногда в речевой практике: *куплю книги и словари* (объявление в газете), *машины для перевозки людей и студентов* (из документа) и т.п. Естественно, что они составляют один из объектов языковой игры.

Однородность слов, вступающих в сочинительную связь, заключается не только в том, что они должны принадлежать к одному уровню обобщения, но еще и в том, что они должны относиться к одной тематической сфере (например: «мебель», «обувь», «искусство», «природа» и т.п.), а желательно также иметь общие грамматические признаки (свойства части речи и т.п.). Нарушение этих требований создает дополнительный эстетический или комический эффект, который часто используется в художественной литературе. Приведем соответствующие примеры.

«— Как ты? — говорю. — Я ведь тебя оставил социалистом, республиканцем и спичкой, а теперь ты целая бочка.

— Ожирел, брат, — отвечает, — ожирел и одышка замучила» (Н.С. Лесков. «Смех и горе»).

«— Дайте мне щетку, чистый воротничок и согласие на законный брак, — сказал Норфольк» (А. Бухов. «Лавочка смеха»).

«Восходят из долины к террасам англичане, аббаты, экскурсии и ослы» (О. Форш. «Сумасшедший корабль»).

«Кто вы такая? Откуда вы?

Ах, я смешной человек...

Просто вы дверь перепутали,

Улицу, город и век»

(Б. Окуджава. «Тьмою здесь все занавешено...»).

«Сержант Ланцов — старик тридцати лет, кадровый... учитель жизни и минометного искусства, которое есть первейшее для нас...» (Б. Окуджава. «Уроки музыки»).

«Вот, скажем, я любим собой,
Своим обедом и женой,
Пишу стихи, имею сбыт...»
(Д. Пригов. «Изгнанники земли»).

Во всех приведенных цитатах происходит соединение несовместимого — слов, принадлежащих к заведомо разным тематическим классам (соответственно понятий, относящихся к разным сферам действительности). Приведем теперь несколько примеров, в которых сочинительная связь объединяет слова, разнородные по своей синтаксической функции (синтаксическая функция — это грамматическая роль, которую играет слово в предложении, например: подлежащее, дополнение и т.п.) — это приводит, в общем-то, к тому же эффекту.

«Скрипка и немножко нервно» (название раннего стихотворения В. Маяковского).

«Но, живого и наяву,
Слышишь ты, как тебя зову»
(А. Ахматова. «Cinque»).

«Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей...»
(Б. Пастернак. «Лето»).

«Забыться бы, заснуть летаргическим сном и очнуться бы в семидесятом году профессором и при коммунизме» (Ю. Щеглов. «Поездка в степь»).

«— А как же ты сюда попал?
— ...Я сюда, кажется, взбежал. Или вскочил.
— Как вскочил?
— С разбегу! — объяснил слоненок.
— По-моему, ты вскочил не с разбегу, а с перепугу, — сказала мар-
тышка» (Г. Остер. «Бабушка удава»).

«После того как обезьянка ушла, Гена вышел вслед за ней и написал у входа на бумажке:

ДОМ ДРУЖБЫ ЗАКРЫТ НА УЖИН
Потом он подумал немного и добавил:
И ДО УТРА» (Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»).

При всем разнообразии приведенных примеров у них есть нечто общее: это намеренно допускаемая неправильность при образовании сочинительных конструкций. Разъясним данное свойство на последнем из примеров. Здесь *закрыт на ужин* — значит «закрыт по какой причине»? (или «с какой целью?»). А *закрыт до утра* — это значит «закрыт до какого времени? как долго?». Объединять причину и время в сочинительном ряду в общем-то нельзя, однако «если нельзя, но очень хочется, то можно», — вот тут-то и рождается игра. Конечно, не всегда можно с уверенностью сказать, сознательно ли использовал писатель данное средство (как прием) или же у него просто «так получилось». Но читатель наверняка оценит по достоинству дополнительные усилия автора.

Что же касается сведения в одну сочинительную конструкцию обстоятельств причины и времени, то здесь уместно вспомнить анекдот об армейском старшине, который превзошел Эйнштейна, сумев объединить пространство и время. Он приказал своим солдатам: «Копайте вот от этого забора и до обеда!» Вообще, один из самых характерных в данном отношении жанров, в котором регулярно происходит речевое нарушение логических оснований классификации (в том числе единства уровня обобщения и тематической однородности понятий), — это так называемые армейзмы: перлы армейской словесности, приписываемые не шибко грамотным офицерам. Тут действительно — чем глупее, тем лучше.

Почему у вас здесь водятся крысы и другие насекомые?
Сначала пройдут люди, а потом поедом мы.
Поставьте на дороге шлагбаум или толкового майора.
Что у вас за носки? Вы курсант или где? Вы на занятиях или как?
Надо смотреть не глазами, а подбородок поворачивать!
Товарищ солдат, вы где были? В туалете? Вы бы еще в театр сходили!

А вдруг война или какое другое мероприятие?
Навести порядок на лице и в кровати.
Сапоги и портянки должны стоять около табурета.
Рулевое управление танка служит для поворота направо, налево и в другие стороны.
По команде «вольно» ослабляется не правая и никакая другая нога, а левая!
Опрос будет письменный, но устно.
Короткими перебежками от меня и до следующего столба!
Автобусов не будет! Придут два ЗИЛа, один — ЗИЛ, другой — КамАЗ.
Передайте вашему командиру, пусть найдет меня живым или по телефону.
Носки должны быть не какие-нибудь красные или зеленые, а однотонные.
Я вас не спрашиваю, где вы были. Я спрашиваю, откуда вы идете.
Чтоб к моему возвращению ногти были подстрижены. И на пальцах тоже!
Пусть он будет вытянутым, но чтобы это был круг!
Противогаз надевают на лицевые части лица.
Я вам и старшина, и отец родной, и бабушка!

Смешно? Конечно, смешно. Но для филолога — еще и интересно: какие правила построения текста здесь нарушены?..

Напомним: внутренние принципы лексической классификации, особенности «устройства» словарного запаса в голове человека — это проявление самобытности и относительной самостоятельности языка. И они же — в случае нарушения писанных и неписанных правил — предоставляют говорящему многообразные возможности для языковой игры.

А упомянутые нами конкретные факты — условия образования сочинительных конструкций — это удобный повод для того, чтобы перейти ко второй составной части языковой системы (кроме лексики), к грамматике.

«БЕЗ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ Я РУССКОЙ РЕЧИ НЕ ЛЮБЛЮ...»

Если в том, что касается закрепления названий за предметами и самого устройства словарного запаса, язык то и дело демонстрирует свою самостоятельность, свое право на независимость от окружающего мира, то в сфере грамматики это его своеобразие доведено до максимума.

Можно сказать, здесь оно задано изначально. Дело в том, что слова мы можем — пусть с некоторыми оговорками — соотносить с реалиями объективной действительности. Мы можем показать: вот это — стол, вот это — ходить, вот это — зеленый... Грамматические же значения настолько отвлечены, оторваны от действительности, что показать, чему они соответствуют в реальности, трудно или просто невозможно. Как показать «в жизни» будущее время? Как продемонстрировать несовершенный вид глагола? Что в природе соответствует родительному или творительному падежу? И т.д.

Конечно, и среди слов встречаются такие, которые обозначают максимально обобщенные, абстрактные понятия. Это значит — лексические значения тоже бывают отвлеченные. Например: *истина, справедливость, отношение...* И все же значения этих слов намного более конкретны и наглядны, чем значения грамматические, которые преимущественно принадлежат самой языковой системе, как бы замыкаются в ее границах.

Итак, если лексика (словарный состав) отражает мир в каком-то искривленном и колеблющемся зеркале, то грамматика вообще слабо связана с этим миром. И тем не менее языков без грамматики не бывает. Каждый язык обязательно включает в свою систему какие-либо грамматические категории — такие, как род, число, падеж, лицо, время, вид, наклонение, степени сравнения и т.п. (хотя, конечно, сам набор этих категорий в каждом языке своеобразен. В частности, в русском языке есть такие грамматические категории, которых нет в английском, и наоборот).

Зачем же вообще нужна грамматика? Для чего служат грамматические значения, формы и объединяющие их грамматические категории? Как гласит старинный афоризм, «грамматика ум

в порядок приводит». Это значит, что она, при всей своей отвлеченности, помогает человеку разложить по полочкам окружающие его явления природы и общества: поделить их на предметы и живые существа, действия и состояния, постоянные и переменные качества и т.д. Тем самым в языке закрепляется накопленный человечеством опыт. Кроме того — это, пожалуй, еще важнее — грамматика позволяет человеку строить множество конкретных сообщений, достигающих своей цели. Каждому случаю, каждому типу ситуации будут соответствовать свои грамматические значения лица, наклонения, падежа и т.д. Одно дело сказать: «Андрей прижал раму рукой», другое — «Андрей, прижми раму рукой», третье — «Андрею рамой прижало руку», четвертое — «Рама прижала руку Андрея», пятое — «Андрей прижал руку рамой» и т.д.

Грамматические значения — результат длительной познавательной и классификационной работы общественного сознания. Чем обобщеннее становились выделяемые человеком классы, тем более они приближались к тому, что мы сегодня называем грамматическими категориями. В этом смысле грамматика экономит усилия отдельного человека: она предлагает ему уже готовую классификацию и готовый свод правил для построения высказываний. Об этом хорошо писал в статье «Грамматика в новой школе» уже знакомый нам А.М. Пешковский: «Грамматика... занимается переводом подсознательных языковых явлений в сознательные. Другими словами, грамматика как наука производит коллективными силами как раз то, что каждому надо проделать индивидуально, чтобы говорить на литературном наречии родного языка. При этом в отличие от лексики... грамматика занимается наиболее скрытыми от нашего сознания явлениями языка...»

Ранее мы видели, что лексика отражает не всё подряд, а как бы ранжирует окружающие явления по степени их практической важности — и в этом порядке дает им названия. Грамматика тоже поступает избирательно: у каждого языка, как уже отмечалось, свой набор грамматических категорий. Но здесь уже речь не идет о практических нуждах: подбираются, исторически формируются эти категории более или менее случайно. Зато уж если некоторое значение приобретает ранг грамматического, то оно должно выражаться обязательно. Иными словами, к сфере грамматики

относятся именно те значения, которые невозможно «обойти», когда ты говоришь на данном языке. Например, строя русскую фразу, нельзя не выразить в ней рода и падежа употребленных существительных, лица и времени глаголов... («моя твоя не понимай» потому и служит образцом непонимания, неумения говорить по-русски, что не содержит необходимых грамматических значений). А англичанин, говоря на своем языке, будет обязан каждому употребленному существительному приписывать значение определенности или неопределенности (то, что русскому кажется совершенно излишним). Именно в этом кроется главное различие между языками. «Языки различаются между собой не столько тем, что в них **можно** выразить, сколько тем, что в них **должно быть** выражено». Это положение, восходящее к работам американского лингвиста Франца Боаса, стало одним из постулатов современного языкознания.

Покажем теперь различие между лексическим и грамматическим значением на одном конкретном примере. Язык может разными способами отражать явление множественности: для этого используются числительные (*пять, десять...*), существительные с количественным значением (*куча, уйма...*), грамматическая категория числа (*камень — камни, человек — люди...*) и др. Вот, допустим, перед нами лежит некоторое количество камней. Можем ли мы о них сказать «куча»?.. Смотря сколько их, этих камней. Существует старинная притча-загадка, основанная на толковании данного слова. Двадцать камней — да, это куча. Три камня — еще не куча. А с какого количества начинается куча? Трудно сказать: может быть, с 5—6, а может быть, с 8—10... Такова природа лексического значения: оно нечетко, размыто в своем объеме. Грамматика же поступает с решительностью воинского устава: здесь «много» (т.е. множественное число) начинается с двух, и никаких сомнений быть не может — и про два камня мы скажем *камни*, и про десять, и про сто... При этом не выразить грамматического значения числа нельзя: если мы употребляем слово *камень*, то придется выбрать или единственное, или множественное число — третьего не дано.

Добавим, что не всегда было именно так. Некогда в русском языке «много» начиналось с трех, а для двух предметов суще-

ствовало особое двойственное число. Это значит, говоря о двух камнях, или двух глазах, или двух братьях, нужно было употребить особую форму (не ту, которую мы употребляем, говоря о большем количестве предметов). Потом двойственное число отмерло (в некоторых языках до сих пор осталось!), что свидетельствует о дальнейшей обобщающей работе сознания. В самом деле, понять, что два — это тоже «много», было, очевидно, нелегко, тем более что когда мы имеем дело с двумя предметами, то их различия отчетливо видны и обобщить их трудно...

И тем не менее при всей условности и отвлеченности, при всей обязательности грамматических значений они, оказывается, тоже подвластны языковой игре.

Обратимся к той же категории числа. Противопоставление «единственное — множественное число» — одно из самых всеобъемлющих в грамматике: оно охватывает не только существительные, но и прилагательные, глаголы, многие местоимения... В основе данного противопоставления лежит, казалось бы, очень простой критерий: или предмет, о котором идет речь, один (*камень, улица...*), или этих предметов больше, чем один (*камни, улицы...*). Действительно, чего уж проще? Но эта простота — кажущаяся. В этом мы убеждаемся, как только узнаем, что при всей масштабности данной категории есть целые классы слов, которые ей не подчиняются или подчиняются не полностью. Что это за слова?

Во-первых, есть немало существительных, которые всегда стоят во множественном числе и вообще не имеют единственного. Это обозначения «парных» и «составных» предметов (*щипцы, кусачки, ножницы, очки, брюки, весы, сани, перила, часы, цимбалы, шахматы* и т.п.), названия обрядов и игр (*смотрины, проводы, похороны, крестины, жмурки, прятки* и т.п.), обозначения остатков, «отходов производства» (*опилки, очистки, обноска, трубы, высевки* и т.п.), а также некоторые другие. (Причем время от времени данный класс пополняется новыми словами.)

Во-вторых, есть еще больше существительных, которые всегда выступают в единственном числе — множественного они не имеют. Среди них обозначения веществ (*кислород, воздух, алюминий, золото, нефть, фарфор* и т.п.), слова с собирательным значением (*листва, белье, старье, купечество, профессура, богема*

и т.п.), слова с отвлеченным значением (*доброта, ненависть, молодость, боязнь, правда, идиотизм* и т.п.), названия уникальных объектов (*космос, дьявол, Луна, Шекспир, Эрмитаж* и т.п.)... И этот класс тоже растет в своем количестве.

И вот тут-то мы убеждаемся в том, что то противопоставление, которое казалось нам простым и очевидным («один — не один»), в действительности является сложным и относительным. В самом деле, спросим себя: брюки — это один предмет или несколько? Один? А почему тогда слово имеет только множественное число? А часы — это один предмет? А почему... и т.д. Поэтому некоторые ученые предлагают уточнить значение (понимание) грамматической категории числа. Правильнее считать, что в основе ее лежит противопоставление не по единственности — неединственности, а по расчлененности — нерасчлененности (А.В. Исаченко). Тогда слово *брюки*, отвечающее «идее расчлененности», попадает в одну графу с обычными формами множественного числа (*камни, цветы* и т.п.).

Но данное решение снимает только часть вопросов. Потому что наше понимание «расчлененности» или «нерасчлененности» оказывается условным, зависящим от языковой конвенции, договора. Это значит: мы как бы договорились, что считать расчлененным, а что — нет. Вот в весах язык «увидел» расчлененность (когда-то!), а в телефоне — нет. Поэтому *весы* стоят всегда во множественном числе, а *телефон* — обычное «двучисловое» существительное: в единственном числе — *телефон*, во множественном — *телефоны*. И таких непоследовательностей, «произвола» в грамматике хоть отбавляй. Гусли и цимбалы — музыкальные инструменты, включающие в себя много струн, поэтому естественно, что они обозначаются существительными во множественном числе. Однако подобные им инструменты — допустим, лютня или домра — обозначаются существительными в единственном числе, и тут язык никакой расчлененности «не замечает». Множественное число слов *шахматы* и *шашки* мы мотивируем множественностью, расчлененностью комплекта фигур для игры, хотя тут же, рядом, существуют названия *домино* или *лото*, которые как раз множественного числа-то и не имеют... А если выйти за пределы русского языка — обратиться хотя бы к близкородственным славянским языкам, то тут найдутся еще более

удивительные примеры. Белорус как будто обращает внимание на то, что решетка (или ограда) состоит из прутьев, поэтому соответствующее существительное — *краты* — в белорусском имеет только множественное число. Поляк говорит о скрипке «они»: в польском языке название этого инструмента — *skrzypce* — тоже единственного числа не имеет. Словенец «замечает», что пол состоит из досок, поэтому в словенском название пола — *tla* — всегда «множественно»... И в каждом языке список таких случаев свой, особый. Конечно, все это — закреплённая в языке условность, и не более. Конвенция, которую приходится соблюдать.

Но вот тут-то как раз и открывается обширное поле для игры. Как уже отмечалось, специфической особенностью языковой игры является то, что она опирается на внутренние свойства языковой системы, на собственное устройство языка. Именно так происходит и здесь: говорящий в своих речевых вольностях как бы ничего не нарушает, а только следует языковым установлениям и «исправляет несправедливость», доводя изолированные формы до полного комплекта. Большим любителем и мастером такой языковой игры был Владимир Маяковский:

«Пробиваясь сквозь все волокиты, ненависти, канцелярщины и тупости — ставлю второй вариант мистерии» («Я сам»);

«С едами плохо» (Там же);

«Где пели птицы — тарелок лязги» («Война и мир»);

«А я
на земле
один
глашатай грядущих прав» (Там же);

«То-то удивятся не ихней силище
путешественника неб» («Человек»);

«Метро согласились.
Метро со мною —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюют...» («Париж»);

«Дымовой
дых
тяг.
Воздуха́ береги»
(«Хорошо!»).

А вот примеры из произведений других авторов, современников Маяковского и наших современников:

«А ныне — воздухами пьяный,
Взмываюсь вольною мечтой... »
(А. Белый. «Вольный ток»);

«Достаточно дешевизн:
Рифм, рельс, номеров, вокзалов... »
(М. Цветаева. «Поэма конца»);

«Каждое утро я казнил их,
Слушая трески,
Но они появлялись вновь спокойным прибоем»
(В. Хлебников. «Вши тупо молились мне...»);

«Ах, кто это нам подмаргивает
из пиц?
Габр Маркес помалкивает —
отличнейшая дичь!»
(А. Вознесенский. «Художники обедают
в парижском ресторане “Кус-кус”»);

«Ф е т и с о в. Ключики мы вам не отдадим. Мы вам не буратины»
(Э. Брагинский, Э. Рязанов. «Гараж»);

«Ох уж эти наполеоны гардеробщики, кладовщики!»
(В. Попов. «Фаныч»);

«— ...Меня зовут Шапокляк, — ответила старуха. — Я собираю злы.
— Не злы, а злые дела, — поправила ее Галя.
— ...Я делаю пять зол в ден»
(Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»).

Здесь везде существительные, которые согласно грамматической норме ограничены единственным числом, получают — хоть на один раз, для данного случая! — форму множественного числа. А вот примеры обратные: слова, выступающие обычно во множественном числе, приобретают в художественном тексте «недостающую» им форму единственного числа. Как и в предыдущем случае, текст от этого становится в глазах читателя более экспрессивным и раскованным, требующим к себе большего внимания и «уважения»:

«...Венчали арки Константина
Руину храмов и дворцов»
(В. Брюсов. «На форуме»);

«А над сонным осень дышит
Чарой скошенных лугов»
(В. Брюсов. «В лугах»);

«...Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковой кистью»
(Б. Пастернак. «Осень»);

«Почему не поставят мусорные баки, как в других городах? Это ужасно! Все в одно время тащатся со своим отбросом, и стоят, и ждут» (Е. Попов. «Снегурочка»).

Надо сказать, что этот вид игры встречается и в разговорной речи, там можно услышать выражения вроде «смотри, еще одна сливка общества», «мне на платье брызга попала», «я по горло сыт этими идиотизмами» и т.п. Здесь же встречается намеренное образование неправильных форм множественного числа (*человеки* вместо *люди*, *ребенки* вместо *дети*, *зубья* вместо *зубы*, *болгарцы* вместо *болгары*, *орелы* вместо *орлы* и т.п.), а также демонстрация колебаний в выборе формы («взвешивание» вариантов): «он стоит по колени в воде, а может, по колена?» В основном все это, конечно, балагурство, хотя иногда такая игра может преследовать и эстетический эффект, как в следующих строках из стихотворения В. Шаламова:

«Нам все равно — листы ли, листья, —
Как называется предмет,
Каким — не только для лингвистов —
Дышать осмелился поэт»
(«Он из окон своей квартиры...»).

Кстати говоря, ограничения на изменение по числу действуют не только в сфере существительных. Среди глаголов тоже имеются такие, значение которых предполагает наличие «расчлененного» субъекта (*толтиться*, *сбежаться*, *повыскакивать*, *разъехаться...*) или объекта (*раздарить*, *рассовать*, *разогнать*, *пересчитывать...*). Соответственно подлежащее или дополнение при них обычно выступает во множественном числе. Однако в игровых целях данное правило может нарушаться, и единичный предмет становится представителем целой совокупности предметов.

«При мне какой-то мальчишка
На мосту под трамвай угодил.
Сбежались. Я тоже сбежался.
Кричали. Я тоже кричал...»
(Саша Черный. «Культурная работа»).

«Отсюда обычная формула: “Люди походили с ума!”, “Люди взбесились!”, “Что творится с людьми!”. Вы слышали когда-нибудь, чтобы человек воскликнул: “Я походил с ума!”?..» (А. Зиновьев. «Зияющие высоты»).

«А когда до войны гулять ходила, всегда мне кавалеры мороженое покупали. А один был такой — не купил. Я его быстренько разогнала...» (Б. Окуджава. «Будь здоров, школяр»).

В целом же, как учит грамматика — и наш материал это подтверждает, — противопоставление по единственности — множественности (нерасчлененности — расчлененности) весьма важно для носителя языка. Оно может даже специально подчеркиваться через противопоставление в тексте соответствующих форм, например:

«Так писем не ждут,
Так ждут письма»
(М. Цветаева. «Письма»).

Но существуют контексты, в которых это противопоставление теряет свою остроту, становится неважным, неактуальным. Тогда вместо формы множественного числа может свободно употребляться единственное. Пример:

«Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?»
(В. Маяковский. «Облако в штанах»);

«Две сотни девушек, стоявших полукругом, одновременно вскидывали голую ногу, и вся их выгнутая шеренга напоминала чудовищное веко с белыми ресницами» (Ю. Трифонов. «Опрокинутый дом»).

Понятно, что «супить» одну бровь трудно — скорее всего имеются в виду обе брови, да и вскидываемых ног (во второй цитате) было много, но язык позволяет себе здесь обойтись единственным числом. В принципе это тоже может составлять повод для языковой игры. Четырехлетний мальчик, услышав от старших, что клоуны выступают в цирке, возмутился: «Как это — в цирке?! Будто в одном цирке! Надо говорить — в цирках!» Другой ребенок настаивал на употреблении формы множественного числа *клубники*: «Почему клубника? Смотри сколько, целый миллион штук, наверное» (пример Н.И. Лепской). А вот обыгрывание такого «обобщающего» единственного числа в юмористическом контексте. Речь идет о том, как группа советских туристов посещает ночной бар.

«Смутленький официант принес меню.
— Что-то сегодня ничего не хочется, — сразу выразил общее мнение старший, поспешно откладывая меню в сторону. Он сделал официанту знак, улыбнулся и объяснил: — К сожалению, бамбино, мы все за рулем...
— Причем за одним, — добавил словоохотливый воронежец» (М. Горький. «Стриптиз»).

Еще больше возможностей для языковой игры предоставляет грамматическая категория рода. Ее значение — тоже в определенном смысле условность, конвенция. Если в основе грамматической категории числа лежит реальная единственность или множественность предметов, то в глубине категории рода

просматриваются половые различия, существующие между живыми организмами. Однако делением на мужской и женский пол можно объяснить в лучшем случае род слов типа *читатель* и *читательница*, *герой* и *героиня*, *баран* и *овца* и т.п. В остальных же случаях, при обозначении неодушевленных предметов, условность категории рода очевидна (почему *океан* мужского рода, *река* — женского, а *море* — среднего? И что это вообще за средний род — какому полу он соответствует?).

Условность значения рода проявляется и в том, что многие слова испытывают колебания в своем роде. Кроме «почти узаконенных» или во всяком случае широко известных примеров типа *туфля* — *туфель*, *тапочка* — *тапочек*, *рельс* — *рельса*, *фильм* — *фильма*, *овощ* — *овощь*, *кофе* («он» и «оно»), *домишко* («он» и «оно»), *тюль* («он» и «она») и т.п., назовем здесь также довольно распространенные варианты *облак*, *яблок*, *крокодила*, *тигра*, *оленья* и т.п. В основном эти варианты свойственны диалектам и просторечию, но иногда по тем или иным причинам проникают и в литературные произведения, например:

«И словно облак обволок
Порядок строя мирового...»
(А. Белый. «Современникам»).

«Ты ж не нашего саду яблок»
(Л. Леонов. «Соть»).

«Ты краски созерцай
И глину пальцем мучай!
По лестнице взбегай
На антресоль скрипучий»
(Д. Пригов. «Ты краски созерцай...»).

В свое время строка из стихотворения В. Сидорова «Косматый облак надо мной кочует...» породила целую пародию А. Иванова, получившую широкую популярность. Стоит привести ее целиком:

В худой котомк поклав ржаное хлебо,
Я ухожу туда, где птичья звон.
И вижу над собою синий небо,
Косматый облак и высокий крон.

«После варенья ты перешла на котлеты и креветки. Солнце мое раскулачила мой холодильник (Вик. Ерофеев. «Сила лобного места»).

«Ах, пичуга микроскопический,
Бьет, бичует, все гнет свое...»
(А. Вознесенский. «Соловей-зимовщик»).

Весьма популярны родовые трансформации и в живой разговорной речи. Исследователи отмечают здесь наличие таких выражений, как, например: «мне самому один штук достался», «как поживает мой любимый друг?», «как это она такую чуду пропустила?» и т.п.

Ясно, что подобные отклонения — не только речевое озорство и развлечение, но и определенное «заигрывание» с собеседником. Психологически эти умышленные неправильности нацелены на укрепление отношений (в семье, дружеской компании и т.п.) и подразумевают, как и в предыдущих случаях, некоторый минимум социальной и духовной общности («мы хорошо понимаем друг друга и можем себе позволить чуть больше, чем положено...»).

Совершенно естественна «игра с родом» в детской речи. Усвоив внутреннюю структуру категории рода, ребенок тут же старается распространить ее на все существительные. Аналогия для ребенка — важнейший закон языка. Кинорежиссер Михаил Ромм вспоминал, как маленькая девочка называла его «больная гада»; «больная» — это потому, что у него был болен племянник (от которого можно было заразиться), а «гада», женского рода, здесь, по-видимому, по аналогии с *papa* или *дядя*... А Корней Чуковский в своей замечательной книге «От двух до пяти» приводит такие образцы детского речетворчества: *пап*, *черепах*, *синиц* — все это обозначения существ мужского пола. Поддерживается эта игра и специализированными детскими изданиями, не обязательно с опорой на какую-то «идеологию». Так, в одной газете детская страничка предварялась следующими словами: «Сегодня у нас большая горя и маленькое радость. Мы тут, наверное, все с ума сошли, потому что газетка сейчас у нас наоборотная».

Автору данной книги довелось когда-то написать и опубликовать в детской газете шуточный стишок, который имел и свой дидактический аспект: читателям предлагалось выявить все

«ошибки в роде» существительных. Однако оказалось, что сделать это не так-то просто: колебания и отклонения в роде трактуются носителями языка довольно «мягко» (что, собственно, неудивительно — хотя бы если учесть распространенность данного вида языковой игры). Но сам стишок потом — уже без ведома автора — кочевал по страницам различных изданий, и это тоже о чем-то говорит.

«Слыхали эту новость?
У нас в шкафу живет
Тот, кто любую овощь,
Любой продукт сжует.
Он яблоч, помидору
И всю картофель съест,
Баранок без разбору
Умнет в один присест.
Прожорлив, как собака,
Тот, кто живет в шкафу:
Пропали тюль и тапок
И туфель на меху.
Он съел жилету кунью
И дедовский папах,
Персолем и шампунью
Который весь пропах.
Так кто ж ту путь проделал
Из шкафа в антресоль?
Мышь ненасытный, где он?
Где он, огромный моль?
Вы скажете: не верим!
Чтоб всё пустить в труху?
...Но есть обжора Время —
Вот кто живет в шкафу».

Языковая «игра с родом» — интересное и многоаспектное явление. Во-первых, это, конечно, просто забава, речевое балагурство (которое, впрочем, совсем не «просто забава», потому что имеет, как мы видели, некоторые социолингвистические и психологические цели).

Во-вторых, это испытание языковой системы на прочность или, если угодно, на «системность»: где предел ее возможностей?

насколько род регулярен? можно ли изменять слово по родам, как мы изменяем его по падежам? (Наиболее «заинтересованы» в данных вопросах, конечно, дети, хотя они и не формулируют их столь мудреным образом.)

В этом плане «игра с родом» — своего рода эксперимент: «Что получится, если?..» Да и вообще всю языковую игру можно понимать как лингвистический эксперимент, «только проведенный не самим лингвистом, а до него, автором соответствующего текста. Лингвисту остается дать этому, чужому эксперименту лингвистическую интерпретацию» (В.З. Санников. «Русские сочинительные конструкции»).

Есть у «игры с родом» и третий аспект, на который реже обращают внимание. Это ее «идейная», смысловая сторона. Если род — хотя бы в своих основах — соотносим с полом, то в сознании носителя языка он может получать дополнительную — символическую — нагрузку. Самое яркое проявление этого мы находим в мифологии: в сказках и преданиях, приметах и заговорах... Здесь существительное мужского рода становится как бы носителем мужского начала, а существительное женского рода воплощает в себе «природную», или биологическую, женственность. Вспомним: как мы себе образно представляем день и ночь? Не правда ли, день предстает скорее в облике мужчины, в то время как ночь — скорее «женщина»? А случайно ли гром и молния образуют такую прочную пару в нашем сознании? А стрекоза и муравей в басне Крылова: случайно ли различие в роде этих существительных или же оно отражает некоторые свойства мужской и женской психики? А рябина, которая в русской народной песне стремится «к дубу перебраться», ведь, заметим, к дубу, а не к липе или березе?.. В следующих же строках из стихотворения Н. Матвеевой «Сводники» подбор «супругов» обусловлен (чтобы не сказать спровоцирован) грамматическим родом соответствующих существительных; перед нами опять игра, подмена реалий языковыми значениями:

«Кухарка вышла замуж за компот,
Взял гусеницу в жены огородник...»

Ученые давно обратили внимание на важность для сознания человека подобных родо-половых ассоциаций. Вот как об этом писал один из крупнейших филологов XX века Роман Jakobson: «Тот факт, что слово “пятница” в некоторых славянских языках — мужского рода, а в других — женского, отражен в фольклорных традициях этих народов, у которых с этим днем связаны различные ритуалы. Известная русская примета о том, что упавший нож предвещает появление мужчины, а упавшая вилка — появление женщины, определяется принадлежностью слова *нож* к мужскому, а слова *вилка* к женскому роду. В славянских и других языках, где слово *день* — мужского рода, а *ночь* — женского, поэты описывают день как возлюбленного ночи. Русского художника Репина удивило, что немецкие художники изображают грех в виде женщины: он не подумал о том, что слово “грех” в немецком языке — женского рода (*die Sünde*), тогда как в русском — мужского. Точно так же русскому ребенку, читающему немецкие сказки в переводе, было удивительно, что “смерть” — явная женщина (слово, имеющее в русском языке женский грамматический род) — была изображена в виде старика (нем. *der Tod* — мужского рода)...» (статья «О лингвистических аспектах перевода»).

Наконец, если значение грамматического рода так или иначе ассоциируется с биологическим полом, то очевидно, особое значение данная категория приобретает для людей, которых проблемы пола горячо волнуют — например, феминисток или суфражисток (сторонниц женского равноправия). Время от времени в научно-популярной литературе обостряются дискуссии на тему: правильно ли говорить *врач пришла* или *уважаемый товарищ Иванова* — не дань ли это «мужскому» взгляду на мир? Не кроется ли за этими языковыми неудобствами еще каких-нибудь, более существенных подвохов? И опять-таки это может стать предметом языковой игры. Приведем в связи с этим юмористический рассказик М. Зубкова «Особ-статья», имеющий, как нам кажется, не только лингвистическую ценность.

«Съездив в подшефный совхоз “Поверьево” на уборку картофеля, изобретатель и рационализатор Начудеев остался крайне недоволен уровнем механизации сельскохозяйственных работ.

В короткий зимний день он пришел к начальнику ОИР.
 – В порядке шефства над совхозом “Поверьево”, – веско сказал Начудеев, – родилось изобретение.
 – Слушаю вас, – деликатно сказал начальник ОИР.
 – Называется – “механическая картофелекопательница”, – солидно сказал Начудеев.
 – Постойте, – вежливо сказал начальник ОИР. – Механический картофелекопатель уже существует.
 – То – “копатель”, а то – “копательница”, – значительно сказал Начудеев. – Улавливаете разницу?
 – Кажется, да... – неуверенно сказал начальник ОИР и покраснел.
 – Главное отличие моей механической картофелекопательницы от прежних, – с упором сказал Начудеев, – в том, что она извлекает из почвы всю спелую картофель.
 – Минуточку, – робко сказал начальник ОИР. – Во-первых, я, так сказать, не вижу главного отличия. А во-вторых, картофель, некоторым образом, – он...
 – Одно дело – “он”, а другое дело – “она”, – категорически сказал Начудеев. – Чувствуете нюанс?
 – Конечно, конечно, – смущенно сказал начальник ОИР и зарделся.
 – Кроме того, моя механическая картофелекопательница, – безапелляционно сказал Начудеев, – может быть легко приспособлена, чтобы извлекать из почвы стандартный морковь.
 – Э-э... – боязливо сказал начальник ОИР. – Морковь – женского рода...
 – Женского – особ-статья, а мужского – особ-статья, – с нажимом сказал Начудеев. – Осознаете контраст?
 – Разумеется, – сдавленно сказал начальник ОИР, и кровь бросилась ему в лицо. – Оставьте, пожалуйста, заявку. Мы рассмотрим.
 – То-то же, – бесцеремонно сказал Начудеев, оставил заявку и ушел.
 Начальник ОИР нерешительно пробил заявку дыроколом и достал папку “скоросшиватель”. Подшив бумагу, он украдкой приписал на обложке “...ница” и густо залился краской».

Следующая грамматическая категория, которая несомненно заслуживает нашего внимания, – это категория падежа. Значения падежей имеют в своей основе разнообразные отношения, возникающие в объективной действительности, – такие, например, как переход действия на объект (*читать книгу*), «участие»

инструмента в действии (*замахнуться палкой*), количественное измерение объекта (*бутылка молока*), принадлежность его некоторому лицу (*велосипед брата*) и т.п.

Условный, конвенциональный характер данной категории вытекает уже из того факта, что во многих языках падежей просто нет, а в тех, в которых эта категория существует, количество отдельных падежей сильно разнится: от двух единиц до нескольких десятков.

Если посмотреть на падеж с точки зрения языковой игры, то по сравнению с родом данная категория выглядит более «строгой»: она предоставляет говорящему меньше возможностей для выбора конкретной единицы, меньше «подвержена колебаниям». Тем не менее и падеж вносит свою краску в палитру языковой игры, служит усилению экспрессивности текста, созданию комического эффекта, налаживанию личностных отношений между собеседниками и т.д.

Прежде всего отметим, что говорящий может стремиться к тому, чтобы продемонстрировать свое знание всей системы словоизменения (в лингвистике она называется парадигмой). Он как бы пробует вслух «заполнить все клеточки» таблицы склонения, поворачивает слово к читателю по очереди разными его гранями, предвкусывая всевозможные его употребления, как в следующих цитатах:

«Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью:
 Заезжий музыкант играет на трубе!
 Что мир весь рядом с ним, с его горячей медью?..
 Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе...»
 (Б. Окуджава. «Заезжий музыкант»).

«Сладострастная отрава – золотая Брич-Мулла,
 Где чинара притулилась под скалою.
 Про тебя жужжит над ухом вечная пчела:
 Брич-Мулла,
 Брич-Муллы,
 Брич-Мулле,
 Брич-Муллу,
 Брич-Муллою»
 (Д. Сухарев. «Брич-Мулла»).

Бывает, однако, что языковая игра заключается в противоположном стремлении говорящего: свести всю парадигму к одной форме. Тогда в качестве полномочного представителя слова выступает, как правило, именительный падеж. Существительное как бы застывает в своей наиболее репрезентативной, т.е. представительной (и, в общем-то, «безликой» в смысловом отношении), форме и начинает обозначать целую ситуацию. Такой прием характерен, в частности, для так называемого телеграфного стиля — разновидности современной прозы, которая пытается показать внутреннюю речь героя (в том числе автора), фрагментарную и малосвязную. Это своеобразный пунктир из образов-мыслей, намеченный «про себя» и «для себя». Приведем в качестве примера отрывки из дневниковых записей Марины Цветаевой за 1919 год:

«Мой день: встаю — верхнее окно еле сереет — холод — лужи — пыль от пилы — ведра — кувшины — тряпки — везде детские платья и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку, которую варю в самоваре... Потом уборка... потом стирка, мытье посуды... полоскательница и кустарный кувшинчик без ручки “для детского сада”...»

Но тот же прием может содержать в себе и пародийную, ироническую окрашенность. Что, например, если представить всю новейшую историю нашего государства в виде перечня «ключевых слов»? Получится примерно то, что фельетонист Ю. Макаров назвал «Слово за слово, или Очень краткий курс»:

«...Расстегай, окорок, канарейка, ананас, городской, маевка, листовка, забастовка, митинг, оппозиция, декрет, революция, винтовка, мандат, белые, красные, зеленые, вобла, террор, тачанка, лимонка, комбед, мироед, бандформирование, национализация, экспроприация, электрификация, мятеж, шашка, наган, конница, буденновцы, махновцы, деникинцы, контра, пайка, совдеп, бронепоезд, анархия, расстрел, расход, распыл, разгон, разгром, ликбез, помгол, наркоминдел, разверстка, продналог, червонец, частник, нэпман, расстегай, окорок, канарейка, ананас.

Мавзолей, генсек, ликвидация, индустриализация, коллективизация, бедняк, середняк, кулак, ГУЛАГ, колхоз, завхоз, совхоз, голод, двадцатипятидесятник, спайка, смычка, чистка, лишенец, иждивенец,

приспособленец, попутчик, чека, зека, паек, партаппарат, распределитель, лимит, карточка, троцкист, центрист, ревизионист, оппортунист, уклонист, фракция, санкция, стенка, вождь, отец, учитель, торгсин, жмых, макуха, сталь, чугун, прокат, тачка, стахановцы, ударницы, мичуринцы, кадры, темпы, органы, вредители, отпор, заслон, шпион, распознавание, дознание, недонесение, тройка, статья, десятка, ссылка, клеймо, вертухай, лагерь, пионеры, барабаны, фанфары, вождь, отец, учитель, соколы, самолеты, танки, парады, мощь, сила, ненападение.

Оккупация, отступление, плен, штрафбат, заградотряд, котел, таран, амбразура, прорыв, захват, похоронка, лендлиз, блокада, осада, атака, капитуляция, реляция, демонстрация, генералиссимус, трофеи, разруха, недобитки, лазутчики, диверсанты, вейсманисты, морганисты, космополиты, перерожденцы, проработка, зона, колючка, карцер, соцлагерь, смерть.

Жизнь, съезд, культ, тиран, реабилитация, химизация, механизация, совнархоз, целина, кукуруза, кукуруза, кукуруза, белка, стрелка, космонавт, империализм, абстракционизм, коммунизм, отставка, волонтаризм, коллегиальность, держава, процветание, удовлетворение, рост, подъем, успех, созидатели, вершители, зодчие, брови, поцелуи, афганцы, инсинуация, поклеп, измышление, диссидент, психушка, эмиграция, герой, герой, герой, герой, герой, маршал, смерть, дисциплина, смерть, мелиорация, смерть.

Апрель, застой, провал, завал, коррупция, проституция, стагнация, ускорение, перестройка, гласность, экстремисты, рекетиры, кооператоры, дубинки, реформа, подвижка, парламент, митинг, оппозиция, консенсус, революция, резолюция, декрет, свобода, голодовка, забастовка, листовка.

Ананас, канарейка, окорок, расстегай?...»

При всей пунктирности такого изложения, состоящего из цепочек именительных падежей существительных, получилась довольно полная и, увы, цикличная, где-то пробуксовывающая картина жизни общества. А если подобным образом представить жизнь одного человека? Последовательность имен-событий наверняка обнаружит шаблонность и суетность человеческого бытия. Предложим на сей раз читателю поэтическую версию — стихотворение О. Молоткова «Человеческая комедия»:

«Мама, сказка, каша, кошка,
Книжка, яркая обложка,

Буратино, Карабас.
Ранец, школа, первый класс,
грязь в тетради, тройка, двойка,
папа, крик, головомойка,
лето, труд, колхоз, солома,
осень, сбор металлолома,
Пушкин, Гоголь, Дарвин, Ом,
Ганнибал, Наполеон,
Менделеев, Герострат,
бал прощальный, аттестат.
Институт, экзамен, нервы,
конкурс, лекция, курс первый,
тренировки, семинары,
песни, танцы, тары-бары,
прочность знаний, чет-нечет,
радость, сессия, зачет,
целина, жара, работа,
волейбол, газета, фото,
общезитье, взятка, мизер,
кинотеатр, телевизор,
карандаш, лопата, лом,
пятый курс, проект, диплом,
отпуск, море, пароход,
по Кавказу турпоход,
кульман, шеф, конец квартала,
цех, участок, план по валу,
ЖСК, гараж, квартира,
теща, юмор и сатира,
детский сад, велосипед,
шашки, шахматы, сосед,
шашлыки, рыбалка, лодка,
раки, пиво, вобла, водка,
сердце, печень, лишний вес,
возраст, пенсия, собес,
юбилей, банкет, награда,
речи, памятник, ограда».

И наконец, третья вариация на ту же тему — точнее, эксплуатация того же приема. В стихотворении Г. Вакар «Дни нашей жизни» описывается распорядок будней: каждый день, с утра до вечера, — одно и то же:

«Будильник. Туфли. Мыло. Бритва.
Зубная щетка. Душ. Молитва.
Газета. Почта. Булка. Чай.
Пальто. Галоши. Шарф. Трамвай.
Контора. Цифры. Документы.
Диктовка. Телефон. Клиенты.
Двенадцать. Завтрак. Автомат.
Табак. Скамейка. Парк. Назад.
Контора. То же... Пять. Трамвай.
Ключи. Жена. Жаркое. Чай.
Диван. Камин. Ти-Ви. Кровать.
Будильник. Грелка. Штепсель. Спать».

Как видно уже по трем приведенным образцам, данный прием пользуется популярностью в современной литературе: это вид языковой игры, в полной мере опирающийся на номинативную (т.е. назывную) функцию языкового знака и абсолютизирующий ее.

«Сокращение» склонения может также использоваться как признак недостаточного владения русским языком — например, при изображении речи иностранца. Заметим: тут не просто смешиваются, перепутываются разные падежные формы, но именительный падеж на правах исходного и «наиболее простого» теснит все остальные. Вот, например, как разговаривает иностранец в рассказе Ф. Искандера «Англичанин с женой и ребенком»: «Я наш санаторий наблюдайт — мало спортсмэн» и т.п.

Традиционное поле языковой игры — склонение несклоняемых существительных. Таких слов в русском языке, в общем-то, немного, и свою несклоняемость они сохраняют главным образом как память об иноязычном происхождении, а также в силу некоторых формальных причин. Но в литературных произведениях этот запрет, бывает, нарушается. Разумеется, отклонения используются здесь для речевой характеристики отдельных персонажей (показа их недостаточной образованности и т.п.):

«Подаю банщику веревку — не хочет. — По веревке, — говорит, — не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок — польт не напасешься» (М. Зощенко. «Баня»).

«Я,
товарищи, —
из военной бюры.
Кончили заседание —
тока-тока...»
(В. Маяковский. «Хорошо!»).

Подобные факты встречаются и в разговорной речи: «кина не будет», «не могу спать на бигудях» (уже почти нормальная форма), «отдыхала в Сочах», «из всех кин для нас важнейшим является искусство» и т.п. Хотя здесь довольно трудно отграничить случаи явной языковой игры (когда человек сознательно нарушает норму) от ненамеренных ошибок (когда человек пробует «исправить» языковое правило по своему разумению).

Очень своеобразная разновидность языковой игры связана с вариативностью падежных форм, которая, хотя и в ограниченном объеме, все же встречается в текстах. Так, в русском языке многие существительные мужского рода имеют две формы родительного падежа: одну — с окончанием *-а*, *-я*, другую — с окончанием *-у*, *-ю* (*сахара — сахару*, *покоя — покою*, *толка — толку* и т.п.). Причем эти формы различаются оттенками своего значения и условиями употребления — об этом говорится в любой русской грамматике. Но главное здесь для нас то, что форма на *-а* (*-я*) является господствующей: она образуется от любого существительного и используется часто; форма же на *-у* (*-ю*) ограничена в своем употреблении, требует особых условий (чтобы при существительном было отрицание или чтобы оно обозначало часть чего-то и т.п.) и, судя по опубликованным данным, постепенно выходит из употребления. Это составляет, так сказать, преамбулу к выбору конкретной формы. И далее, если говорящий вместо более редкой и обусловленной формы на *-у* употребляет более частую и естественную на *-а* (например, говорит: «он убежал из дома» или «налейте мне, пожалуйста, чая»), то можно считать, что он находится под влиянием общезыковой тенденции. А вот если он, наоборот, вместо более естественной и частой формы на *-а* выбирает более редкую и специальную на *-у* — почему он это делает? Ответ напрашивается сам собой: это он играет, «подмигивает» собеседнику. Перед нами очередной случай того,

как в высказывании на фоне основной, «объективной» информации о событиях передается еще информация дополнительная, «субъективная», об отношениях между собеседниками:

«И пахло до отказа лавровишней.
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен»
(О. Мандельштам. «Полночь в Москве...»).

«Еще и сейчас храбрится: “Я если пять-десять километров не пройду — аппетиту нет”» (В. Крупин. «Тринадцать писем»).

«Я уеду, уеду, уеду,
Мне милее мундир голубой,
Чем глаза твои синего цвету —
Как смогу я остаться с тобой?»
(Ю. Давыдов. «Я уеду»).

«Да и вообще, большинство претендентов нынче в стремлении выгоднее загнать свой эфемерный товар весьма смахивают на Чичикова. Шансов практически нет, а дивиденду хочется» («Огонек». 1996. № 17).

«Встречал британского премьера дородный работник лионской торговли, переодетый для куражу в форму британского королевского гренадера» («Комсомольская правда». 29.06.1996).

Другой случай. В винительном падеже существительные мужского (а во множественном числе женского и даже среднего) рода принимают ту или иную форму в зависимости от того, что (или же кого) они обозначают.

Мы говорим: «люблю (этот) город», но «люблю брата». «Вижу березы», но «вижу коров». «Мою окна», но «мою моих солнышек» (про детей). Собственно, через формы падежа здесь выражается другая грамматическая категория — одушевленность, в основе которой лежит противопоставление живых существ неживой природе. Не будем специально останавливаться на условности этого деления (любопытно в данном смысле поведение слов *покойник*, *кукла*, *кумир*, *насекомое*, *микроб*, *бацилла* и т.п.), покажем только, как данное противопоставление используется в «игровых» целях:

«Машин от снега не очищают.
Сугроб сугроба просит прикурить»
(А. Вознесенский. «Вслепую»).

«Сосны цветут — свечи огня,
Спрятав в ладошки будущих шишек...»
(А. Вознесенский. «В глуши»).

«Во всех квартирах пекли пироги, варили студень, жарили индеек (а где не достали индеек, жарили кого-нибудь другого), заправляли майонезом салаты, выставляли на балконы водку и шампанское...»
(Э. Брагинский, Э. Рязанов. «Ирония судьбы, или С легким паром»).

По этому поводу уместно также вспомнить старый анекдот про человека, который хотел на Рождество заказать в лавке пару гусей. Но поскольку он был не силен в грамматике (в категории одушевленности!), то засомневался — как написать правильно: «Прошу прислать два гуся» или «Прошу прислать двух гусей». Наконец его осенило, и он написал: «Пришлите, пожалуйста, гуся». А в нижней части листа сделал приписку: «Постскриптум. Пришлите еще одного!»

Некоторым падежным формам в русском языке свойственно передавать еще одну содержательную категорию, ее называют «категорией неотчуждаемой принадлежности». Это значит: если некоторый предмет составляет неотъемлемую часть, неотторжимую принадлежность какого-то лица, то он выражается определенной падежной формой; если же предмет может существовать и сам по себе, в отдельности от своего нынешнего «хозяина», то он обозначается другой формой. В качестве такого различительного, диагностирующего средства выступает, в частности, дательный падеж. Мы можем сказать по-русски: *Осторожно, ты сломаешь девочке ручку. Он наступил хозяйке на ногу. Мальчик уперся отцу в плечо* и т.п. Здесь *ручка (рука), нога, плечо* — названия частей тела, и все они выражены существительными в дательном падеже. Но неправильными или маловероятными выглядят предложения, в которых дательный падеж используется для обозначения отчуждаемой принадлежности, типа: «Осторожно, ты сломаешь чайнику ручку» (надо: *ручку чайника* или *ручку у чайника*), «Он наступил хозяйке на ковер» (надо: *на ковер хозяйки*),

«Мальчик уперся отцу в чемодан» (надо: *в чемодан отца*). Тем не менее изредка подобные нарушения встречаются:

«— У меня с ними (мальчиками. — *Б.Н.*) свои счета, — сказал Безайс, раздеваясь. — Вчера я поймал их за тем, что они лежали на полу и выкалывали глаза семейным фотографиям» (В. Кин. «По ту сторону»).

«А за стенкой кто-то, пьяный,
В зимней шапке и галошах
Тыкал в клавиши роялю
И смеялся»

(Р. Мандельштам. «Качания фонарей»).

Приведем еще некоторые примеры «игры с падежом»:

«Идея принадлежала местному, стихи были мои:
Раскопай своих подвалов
И шкафов перетряси,
Разных книжек и журналов
По возможности неси»

(А. Стругацкий, Б. Стругацкий.

«Понедельник начинается в субботу»).

«К примеру, дед у дядь Мить Семенова даже мечтать не мог о цветном телевизоре, а дядь Мить Семенов прикупил уже второй, потому что первый быстро сломался» (И. Двинский, В. Коваль. «Пугало огородное»).

В первом случае родительный падеж употреблен на месте «законного» винительного: *подвалов* вместо *подвалы* и т.п.; основанием для этого, возможно, служат отношения взаимозаменяемости данных падежей в иных ситуациях (ср.: *я читал книгу — я не читал книги* и т.п.). Во втором же примере форма *дядь Мить* (однотипная с *мам, пап, Сереж* и т.п.), употребляющаяся в современной речи только в функции обращения, неправомерно расширяет круг своих синтаксических обязанностей и заменяет иные падежи. Опять игра!

Грамматические категории глагола тоже лишь относительно, опосредованно связаны с внеязыковой действительностью; обслуживая речевое общение, они подчиняются прежде всего законам самого языка. Эта их относительная самостоятельность открывает широкие горизонты для речевого творчества.

Очень интересны в свете сказанного категории времени и вида. В основе грамматического времени лежит, конечно, понятие о времени объективном, физическом, но каждый язык весьма своеобразно воплощает это понятие в совокупность значений и форм. В русском — три времени, в других языках их может быть значительно больше. Например, в английском, французском, испанском языках — несколько прошедших времен и несколько будущих. А в языках от нас далеких, экзотических, это разнообразие может быть еще большим. Вот как писал об австралийских аборигенах французский психолог Л. Леви-Брюль в своей книге «Первобытное мышление»: «В некоторых языках есть обилие временных форм. Так, в языке племени нжеумба (Новый Южный Уэльс) по-разному выражается: я буду молотить (будущее несовершенного вида) утром, весь день, вечером, ночью, снова и т.д.»

Нам, говорящим по-русски, деление на три времени кажется наиболее естественным и логичным. Имеется в виду, что ситуация, о которой мы говорим, или уже состоялась (т.е. она предшествует моменту речи), или она совпадает с моментом речи (включает его в себя), или же последует за моментом речи (состоится позже) — это и выражается триадой «писал» — «пишу» — «буду писать». Но на практике использование категории времени, в том числе и в русском языке, значительно сложнее и «свободнее». Ведь, скажем, форма прошедшего времени может обозначать событие, произошедшее только что, за минуту до акта речи, или событие, состоявшееся неделю назад, или событие, имевшее место несколько веков назад, или вообще бывшее когда-то (причем не важно когда — важно то, что оно вообще было)... В следующей цитате из романа А. Битова «Улетающий Монахов» обыгрывается как раз такая «многоликость» формы прошедшего времени (кстати, если переводить этот текст на английский или французский язык, то формы *сказал*, *сказала* в разных репликах получили бы разное соответствие):

- «— Монахов, милый, я тебя бросила, прости. Ты скучал?
Монахов смотрел неприветливо.
— Ты не сердись, Монахов... Должна же я была ему сказать, — добавила она вполголоса.
— Что сказать?»

<...>

- Что я тебя люблю, что хочу остаться сейчас с тобою...
— Ты же говорила, что уже сказала?.. — шепотом просвистел Монахов.
— Да нет, — поморщилась Наталья, — вот сейчас сказала.
— А зачем же ты мне тогда сказала? — не понимал Монахов.
— Хотела посмотреть, что ты скажешь.
— И что я сказал?
— Да ничего ты не сказал, не бойся.
— Так, может, ты и сейчас не сказала, а только говоришь?..
— Тьфу, Монахов. Сказала. Тоска, Монахов...»

Но дело не только в смысловой широте или неопределенности временных форм. В нашем сознании время может течь вспять или прерываться, оно может представать перед нашим умственным взором в виде отдельных, изолированных моментов. Мы можем представлять себе историческое прошлое как настоящее, а можем переноситься мыслями в будущее. Язык старательно обслуживает все эти наши потребности. Если же при этом возникают какие-то нестыковки, шероховатости, то человек довольно быстро с ними свыкается и перестает их замечать. «Ну, я пошел!» — говорим мы о своем намерении куда-то пойти, еще не двигаясь с места. Здесь форма прошедшего времени обозначает действие в будущем. «Послезавтра мы идем в театр!» — здесь другое будущее действие выражается формой настоящего времени. В третьем случае предстоящее действие, обозначенное формой прошедшего времени, имеет особый оттенок «желательности». «Никаких разговоров, все улеглись и заснули!» — командует воспитательница в детском саду. Естественно, все эти возможности используются в художественной литературе. Приведем две иллюстрации.

«Собирай мальчиков, по кустам расползлись и вперед, за Родину, за Сталина! Возьмешь — “Красное Знамя”, не возьмешь — сдавай партбилет, ясно? Выполняй!» (В. Некрасов. «Саперлипопет»).

- «— ...Нас все равно никто не слушает.
— А вы?
— Слушали. Попробуй я отцу слово поперек сказать. Снимет штаны и за милую душу поддаст горячих. Уважение было. Дети родителей почитали» (А. Безуглов. «Следователь по особо важным делам»).

В первой цитате предстоящая ситуация описывается при помощи разных глагольных форм, среди которых обращает на себя внимание форма прошедшего времени (*расползлись*): фактически она выражает собой приказ. Во второй цитате ситуация, наоборот, относится к прошлому — это воспоминание о патриархальных нравах, — но в ее описание вкраплены формы будущего времени (*снимет, поддаст*), обозначающие некоторое повторяющееся действие.

Носитель языка может сознательно сопоставлять в одном контексте формы разных времен, уточняя или развивая свою мысль.

«...Официанты оставили свои подозрения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку Бегемоту... другой подлетел, звеня зеленым стеклом и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из которых так хорошо пьется нарзан под тентом... нет, забегая вперед, скажем: пился нарзан под тентом незабвенной грибоводской веранды» (М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»).

«— Сколько стоит? — спросил художник.

— Стоил. Недорого, — засмеялся Евгений. — Сто рублей» (Н. Давыдова. «Сокровища на земле»).

Казалось бы, говорящий здесь просто переносит описываемую ситуацию в иной временной план: не *пьется*, а *пился*, не *стоит*, а *стоил*... Ан нет, игра в том и заключается, что изменившаяся временная форма свидетельствует: ситуация стала в корне иной. *Пился* — значит, ресторана больше уже нет. *Стоил* означает «уже не имеет цены, уже продан».

Особенно наглядной «игра с временем» становится тогда, когда в одном контексте сталкиваются трудно совместимые по своим значениям грамматические показатели времени (глагольные формы) и лексические сигнализаторы (обстоятельства времени). Несколько иллюстраций:

«...Вот в таких прекрасных дворцах будут жить все трудящиеся в недавно наступившем светлом будущем» (А. Зиновьев. «Зияющие высоты»).

«Прошлое для тебя еще может измениться и наступать. “Наполеон, — говорю я, — был выдающийся государственный деятель”.

Ты отвечаешь: “Посмотрим!”

Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.

“Завтра мы пошли в лес”, — говоришь ты. У, какой лес зашумел назавтра!...» (А. Вознесенский. «Оза»).

«— Ей разрежут живот! — ликуя, кричит маленький Андрей.

— Вчера будет родительский день, а ей разрежут живот!

— Вчера! — иронически говорит Алеша. — Не вчера, а завтра» (Р. Зернова. «Солнечная сторона»).

Категория времени тесно связана с категорией вида. Вид в славянских языках — специфическая глагольная категория, суть которой сводится к выражению ограниченности действия (лингвисты предлагают еще термины *предельность*, *точечность*, *завершенность* и др.) либо к отсутствию таковой. Большинство глаголов образуют видовые пары — совершенного и несовершенного вида: *принести* — *приносить*, *сбыть* — *сбывать*, *прочитать* — *прочитывать*, *охнуть* — *охать* и т.п. (мы не касаемся здесь внутренних механизмов и направленности словообразовательных процессов). Важно другое: если вид — нормальная грамматическая категория, то она должна каждому совершенновидовому глаголу придавать соответствие в виде несовершенновидового, и наоборот. А на практике так не бывает, соотносительность видов сильно ограничена словообразовательными запретами. Как, например, образовать несовершенный вид от глаголов *погодить* или *нахлынуть*? Как образовать совершенный вид от глаголов *раздражать* или *отрицать*? Но опять-таки: «если нельзя, но очень хочется...» — и в рамках языковой игры такие образования становятся возможны. Покажем на некоторых примерах обход запретов на образование несовершенновидового глагола.

«Всё задремывает... И разнокалиберная шумливая птица в птичнике, и толстая неповоротливая, обильно кормленная и поенная скотина в хлеву... — всё, всё спит» (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»).

«— ...Ну друг! Дай я тебя поцелую!
Петухов поцелуй вытерпливает, но говорит...» (Л. Лиходеев. «Слоны»).

«Машина затряслась и запрыгала... Мотор взревывал, камни били в днище» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. «Понедельник начинается в субботу»).

«Вот, например, у меня есть душа внутренняя, а прана — это душа внешняя... Через эту самую прану передаются мысли на расстоянии, нах... как сказать... нахлыывают случайные воспоминания...» (В. Пьецух. «Рука»).

Здесь во всех случаях при образовании несовершенновидовой пары прибавляется суффикс *-ива-/-ыва-*. Но в тех же целях может использоваться и иное средство: «отнятие» от глагола приставки (которая, собственно, и несла значение совершенного вида). Примеры:

«Дело он двигал осторожно и на все подстегивания главного инженера небрежно отмахивался:
— Погодите, разберусь...
Бахиреву некогда было “годить”» (Г. Николаева. «Битва в пути»).

«— Держи, бой, — сказал я и дал ему значки. Он остолбенел сперва... Пока он столбенел, мы спокойно шли. Но уже через несколько минут сзади раздался шум и гам» (В. Конецкий. «Среди мифов и рифов»).

«— Господи, всю нервную систему ребенку расшатали... — Если бы у нее была своя внучка, она ни за что не шатала бы ее систему, а жила только ее интересами» (В. Токарева. «Уж как пал туман»).

«Мы быстро осиротели.
Сиротели мы две четверти. Без кошек и шашек нам стало так скучно, прямо хоть реви» (В. Панков. «Весело!»).

Точно так же могут образовываться и окказиональные (это значит — для данного случая, на один раз) глаголы совершенного вида. Примеры:

«Тут под звуки меланхолического вальса из кулисы выехала толстая блондинка... И блондинка заездила по сцене» (М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»).

«Оказывается, мы прообщались с Еленой Павловной целую перемену» (Ю. Поляков. «Работа над ошибками»).

«А знаешь, этот Костик... Он посожалел» (В. Токарева. «Инфузория-туфелька»).

Кроме того, в сфере вида действует еще множество общих и частных условий и оговорок. Например, известно такое правило: в конструкциях с отрицанием может употребляться только глагол несовершенного вида: *не оборачивайся, не чешись, не приноси* и т.п. — нельзя сказать «не обернись» и т.п. Исключение составляют только некоторые глаголы, используемые в «ситуации предупреждения»: (*смотри*) *не забудь, не споткнись, не опоздай*... В речевой же практике, как и следовало ожидать, данное правило может нарушаться, если говорящий преследует какие-то особые цели:

«И стеклянною волной
Ласточка шмыгнула мимо,
Прошептала: Берегись!
Помни! Жди! Не обернись!»
(Д. Пригов. «Мистическое»).

Или вот еще такое частное правило. Глагол *взять* имеет в качестве несовершенновидовой пары слово с другим корнем: *брать*. Мы можем сказать: «Я взял книгу в библиотеке» или «Я много раз брал книги в библиотеке». Но *взять* имеет и другие, переносные значения. Так, оно употребляется в предложениях, обозначающих неожиданное, непредсказуемое действие: *А вдруг они возьмут и придут? А он взял и отказался от своих слов*. Или так: *А Петя возьми и скажи...* В этой своей функции глагол *взять* выпадает из видовой пары *брать — взять* (фактически он тут становится чем-то вроде частицы). Нельзя сказать: «Он каждый раз брал и отказывался». Но, подчиняясь всемогущим законам игры, может пасть и этот запрет:

«— Кажется, погода испортилась! — сказал слоненок.

— То есть как это испортилась? — возмутился попугай. — Что значит испортилась? Чего это ей ни с того ни с сего брать и портиться?» (Г. Остер. «Бабушка удава»).

Из других глагольных категорий стоило бы специально остановиться на лице и безличности. Грамматическое лицо выражает отношение ситуации, о которой идет речь в высказывании, к самому акту речи, а точнее, к его участникам. Как известно, 1-е лицо обозначает говорящего («Я вхожу в класс»), 2-е — слушающего, или адресата («Ты входишь в класс»); если же речь идет о ком-то или чем-то «постороннем», не принимающем участия в речевом акте, то употребляется 3-е лицо («Он входит в класс»). Возможности игры здесь заключаются прежде всего в функциональном «переодевании» лица. Это значит, формы лица используются не по своему прямому назначению, а принимают в данном контексте чужие обязанности.

Например, если говорящий повествует о себе в 3-м лице, то в этом уже содержится элемент языковой игры, сопряженный с передачей дополнительных значений. На этом основаны многообразные выражения типа «ваш покорный слуга», «наш брат художник», «автор этих строк» и т.п. Со специальными целями такой прием может применяться и в художественных текстах, в частности, если говорящий хочет охарактеризовать себя со стороны, взглянуть на себя чужими глазами. Так, в следующем диалоге один из персонажей (женщина по имени Марина) говорит о себе в 3-м лице — «эта»:

«Смирновский (отшучивается). Не выйдет, малыш. Я лягу при входе. Ты же не переедешь папочку?

Марина (показывая на себя). Эта? Эта кого хочешь переедет» (Э. Брагинский, Э. Рязанов. «Гараж»).

Говорящий может использовать в игровых целях и форму 2-го лица. Например, в разговорной речи встречаются случаи, когда человек буквально повторяет обращенную к нему реплику собеседника: «Ты это сделаешь?» — «Сделаешь» (вместо «Сделаю»). В принципе можно считать, что перед нами пародирование ти-

пичной диалоговой ситуации, в которой реплики собеседников формально различаются только своей интонацией. Мы ведь привыкли к таким «эхо-ответам», ср.: «Готов?» — «Готов»; «Ладно?» — «Ладно» и т.п. А вот подтверждающая цитата из художественного текста — рассказа А. Кабакова «Love история»:

«— Ты меня любишь? — спросила она.

— Любишь, любишь.

— Правда? — спросила она.

— Правда, правда.

— Я самая-самая? — спросила она.

— Самая, самая, самая».

Игровой можно считать также такую ситуацию, когда говорящий обращает свое высказывание к неодушевленному предмету. Поскольку предмет заведомо не услышит этого обращения и не отреагирует на него, весь речевой акт можно было бы считать искусственным и бессмысленным; но говорящий, очевидно, рассчитывает на какого-то иного слушателя: либо на присутствующих при этом лиц, либо на самого себя (ему нужно выплеснуть свой эмоциональный заряд). Классический образец такого поведения — речь Гаева в чеховском «Вишневом саде», обращенная к шкафу:

«Гаев. ...Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания».

Еще один случай — использование в речи форм 1-го лица множественного числа со значением совместного действия. «Ну, как мы себя чувствуем?» — интересуется врач при обходе. «Шею брить будем? Височки какие сделаем?» — обращается парикмахер к сидящему в кресле клиенту. «На следующей выходим?» — спрашивает пассажир у человека, стоящего перед ним в проходе. Ясно, что «совместность» тут деланная, фиктивная. По существу же эти формы обозначают действие одного субъекта, только

окрашенное толикой вежливости, участливого или заинтересованного отношения со стороны говорящего.

На внутренней противоречивости таких форм основан следующий анекдот — характерный пример языковой игры:

«— Ну что, будем говорить? — спросил полковник матерого шпиона.
— Будем, — ответил шпион.
И полковник начал рассказывать».

Возможности использования форм лица с дополнительной нагрузкой вообще довольно широки. Однако иногда «игра с лицом» требует специального пояснения, «введения». Например, в повести В. Нечаева «Последний путь куда-нибудь» два персонажа общаются друг с другом довольно странным образом:

«Гонт уже привык к его молчанию.

Он сделал заказ, не забыв для себя бутылку сухого вина, и как бы между прочим спросил Коробейникова:

— За каким дьяволом тебя погнало в Японию?

— А как он думает? — тихим, невзрачным голосом сказал Коробейников. — Он думает, что это случайно. Лодка сбилась с курса. И штормовой ветер погнал ее к иноземным берегам.

<...>

— Ты что будешь заказывать? — милостиво обратился он к Коробейникову.

Тот презрительно пожал плечами.

— Меня там кормили супами и кашами. Я уже забыл вкус настоящей пищи... Но он ведь уже сделал заказ. Или он в самом деле идиот».

Читатель недоумевает: как понимать это «он» в речи Коробейникова — о ком это он? Что это, еще одно действующее лицо? Или же это проявление раздвоения личности? А может быть, связь между собеседниками оборвана и каждый говорит о своем? И только дальше всё разъясняется и становится на свои места: оказывается, «он» — это «ты». Прочитируем текст:

«— Мы оба сироты. Мы не имеем корней и традиций, — Гонт почти прослезился.

— И в этом он находит свое оправдание, не так ли?

— Говори мне ты, — вспыхнул Гонт. — Что это за дурацкая манера обращаться к человеку в третьем лице.

— Не могу. На вы — незаслуженно, а на ты — не могу. Язык не поворачивается. “Ты” можно сказать брату, другу, врагу. С кем меня связывает что-то существенное и личное. А нас связала только оказия».

Такое использование формы 3-го лица оказывается для читателя довольно трудным, чреватым непониманием, а потому, как мы видим, нуждается в специальном «обосновании».

Значительно более частый и естественный случай языковой игры связан с противопоставлением лица и безличности: это еще один пример «балансирования на гранях» языковой системы. Дело в том, что, кроме возможности обозначить разное лицо — 1-е, 2-е или 3-е, — у говорящего есть возможность никак не выражать лицо. Тогда используются неопределенно-личные или безличные конструкции. Например, вместо «я думаю, что...» можно сказать «мне думается, что...», вместо «ветер захлопнул дверь» — «ветром захлопнуло дверь» и т.п. Иногда смысловая разница между такими вариантами несущественна, незаметна, но бывает и наоборот: говорящий может сознательно противопоставлять личной ситуации безличную, подчеркивать, что последняя организуется как бы сама по себе, вопреки воле субъекта.

«— Так зачем же пили? — изумленно спросил внук.

— Пили-то? Да так. Пилось» (А. Аверченко. «Старческое»).

«К берегу гребет он, ан — не гребется, чудесно и не гребется. В лодке воды все прибывает» (Е. Попов. «Было озеро»).

«— Что же это вы тонете? — укоризненно спросил он, когда я вынырнул.

— Да я бы рад не тонуть, — откровенно признался я. — Само как-то тонется» (Н. Исаев. «На верхней полке»).

Игра же здесь основывается на том, что глаголы, в соответствии со своим значением, в разной степени предрасположены (или, наоборот, не предрасположены) к обозначению безличного состояния. Так, с помощью возвратной частицы *-ся* легко образовать безличные формы от глаголов *жить, спать, верить, думать, хотеть, работать, сидеть, гулять* и некоторых других.

Очень часто при такой форме присутствует имя существительное или местоимение в дательном падеже: *Отцу не спалось; Мне не сидится дома; Как вам тут живется?* и т.п. Но расширить круг этих глаголов — значит в каком-то смысле переступить черту, нарушить принятую конвенцию. Мы уже знаем, когда такое нарушение выглядит оправданным в глазах носителя языка: если оно сопровождается дополнительной экспрессией, несет с собой эстетический (поэтический, комический и т.п.) эффект.

«Как живется вам — хлопчется —
Ежится? Встается — как?..»

(М. Цветаева. «Попытка ревности»).

«Насколько терпелось канавам и скатам,
Покамест чекан принимала руда...»

(Б. Пастернак. «Баллада»).

«Пировалось всю ночь воронью,
Воронье истерзало мою
Небесмертную, рваную душу...»

(Д. Сухарев. «Голос птицы»).

«Здесь пишется, как дышится, —
Взволнованно, распахнуто,
Как небосводам пышется
И как звенится пахотам»

(А. Вознесенский. «В горах»).

«Николаю Сергеевичу хотелось лечь и уснуть навсегда, не выходя из кабинета. Николай Сергеевич закрыл глаза и стал ждать конца. Но как-то не умиралось» (Э. Брагинский, Э. Рязанов. «Старики-разбойники»).

Другой структурный тип безличных конструкций, включающий в себя существительное или местоимение в родительном падеже, реализуется при одном условии — при сказуемом должно быть отрицание. Например: *Ветра не было; Гор из-за тумана не было видно; У вас никаких вещей не пропадало?* и т.п. Стоит убрать отрицательную частицу *не* — и конструкция становится неправильной, невозможной. Ее существование тогда может быть оправдано только «игровыми» целями:

«Знакомый швейцар сразу захотел допытаться, почему на фронте не болели.

— На фронте гипертоний не было.

— Гипертоний было, — сказал художник миролюбиво как будто» (Н. Давыдова. «Сокровища на Земле»).

«— Вас здесь не стояло!

— Нет, стояло, — естественно, отвечает Гражданин № 1.

— Нет, не стояло! — настаивает Гражданин № 2.

— Да-да, их здесь стояло! А вас не стояло! — вступился Гражданин № 3 в желтых очках» (В. Леви. «Искусство быть другим»).

Еще более очевидна языковая игра в тех случаях, когда глагол, обычно выступающий как безличный, становится «оказионально личным»: к нему в данном контексте «примысливается» подлежащее. Таковы в следующих цитатах глаголы *кишеть* и *смеркаться*:

«— А в Германии ваши были, — лукаво погрозил он мне. — Там вашими так все и кишело в 1945-м. А ты там, Вася, не кишел?

— Я тогда под стол пешком ходил» (В. Аксенов. «О похожести»).

«Я сослан в себя

Я — Михайловское

Горят мои сосны смыкаются

В лице моем мутном как зеркало

Смеркаются лоси и пергалы»

(А. Вознесенский. «Я сослан в себя...»).

Богатые возможности для языковой игры предоставляет еще одна грамматическая категория — категория степени сравнения. Человеку свойственно сравнивать между собой предметы, у которых одно и то же качество проявляется в разной мере, например: *Правая рука обычно сильнее, чем левая; Петя старше Васи на год; Мальчик плавает все лучше и лучше; Ваши яблоки вкуснее наших* и т.п. Отсюда естественно вытекает, что категория степени сравнения присуща прилагательным (а также наречиям), обозначающим качество, — таким, как *сильный, высокий, грубый, добрый, холодный* и т.п. Правда, из этого общего правила есть доволь-

но много исключений: нельзя образовать сравнительную степень от слов *пустой, голый, босой, глухой, мертвый, больной, вечный, злостный, чужой* и др. Как бы само собой подразумевается, что если прилагательное обозначает признак абсолютный, не имеющий количественного измерения, то и степеней сравнения у него быть не должно. Нельзя ведь сказать, что один пациент «больнее», чем другой, а этот участок «квадратнее», чем тот... То же самое касается и относительных прилагательных, устанавливающих свойство предмета на основании его отношения к другому предмету: *железный, ночной, деловой, детский, мясной* и т.п.; они тоже находятся «вне сферы» степеней сравнения. Нельзя сказать: «Эта телепередача ночнее, чем та...» Однако на практике все эти запреты оказываются относительными; языковая игра позволяет, если нужно, переступить границу:

«Однажды Серафима Анисимовна сказала Отелкову:

— Я одинокая, а ты одиночше меня. Ты такой одинокий, хуже, чем крот» (В. Курочкин. «Урод»).

«Руководителю тут же предложили мотористок и плотника изъять, а взамен набрать кого-либо пожелезнодорожной» (Л. Жуховицкий. «Компания»).

«Он умолял: “Скорее спрячемся,
Где дождь случайней и ночнее...”»
(А. Вознесенский. «Ода дубу»).

В игре могут участвовать и формы, выражающие максимальное, наиболее полное проявление признака (в языкознании их обычно называют формами превосходной степени). Кроме суффикса *-айш-/-ейш-*, в данном случае могут использоваться также повторы (типа *добрый-добрый*) и специальные сигнализаторы: *наиболее, самый, чрезвычайно, очень, крайне* и т.п. Приведем несколько примеров, в которых признак, не подлежащий количественному измерению, искусственно «усиливается». Пример первый — анекдот.

«Жена нового русского приводит сына в гимназию.

— Хочу, чтобы мальчик учился иностранному языку.
— Пожалуйста. Какой предпочитаете: английский, немецкий, французский, итальянский?
— А какой из них самый иностранный?»

Следующие примеры — из литературных произведений.

«— ...А статую Венеры поверните в профиль! А то у нее чересчур античные формы» (Б. Егоров, Я. Полицук, Б. Привалов. «Не проходите мимо»).

«— Неужели Печать? — спросил он с ужасом.
— Да, — сказал Роман. — Увы.
— Большая?
— Очень большая, — сказал Роман.
— Ты такой еще не нюхал, — добавил Витька.
— И круглая?
— Зверски круглая, — сказал Роман. — Никаких шансов» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. «Сказка о Тройке»).

«— А вот здесь моя мама работает. Шестая объединенная поликлиника. Такая объединенная-объединенная, — тихо усмехнувшись, добавляет она» (В. Попов. «Две поездки в Москву»).

Обратим внимание на то, что, сравнивая предметы, говорящий принимает некоторое количество признака, имеющееся у одного из них, за, так сказать, точку отсчета. Однако другое, большее количество этого признака, имеющееся у иного предмета, может само стать исходным пунктом при сравнении с очередным, третьим предметом и т.д. Иными словами, человек в своей практике имеет дело не только с двучленным противопоставлением типа «высокий — выше», но и с постепенной градацией типа «высокий — выше — еще выше...» и т.д. Сравнительная степень относительна по самой своей сути.

Вот как обыгрывают это языковое свойство И. Ильф и Е. Петров: «Происшедшее нарастание улыбок и чувств напоминало рукопись композитора Франца Листа, где на первой странице указано играть “быстро”, на второй — “очень быстро”, на третьей —

“гораздо быстрее”, на четвертой — “быстро как только возможно” и все-таки на пятой — “еще быстрее”» («Золотой теленок»).

Еще одна цитата из того же источника:

«Изредка только попадалась кепка, а чаще всего черные, дыбом поднятые патлы, а еще чаще, как дыня на баштане, мерцала загоревшая от солнца лысина...»

В принципе можно рассуждать так: чем ярче выражен какой-то признак предмета, тем более полно проявляется сам предмет — носитель данного признака. И в этом смысле степени сравнения — категория не только прилагательных и наречий; она важна также для существительных. С ними происходит примерно то, что публицист В. Овчинников замечает в особенностях японской кухни:

«Назначение адзи-но-мото — усиливать присущие продуктам вкусовые особенности. Если, скажем, бросить щепотку этого белого порошка в куриный бульон, он будет казаться более наваристым, то есть более “куриным”. Морковь подобным же образом будет казаться более “морковистой”, фасоль — более “фасолистой”, а квашеная редька станет еще более ядреной. Каждый продукт, таким образом, в большей степени становится самим собой» («Ветка сакуры»).

Но как это может морковь становиться «более морковистой» или «менее морковистой»? — спросит читатель. Очень просто: достаточно в нашем сознании прибегнуть к сравнению и оценке. В таком случае «более морковистый» значит «лучше соответствующий типичным свойствам моркови». И говорящие, в том числе писатели, с удовольствием принимают правила игры: существительные, в значении которых содержится оценочный элемент, втягиваются в сферу категории степеней сравнения. Примеры:

«— Господь с вами! Вор-Пащенко? Да это честнейшая личность, кристальная душа!

- А, может быть, лучше пригласить вора-Кущенко?
- Ну, нет, этот гораздо врее» (Тэффи. «Ке фер?»).

«Марик! Дружок мой, до колонии мы с ним хулиганили.

А потом, говорят, шпаней его в Лианозове не было» (С. Каледин. «Смирное кладбище»).

«— А насчет Голощапова не сомневайся, — сказал Аркадий Павлович. — Он, как говорится, папее папы» (А. Безуглов. «Преступники»).

Подобные выражения, естественно, встречаются и в устной разговорной речи. Вот, скажем, какая форма зафиксирована в сборнике «Русская разговорная речь. Тексты» (сохранена пунктуация оригинала, косые линии соответствуют паузам): «Мы идём-идём/ идём-идём/ с ребё-о-нком/ идём одно бревно/ другое/ мы думаем там еще бревнее есть бревно... »

Такие же формы отмечает К. Чуковский в речи детей. Персонажи его книги «От двух до пяти» говорят примерно так: «Я буду ждать, когда станет утрее». Или: «У тебя цветок как звездочка? А у меня еще звездее».

Наконец, стоило бы припомнить, что в распоряжении категории степеней сравнения имеются различные средства: суффиксы, префиксы, повторы, слова типа *более*, *самый* и т.п. Все они определенным образом соотносятся и взаимодействуют между собой. Несоблюдение этих правил приводит в разговорной речи к ошибкам типа «более лучший» или «самый длиннейший». Подобные образования — уже в ином качестве — могут встречаться и в художественных текстах и публицистической речи (возможно, как речевая характеристика персонажа или же как демонстративное пренебрежение к нормам грамматики), ср.:

«Под каждой крышей —
тоже человечество.
Не менее ценнее, чем Париж,
наш дом,
где у крыльца луной высвечиваются
две пары лыж»
(Е. Евтушенко. «Две пары лыж»).

В целом грамматика, благодаря абстрактности и условности своих значений, оказывается благодатнейшей почвой (или полем?) для языковой игры.

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОВА

Важнейшая единица языка — слово. Оно призвано обозначать и называть предметы (явления, процессы, свойства и т.д.). Вот это, мы говорим, называется *облако*, это — *средневековый*, это — *моргать*... Слово необходимо нам для систематизации и классификации окружающей действительности, для ориентации в пространстве и времени. В нем воплощается основная мыслительная единица — понятие.

Слово — знак, за ним стоит обозначаемый предмет. И, как любой знак, оно складывается из двух частей, двух сторон: из того, что передается, — его называют значением, смыслом, семантикой, и того, чем передается, — это форма, оболочка слова.

Для данных двух составляющих языкового знака есть и специальные термины, соответственно: план содержания и план выражения.

Отношения между планом содержания и планом выражения слова довольно сложные, вроде как между членами супружеской пары. Дело в том, что каждая сторона стремится к определенной степени свободы, независимости от другой. То значение слова в конкретном контексте в той или иной степени отойдет от исходного, то, наоборот, форма слова позволит себе какие-то «излишества» (попросту говоря, изменится). Продолжая нашу параллель с супругами, можно было бы сказать, что две стороны слова то и дело расходятся, «ссорятся», а говорящий должен их постоянно сводить друг с другом, «мирить». Собственно, это именно говорящий и позволяет себе подобные «вольности» со знаком, но он действительно должен их как-то оправдывать, мотивировать для слушающего — иначе тот просто не поймет сказанного. По данному поводу уместно вспомнить еще один диалог из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла:

«— Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше, — сказал Шалтай презрительно.

— Вопрос в том, подчинится ли оно вам, — сказала Алиса.

— Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, — сказал Шалтай-Болтай. — Вот в чем вопрос!» (перевод Н. Демуровой).

Вопроса, собственно, нет — и так ясно: говорящий человек — вот кто хозяин по отношению к слову. Хозяин настолько, что он может даже придать слову совершенно неожиданное, не свойственное ему значение. Или, в другой ситуации, изменить, исказить его оболочку, т.е. как бы придать ему чужую форму. Но тут уже, конечно, начинается область языковой игры.

Рассмотрим вначале первую из названных ситуаций. Вот, к примеру, всем нам хорошо знакомые части тела: руки, ноги, голова, живот... Казалось бы, почему б их так прямо и не называть: *руки*, *ноги* и т.д.? Но нет, в текстах мы сплошь и рядом сталкиваемся еще с другими, «чужими» обозначениями. Несколько иллюстраций из художественной литературы:

«— Что-то мы засиделись, — сказала она и вытянула вперед руку, поиграв в воздухе своими морковками. — Помогите даме! Джентльмен!» (К. Мелихан. «Белый танец»).

«Винтик пожал его мягкую, точно котлета, руку и тоже назвал себя. — Смекайло, — повторил Смекайло бархатным голосом и плавным, широким жестом протянул руку Шпунтику.

— Шпунтик, — ответил Шпунтик и тоже пожал котлету» (Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»).

«И Мишка стал держать велосипед, а я на него взгромоздился. Одна нога действительно доставала самым носком до края педали, зато другая висела в воздухе, как макаронина. Я этой макаринонкой отпихнулся от трубы, а Мишка побежал рядом...» (В. Драгунский. «Мотогонки по отвесной стене»).

«— И с этим грязным животным в кожаном пиджаке я общаюсь почти тридцать лет! “Золя” отрастил... как на седьмом месяце... — Резким движением он хотел ткнуть Юрия Евгеньевича в живот...» (Б. Золотарев. «Нам позвонят»).

«У Адалис было милое интеллигентное лицо, редкие растопыренные зубы. Когда она улыбалась, Багрицкий говорил: “Закройте ваш веер, Адалис”» (Н. Надеждина. «Из воспоминаний»).

Мы видим, что в первой цитате слово *морковка* употреблено в значении «палец», в конце второго примера слово *котлета* вы-

ступает в значении «рука», в третьем случае существительное *макаронина* приобретает окказиональное значение «нога» и т.д. Конечно, назвать палец морковкой или зубы — веером можно лишь при условии, что у говорящего (в том числе у писателя) имеет место особый — игровой (игривый?) — настрой; по-видимому, и от читателя ожидается, что он как бы предрасположен к языковой игре.

Только не надо думать, что подобные окказиональные названия используются всегда со знаком «плюс», т.е. с одобрителем. Скорее наоборот. Очень показательны в данном отношении слова, выражающие отрицательные эмоции человека: негодование, досаду, злость, презрение, ненависть и т.п. Уж, казалось бы, столько есть названий, специализирующихся в репрессивной, «обзывательной» функции: *дурак, подлец, мерзавец, негодяй, сволочь...* И все же иногда им не хватает выразительной силы. И в роли ругательств, оскорблений начинают выступать обычные, «нормальные» слова — достаточно только произнести их с соответствующей интонацией, да еще по возможности сопроводить угрожающим жестом... Примеры:

«Б у р о в (*Заплатину*). Скажи, нототения, снимки твои напечатали? Заплатин. Сданы в печать. Я вас прошу, Федор Сергеевич, не обзывать меня рыбными именами!» (Э. Брагинский, Э. Рязанов. «Родственники»).

«Там уже сидела на диване величественного вида дама и голосила: — Чтоб вы все сдохли! Чтоб вас черти слопали! Хамы! Горшки! Сталактиты!

Последнее выражение почему-то особенно обидело дежурного врача, и он резко сказал:

— Ну, хватит!» (В. Поляков. «Если вы встретите таких людей...»).

«П о к у п а т е л ь н и ц а (*с утреком*). Какая вы принципиальная!

П р о д а в щ и ц а (*вспыхнув*). И вовсе я не принципиальная.

— Нет, я вижу, очень даже принципиальная!

— Да сами вы принципиальная!» (З. Паперный. «Школа терпения»).

«...Милиционеров Василий особенно не терпел и обзывал их, узнав это слово после знакомства с Лерой, интеллектуалами, что приводило и меня, и Леру в невыразимый восторг.

Он так и кричал им вместо приветствия:

— Ну, вы!.. Интеллектуалы!» (В. Маканин. «Отставший»).

Конечно, здесь можно было бы порассуждать о том, какое ругательство сильнее, обиднее — когда тебя назовут нототенией или интеллектуалом. Но общий принцип ясен: предмет называется «чужим» именем неспроста, а с какой-то дополнительной целью, с игровым подтекстом.

Иногда при этом значение слова так далеко отходит от своего основного, словарного прототипа, что обязательным условием его употребления становится общий опыт говорящих, их некоторая совместная жизнь. Вот, к примеру, какой рассказ мы находим в «Записных книжках» И. Ильфа:

«На пароходе “Маджестик” возвращалась из Америки группа автомобильных инженеров. Английского языка они не знали, и громадная обеденная карточка вызывала у них ужас. Наконец им посоветовали заказывать рекомендуемый обед. Он помещается на левой стороне меню. С тех пор они, счастливо улыбаясь, говорили друг другу перед едой: “Закажем левую, а? Левую!” А съев обед, долго говаривали: “Хороша сегодня левая, хороша”».

Если же в одном контексте оказывается несколько слов, употребленных в окказиональных значениях (понятных лишь посвященным), то такой текст становится похож на зашифрованное сообщение: он требует «перевода» на нормальный язык. Скажем, у того же И. Ильфа в соавторстве с Е. Петровым есть глава «Прошлое регистратора загса», не вошедшая в основной текст романа «Двенадцать стульев». В ней, в частности, повествуется о нравах, царивших в дореволюционных гимназиях. В одном месте читаем:

«Не один карандаш принял мученический венец из “фонарей” и “бланшей” от руки мстительных баклажан».

Для того чтобы понять эту фразу, надо знать, что карандашами называли учащихся городской гимназии, баклажанами — воспитанников дворянской гимназии, *фонарь*, надо думать, означает «синяк», а *бланш*, по-видимому, «ссадина»... Обратим, кстати,

внимание на заковыченные в цитате слова «фонарь» и «бланш». Кавычки — верное средство указать на то, что слово употреблено не в своем настоящем значении, а в каком-то ином, переносном. Это, между прочим, излюбленный прием газетчиков. Каждый день мы читаем в прессе: «Эти “борцы за демократию” организовали сбор подписей...» или: «Заезжий “коммерсант” подписал договор о доставке...» и т.п. Кавычки здесь — сигнализатор того, что значение слова «сдвинуто», верить названию нельзя... В сущности, самая бессмысленная фраза становится осмысленной, если какие-то слова в ней взять в кавычки. Когда-то языковеды увлекались придумыванием искусственных высказываний вроде «Кентавр выпил круглый квадрат». (Целью таких экспериментов было показать, что предложение может быть грамматически правильным независимо от того, понимаем ли мы, о чем тут говорится, или нет.) Так вот, достаточно принять, что некоторые слова употреблены здесь в каких-то особых значениях, как всё становится на свои места. Допустим, *Кентавр* — это прозвище человека, *круглый* употреблено в значении «полный» (ср. выражения *круглый дурак*, *круглый год*), а *квадрат* — название какой-то емкости... «Взятое в кавычки слово может значить тогда практически все, что нам надо; оно становится как бы “джокером”, который может принимать в принципе любое значение, необходимое для того, чтобы фраза в целом воспринималась как осмысленная» (Б.А. Успенский). Вот как велика роль этого знака препинания, который мы обычно связываем с цитацией и прямой речью; кавычки — очень интересный знак.

Ранее, говоря о поведении слова в составе фразеологических сочетаний, мы уже допускали, что его значение в принципе может превращаться в нуль. Теперь внесем поправку в наши «математические» выкладки: значение слова в речи — это икс. Это некоторая переменная величина, которая зависит от многих обстоятельств: от жизненного и языкового опыта говорящего (а также слушающего), от его намерения (коммуникативной задачи), от конкретной обстановки речевого акта, от произнесенных перед тем слов... Да-да, и предшествующие слова могут повлиять на действия говорящего, подсказать ему те или иные названия. Вот тому доказательство:

«— А я один раз у него в ресторане был... шницеля вкусные, — мечтательно говорил Витька.

— Ты гляди, сегодня школу не прогулай, шницель! — отвечал Степан Егорыч» (Э. Володарский. «Вторая попытка Виктора Крохина»);

«Иван Гермогенович погладил бороду и, улыбаясь, сказал:

— Вот на острове Барбадосе комары кусают, так это действительно, я вам скажу, кусают!

Вдруг Валя вскочила и закричала:

— Ой, смотрите, какая барбадоса плывет! Уй-юй-юй!» (Ян Ларри. «Необыкновенные приключения Карика и Вали»).

Стоит ли после всего этого удивляться тому, что в конкретном случае слова совершенно различные, противоположные по своему значению (антонимы), могут приравняться друг другу, отождествляться! *Белый* может означать «черный»! И наоборот, между равнозначными словами (синонимами) может вырастать в тексте смысловая пропасть.

Приведем несколько иллюстраций из сатирической повести А. Зиновьева «Зияющие высоты»: тут законы классической логики разбиваются об абсурд социалистической действительности.

«Хмыря, Балду, Учителя и прочих тоже схватили и добровольно присоединили к добровольцам. Это конец, сказал Хмырь, копая землянку. Да, сказал Учитель, сося беззубым ртом грязный сухарь. Это — начало».

«Для этого у меня есть своя теория, сказал Шизофреник... Только предупреждаю, она заведомо не научная. Пусть, сказал Мазила, лишь бы она была верная».

«И впервые после многих лет он почувствовал, что, хотя он и бесполезен для общества, зато необходим».

«На том берегу вырос новый район из домов, одинаковых по форме, но неразличимых по содержанию. Случайно получивший в этом районе отчасти изолированную смежную комнату Болтун говорил...»

А чтобы показать, что такая игра не является привилегией одних только высокоинтеллектуальных текстов, рассчитанных на подготовленного читателя, приведем еще два примера из книги для детей.

«— ...Зачем ты ее испортила, нашу погоду?
— Я ее не портила! — закричала мартышка. — Это не я!
— Мартышка, — сказал попугай, — не отпирайся! Отпираться бесполезно!
— И запирайтесь! — добавил слоненок. — Запирайтесь тоже, по-моему, бесполезно!
— Я не запираюсь и не отпираюсь, — закричала мартышка. — И я не портила погоду!» (Г. Остер. «Бабушка удава»).

«— Я тоже его боюсь! — сказал удав. — Вернее, я его не столько боюсь, сколько опасуюсь» (Там же).

Если мы принимаем, что значение слова в речи — это некоторый «икс», то можно предположить, что для говорящего оно иногда так и остается неопределенным, неизвестным. Впрочем, не выдумка ли это, не фантастика ли? Разве может говорящий употреблять слова, смысл которых он не понимает? Это очень интересный вопрос, и частично мы его уже затрагивали. Что значит — «не понимает»? Человек ведь вообще «осмысливает» слово в меру своих сил, придает ему то значение, которое соответствует его потребностям. Понятно, что для обычного носителя языка глубина этого осмысления меньшая, чем для специалиста. В слове *глаз* окулист найдет значительно больше разнообразной информации, чем обычный человек, который снимает только «верхний слой» этого значения: «то, чем мы смотрим».

Ну а если мы ограничимся вообще, что называется, первым приближением к объекту и будем определять его примерно так: «это нечто вроде...», «что-то типа...», «нечто из области...»? Можем ли мы утверждать в таком случае, что знаем данное слово, что мы им владеем? И ведь это не вымышленная ситуация, а вполне реальная, обыденная наша практика. Вот характерный пример:

«— ...Я его люблю. Все остальные — амбалы рядом с ним.
— Амбал — это что?
— Не знаю. Сарай. Или плита бетонная...» (В. Токарева. «Ничего особенного»).

А вот еще примеры того, как человек пользуется словом, имея лишь приблизительное представление о его смысле (и, добавим, не отдавая себе в этом отчета):

«...Сдачу со всех покупок он настойчиво складывал в банку из-под ландрина. Как наберется червонец, он его менял на бумажку и ложил в другую специальную банку, где у него лежали одни червонцы. И так вплоть до сотенных купюр... Я сначала подумала, что, может быть, это такое сафари, и решила своего парикмахера испытать...» (В. Пьецух. «Потоп»).

«Нельзя, конечно, сказать, что Чистяков влюбился в Лизу, будучи совершенным будденброком в сексе» (Ю. Поляков. «Апофегей»).

В первом случае слово *сафари* употреблено, видимо, в значении «хобби, увлечение»; во втором *будденброк* означает «троглодит», «идиот», «недотепа»... А действительно, разве мало в нашей памяти слов, знакомых нам понаслышке? *Азалия, гоплит, пантограф, целибат, сикофант, левират, нонпарель, сикурс*... Названия эти мы точно встречали, да только что они значат? Вертятся на кончике языка...

На этом, в сущности, основана довольно распространенная игра, кочующая по страницам газет и научно-популярных журналов.

«Что бы это значило?» «Что такое, кто такой?» — вот ее названия. А суть игры проста: читателю предлагается слово и — на выбор — несколько значений, из которых надо выбрать одно, правильное. Например:

ЛЮКАРНА — 1. оконный проем в крыше, 2. итальянская гармоника, 3. птица семейства врановых, 4. мафиозная группировка.

СКАЛЬД — 1. альпинист-скалолаз, 2. скандинавский поэт, 3. приспособление для скалывания льда, 4. волосяной покров головы.

САГАЙДАК — 1. участник народного восстания, 2. степная газель, 3. колчан для лука и стрел, 4. татарский танец.

ДОЛЬМЕН — 1. претендент на долю при дележе, 2. древнее погребальное сооружение, 3. художник-абстракционист, 4. музыкальный инструмент.

АРХИВОЛЬТ — 1. характеристика электрического тока, 2. па в старинном танце, 3. работник книгохранилища, 4. архитектурная деталь, 5. герой поэмы Гомера.

На тех же принципах основывалась телеигра «Проще простого» (ведущий — Николай Фоменко), транслировавшаяся телеканалом «Россия» в 1996 г. Участникам предлагались, например, такие вопросы:

Что такое махальня?

- русское название ринга,
- кузница,
- калитка в воротах.

Что можно сделать разногой?

- вспахать поле,
- поймать рыбу,
- начертить окружность.

Где находится плюсна?

- на побережье,
- на ноге,
- на одежде; и т.п.

Вообще-то *разнога* — старинное название циркуля (оно есть, например, в Словаре Даля), *махальня* — диалектное название калитки, *плюсна* — анатомический термин: часть стопы... Но интересен сам процесс «осмысливания» слова носителем языка: на чем человек основывается, выбирая то или иное значение? Ясно, что ему помогают звуковые ассоциации с другими словами (хотя в то же время и мешают, сбивают с толку, ср. сходные названия вроде *сагайдак* — *гайдук* — *сайгак*...). Кроме того, участвующий в игре пытается по возможности разложить слово на значимые составные части (*доль-мен* и т.п.) и «вписать» его в какой-то контекст, может быть, даже припомнить какую-нибудь цитату с его участием...

Иногда подобные задачи приходится решать и ученым. Вот, скажем, в дневниках русского поэта В.А. Жуковского несколько раз встречается слово *клодовеки*. Примером может послужить такая запись: «Поутру показывал свои рисунки и смотрел клодовеки». Теперь исследователи ломают голову в поисках толкования: что такое *клодовеки* — «черновики»? «картинки»? еще что-то?

Данная ситуация — «осмысливание» слова носителем языка — может быть также предметом шуток и насмешек. Вот как, например, это делает петербургский юморист Константин Мелихан:

«В прошлом веке, когда учитель читал ученикам “Евгения Онегина”: о том, что Онегин был “ученый малый, но педант”, — он не останавливался на этом месте и шел дальше.

После революции учитель стал останавливаться на этом месте и объяснять ученикам, кто такой педант.

Сейчас учитель останавливается на этом же месте и говорит: “Педант — это совсем не то, что вы подумали”».

А если говорить серьезно, то носитель языка сталкивается здесь с задачей чисто лингвистической, а именно: дать слову определение, приписать ему некоторое значение. И хотя эта деятельность обычного человека отличается от процедуры настоящей лексикографической работы (составления словарей), трудности и там и там великие. Причем признаемся: задача определения значения слова для носителя языка тяжела не только потому, что для подобной игры специально подбираются трудные слова (редкие архаизмы, диалектизмы, узкоспециальные термины и т.п.). Человеку вообще непросто заниматься «выражением вслух» значения. Свою долю сложности вносит в этот процесс и сам язык — он не всегда, так сказать, идет говорящему навстречу.

Дело в том, что многие слова обладают очень широким, расплывчатым смыслом: его трудно выразить на бумаге и даже сформулировать устно. И речь не идет о каких-нибудь там каверзных местоимениях (например, что значит *каждый* или *этот*?) — нет, об обычных существительных, прилагательных, наречиях... В частности, достаточно, чтобы значение слова включало в себя оценочный момент — положительный или отрицательный, — как его «материальная», предметная основа ослабевает и определить его в словаре становится затруднительно. Как объяснить, скажем, кто такой *молодец*, *молодчина*? «Хороший человек», и всё? Что значит *обормот*? «Не очень хороший человек»?.. Или вот есть такое слово: *брандахлыст*. Оно тоже вроде бы по своей форме нам знакомо, вроде бы на слуху. Но что оно значит? Наверное, это непутевый, разболтанный человек, гуляка, может быть, прохин-

дей, а может, даже и наглец... У К.М. Станюковича в повести «Грозный адмирал» читаем:

«— ...По трактирам да по театрам... Папироски, вино, карты, бильярд... По уши в долгу... Пришел этот брандахлыст в трактир, гроша нет, а он: “Шампанского!”».

Но даже такой, казалось бы, достаточный контекст не очень-то позволяет сузить, конкретизировать значение слова *брандахлыст*. И подобных выражений (главным образом негативно оценивающих человека) масса, ср.: *хмырь, хрыч, хлюст, хлыщ, жлоб, задрыга, ханыга, прощелыга, мымра, фря, фурия, трупёрда, кулёма, тетёха* и т.п. Обратим, кстати, внимание на то, как выразительна у этих слов звуковая оболочка: она полна шипящих, «рычащих» и «хрипящих» звуков: *ш, ч, щ, ж, р, х...* Получается, что фонетическая выразительность (формальная яркость) как бы уравновешивает, компенсирует смысловую расплывчатость, размытость этих оценочных слов.

Говоря о возможностях расширения содержательной стороны языкового знака, не забудем о том, что многие слова на вполне «законном» основании имеют в языке несколько значений, иногда довольно далеких друг от друга. Скажем, слово *зеленый* в своем прямом значении означает «цвет листы, зелени», а в переносном — «молодой, незрелый, неопытный». Определение *полный* применительно к ведру или бутылке означает «наполненный», а по отношению к человеку — «толстый»... Кроме того, для языка совершенно естественны случаи, когда заведомо разные слова просто совпадают по своей форме. Таковы, например, в русском языке *ключ* — «источник» и *ключ* — «инструмент для открывания», *брак* — «супружество» и *брак* — «некачественная продукция» и т.п. Со школьной скамьи мы знаем: это омонимы. Омонимы редко когда бывают истинной причиной коммуникативных недоразумений — обычно они принадлежат к разным тематическим сферам, и потому люди их не путают. Но зато уж где омонимы (и многозначные слова) чувствуют себя в своей стихии, как рыба в воде, так это в языковой игре. Пожалуй, самая распространенная разновидность языковых шуток, острот, розыгрышей

основана на столкновении в одном контексте формально одинаковых, но по существу разных слов (или же разных значений одного слова). Такая фигура речи, а по сути — вид языковой игры, называется каламбуром. Классический образец каламбура — фраза из письма А.С. Пушкина: «Взять жену без состояния я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок я не в состоянии».

А теперь покажем, как те же принципы каламбура реализуются в самом популярном сегодня жанре городского фольклора — анекдоте. Несколько сравнительно свежих примеров.

«В армейской столовой.
— Товарищ старшина, мясо положено?
— Положено, так ешь!
— Так ведь не положено.
— А если не положено, тогда не ешь!..»

Другой анекдот.

«Разговор на рынке:
— Смотри-ка, вон налоговый инспектор идет!
— А как его зовут?
— Его не зовут, он обычно сам приходит».

Третий анекдот.

«Опять на рынке:
— Сколько стоит лимон?
— Штука.
— ?! Я спрашиваю, сколько стоит одна штука лимонов!
— Лимон.
— ?!»

(Чтобы понять соль последнего анекдота, нужно знать, что на жаргоне слово *штука* означает «тысяча», а *лимон* — «миллион». Цены же в России на конец 1997 г., когда был в ходу этот анекдот, были соответствующие: лимон стоил около тысячи рублей.)

В основе всех приведенных анекдотических ситуаций лежит эффект психологической неожиданности: слушающий восприни-

мает некоторую форму в одном значении, а говорящий связывает ее совсем с другим смыслом. Недоумение, порожденное непониманием, сменяется радостью узнавания: ах, вот оно что! — на этом, собственно, и держится весь анекдот.

На подобных — каламбурных — принципах основываются целые подборки анекдотов, например про неувядающего Штирлица. С лингвистической точки зрения они весьма знаменательны, хотя, надо признать, довольно однообразны.

«Штирлиц стрелял вслепую. Слепая, наконец, упала».

«Штирлиц подошел к Мюллеру и выстрелил в упор. Сначала упал Мюллер, потом — упор».

«Из окна дуло. Штирлиц подошел к окну и закрыл его. Дуло исчезло».

«Гестаповцы ставили диван на попа. “Бедный пастор!” — подумал Штирлиц».

«Гуляя по лесу, Штирлиц напоролся на сук. “А шли бы вы домой, девочки!” — сказал Штирлиц».

«Встретив гестаповцев, Штирлиц выхватил шапку и закричал: “Порублю!” Гестаповцы скинулись по рублю и убежали».

Описываемый нами речевой феномен — когда за одной языковой формой, за одним планом выражения обнаруживаются принципиально разные значения — широко представлен не только в анекдотах, но и в иных фольклорных и литературных жанрах: эпиграммах, баснях, шуточных стихотворениях и т.п. Вот, в частности, какое изящное четверостишие приписывается Г. Варшавскому:

«Ах, есть у Маши настроение —
Постигнуть машиностроение.
Ах, есть у Саши настроение —
Постигнуть Машино строение».

У поэта Якова Козловского есть целая книга стихотворений, основанных на словах-созвучиях; она называется «Созвездие близнецов». Приведем отсюда несколько примеров.

«Живет кума — новостей сума,
Послушаешь — можно сойти с ума.
Кум, неспособный прибегнуть к уму,
Цитирует шепотом эту куму».

«Свидание назначив Кате, ты
Забудь про синусы и катеты.
Начни в теплынь и в пору снежности
Не с математики, а с нежности».

«Солнце еще облаков не задело,
Трава на лугу еще росы пила,
А плотник проснулся и взялся за дело:
Слышится, как зазвенела пила».

«Хороша у Алены коса,
И трава на лугу ей по косу.
Скоро лугом пройдет коса:
Приближается время к покосу».

Нетрудно заметить, что в большинстве случаев здесь омонимия возникает как бы при разложении некоторого слова на части (*с-ума, кате-ты* и т.п.), которые сами «могли бы быть» словами, а точнее, формально совпадают с другими, действительно существующими словами.

Еще один пример — отрывок из пародии Александра Иванова на поэта Александра Еременко, она называется «Электронные стихи»:

«Способен осознать все это
Лишь тот, кому известен код.
Вот перфокарта на поэта:
Он — трансформатор. И диод».

В заключительном сочетании слов — *и диод* — нам явно слышится «идиот». Пародия получилась обидная...

Тот же прием «разложения слова» лежит в основе особой языковой игры, которая получила название «Почему не говорят?». Игра эта родилась в среде филологов (в качестве ее «родителей»

называют Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, С.М. Бонди) и сегодня у них же пользуется большой популярностью. Суть ее в том, что надо отгадать «зашифрованное» по частям слово. К примеру, на вопрос «Почему не говорят “мышь зимы”?» следует ответ «Потому что говорят: “кот лета” (зашифровано слово *котлета*). Еще примеры:

Почему не говорят «толчи, лектор»? — Потому что говорят «мели, оратор» (*мелиоратор*).

Почему не говорят «пылай, плащ»? — Потому что говорят «гори, зонт» (*горизонт*).

Почему не говорят «фи, миллиард!»? — Потому что говорят «ха, миллион!» (*хамелеон*).

Почему не говорят «кофе конец»? — Потому что говорят «чай хана» (*чайхана*).

При этом созвучие, совпадение слова с суммой его формальных «частей» не обязательно должно быть точным, достаточно и приблизительного.

Почему не говорят «чеши, ворона»? — Потому что говорят «шпарь, галка» (*шпаргалка*).

Почему не говорят «сеяла Швеция»? — Потому что говорят «пахала Дания» (*похолодание*).

Как следует из приведенных примеров, материалом для игры служит звуковая оболочка слова, т.е. то, как оно произносится (а не то, как оно пишется). Впрочем, бывает, что играющие обращают внимание на письменную форму слова — тогда разлагается его буквенный состав.

Почему не говорят «красна чья рожа»? — Потому что говорят «ал кого лик» (*алкоголик*).

Иногда такие шутки-загадки (как в последнем случае) отличаются неожиданной сложностью и изяществом, вызывают какие-то дополнительные ассоциации.

Еще примеры.

Почему не говорят «суп рук»? — Потому что говорят «щи ног» (*щенок*).

Почему не говорят «увы, блестяща»? — Потому что говорят «ах, матова» (*Ахматова*).

Почему не говорят «Тань, второе дай!»? — Потому что говорят «Жень, щи на!» (*женщина*).

Почему не говорят «ах, лес! ах, сумрак!»? — Потому что говорят «о бор! о тень!» (*оборотень*).

Особое озорство заключается в разложении научных терминов — слов, которые, казалось бы, по самой своей природе бесконечно далеки от любой игры.

Почему не говорят: «Ага, лгал Мопассану ты!»? — Потому что говорят: «Не врал Ги я» (*невралгия*; *Ги* — имя Мопассана).

Почему не говорят: «Реал — Иштван, а он?» — Потому что говорят: «Интер — Ференц, и я» (*интерференция*; «*Реал*», «*Интер*» — известные футбольные клубы, *Иштван* и *Ференц* — венгерские имена).

Почему не говорят «петуха холера»? — Потому что говорят «индюка тиф» (*индикатив*, т.е. изъявительное наклонение).

Почему не говорят «коров артериальный мор»? — Потому что говорят «коз венный падеж» (*косвенный падеж*).

А вот еще вариант усложнения игры: обмен загадками превращается в целый диалог. Преамбула: Александр занял у Марии денег. Итак, почему не говорят «вернисаж» («Верни, Саш!»)? — Потому что говорят «глухомань» («Глухо, Мань!»).

Игра «Почему не говорят?» имеет и серьезный научный аспект — она не зря интересуется лингвистов (в частности, ей посвящено исследование Е.В. Красильниковой). Дело в том, что в ходе разложения слова на части играющий должен подыскать этим частям наиболее близкие по смыслу слова. Чаще всего это, как мы видели, синонимы (*врать* — *лгать* и т.п.), антонимы (*блестящий* — *матовый* и т.п.), слова близкой тематики (*плащ* — *зонт*, *сеять* — *пахать* и т.п.). Это — наиболее устойчивые соседи, партнеры слова в сознании человека. Тем самым играющий (в меру своих возможностей) подвергает анализу словарный состав, нащупывает в нем основные, системообразующие связи.

Другой вид языковой игры, основанный на тех же принципах, это разгадывание «зашифрованных» словосочетаний и целых выражений. Для филолога здесь важно то, что при расшиф-

ровке опять-таки выявляются ближайшие, наиболее устойчивые партнеры слова в лексической системе — на этом и строится игра. Примеры:

Нос да умник (Губа не дура).

Слово дилетанта пугает (Дело мастера боится).

Речь от Москвы удалит (Язык до Киева доведет).

Эники-беники, стояли матросы (Аты-баты, шли солдаты).

Война, тунядство, ноябрь (Мир, труд, май).

Ай, кастетик, ойкнем! (Эх, дубинушка, ухнем!)

Сытость — дядька, булочку отнимет (Голод не тетка, пирожка не подаст).

Вам стон громить и умирать мешает (Нам песня строить и жить помогает).

Лунный квадрат, море внутри — то фотография деда (Солнечный круг, небо вокруг — это рисунок мальчишки).

С «Комсомольской правдой» засунешь и птичку в лужу (Без труда не вытащишь и рыбку из пруда).

Вариант этой забавы, в свое время нашедший себе место на страницах «Комсомольской правды», — «перевод» пословиц и поговорок с родного языка на иностранный:

Не по Хуану сомбреро (Не по Сеньке шапка).

Леди с дилижанса — пони легче (Баба с возу — кобыле легче).

Цент доллар экономит (Копейка рубль бережет).

Каждый фламинго свой оазис лоббирует (Всяк кулик свое болото хвалит).

Сафре — темпо, фиесте — моменто (Делу время, потехе час).

Еще один вариант игры — переложение пословиц или поговорок на «научный» язык. Впрочем, как мы сможем сейчас убедиться на примере шуточных толкований А. Черника, это действительно — без кавычек — особый язык. Например, что вот это такое?

В присутствии зрительской аудитории летальный исход приобретает положительный эстетический момент (На миру и смерть красна).

Порция, равная приблизительно двадцати граммам продукта полукочкования твердых топлив, приводит в состояние непригодности к использованию деревянную емкость с продуктом переработки цветочной пыльцы представителем перепончатокрылых насекомых (Ложка дегтя портит бочку меда).

Представители малоимущего класса склонны к проявлению нестандартного мышления (Голь на выдумки хитра).

Индивидуумы с пониженным интеллектом не руководствуются в своих действиях существующими законодательными актами (Дуракам закон не писан).

Полное завершение жизненного цикла человеческого индивидуума не идентично пересечению участка вспаханной земли с помощью нижних конечностей (Жизнь прожить — не поле перейти).

При посещении одного из пунктов постлетального маршрута следует уступать дорогу кровному родственнику старшего поколения (По перек батьки в пекло не лезь).

Но если можно перевести текст с «научного» языка на «язык родных осин», то почему бы нельзя и наоборот? Тоже можно. Например, «забавы ради» изложить серьезный ученый трактат средствами блатного жаргона. Вот как это сделал известный историк и этнограф Л.Н. Гумилев в своей «Истории отпадения Нидерландов от Испании» (приведем только начальный фрагмент этого текста, по С. Снегову).

«В 1565 году по всей Голландии пошла параша, что папа — антихрист. Голландцы начали шипеть на папу и раскурочивать монастыри. Римская курия, обиженная за пахана, подначила испанское правительство. Испанцы стали качать права — нахально тащили голландцев на исповедь. Отказчиков сажали в кандей на трехсотку, отрицаловку пускали налево. По всей стране пошли шмоны и стук. Спешно стряпали липу. Граф Эгмонт на пару с графом Горном попали в непонятное. Их по запарке замели, пришили дело и дали вышку.

Тогда работяга Вильгельм Оранский поднял в стране шухер. Его поддержали гезы. Мадридская малина послала своим наместником герцога Альбу. Альба был тот герцог! Когда он прихилил в Нидерланды, голландцам пришла хана. Альба распатронил Лейден, главный голландский шалман. Остатки гезов кантовались в море, а Вильгельм Оранский припух в своей зоне. Альба был правильный полководец. Солдаты его гужевались от пуза, в обозе шло тридцать тысяч шалашовок...»

Попробуйте-ка перевести эту «феню» на общепонятный язык! Кстати, такие искусственные переводы на другой язык или стиль не всегда преследуют чисто развлекательную цель: лишь бы читателям или слушателям было смешно. Иногда они делаются в учебных, тренировочных целях (хотя, конечно, элемент шутки и здесь присутствует). Существуют, например, переложения общеизвестных сюжетов — вроде «Робинзона Крузо» — на мертвые древние языки. Вот как выглядит начало истории о приключениях знаменитого мореплавателя в переводе на старославянский (литературный язык древних славян в IX—XI вв.). Шутливый этот перевод принадлежит немецкому слависту профессору В. Лефельдту.

Робинсонъ мьныи

Живѣаше иногда въ Хамбоурѣ мжжъ нѣктын, кмоу же бѣ има Робинсонъ. Тѣ имѣаше три сынты, нхъ же старѣи, воинъ сы, оубиенъ въстѣ въ брани кже съ галлы.

Дроугын же, нже троуждааше сѧ въ словеси и въ оучении, неопаснѣ испивъ воды стоудены и о семь сѣло оустоуждъ сѧ, приять трасавицѧ съ огнемъ жьгжыемъ и въскорѣ на коньчинѧ смъртъи прииде.

Юже ролителкѧ оста тѣкѣмо мьныи сынъ, кмоу же бѣ има — не вѣмъ по чѣто — Кроузо. Къ томоу всѧж своѧ надеждѧ имѣашете, бѣ во има кдинтын отрокъ. Люблѧшете и паче очию своию, нѣ любты кю несѣсмѣсльна бѣ.

Это значит:

«Жил некогда в Гамбурге один человек по имени Робинзон. У него было три сына. Старший из них, воин, погиб в сражении с галлами.

Второй же сын, имевший способности к литературе и наукам, неосторожно напился холодной воды и от этого сильно простудился. У него началась лихорадка, и вскоре он умер. Так у родителей остался только младший сын, которого звали — не знаю, почему — Крузо. На него они возлагали все свои надежды, ибо он у них был один. Они его берегли пуще глаза, но любовь эта была неосознанной».

Но здесь мы уже вступаем в область многочисленных и чрезвычайно многообразных попыток изложить некоторый текст средствами иного языка или стиля.

И при всей их занимательности и, возможно, остроумности, для нас они менее интересны, потому что говорящий (по существу — играющий) уже не придерживается здесь так строго оригинала, как в описанных ранее случаях; тут он отступает от принципа эквивалентности или однозначного соответствия одного слова (предложения) другому. Смеховой эффект («лишь бы было забавно») заслоняет собой смысловую точность. И тем не менее нельзя не упомянуть в данной главе еще о так называемых макаронических переводах, когда оригинальный текст безжалостно коверкается в угоду другому языку; впрочем, и этому другому языку тоже достается! У озорства такого рода нет ничего святого! Вот один из характерных примеров (к которому, вместе со своими друзьями, в малоблагоразумные студенческие годы приложил руку и автор): перевод на белорусский язык вступления к поэме А. Пушкина «Руслан и Людмила»:

Ў Цыбулямора — дуб зялёны.
Чэп залатая там бляшчыць.
І ў дзень, і ў ноч кашак вучоны
Ў круг дуба шпарка так бяжыць.
Калі ён з правай — дык спявае,
Як з левай — байку гаманіць.
Дзівачкі ёсць: ляшак гуляе
І дзеўка з хвосцікам сядзіць.
На патаёных там шасейках
Якісь звяруга насядзіў.
Халупа на цыплячых шэйках
Мармочыць, як лакамаціў.
Галюцынацый шмат ў прыродзе:
Там хвалі ў хуткім хараводзе
На бераг чысценькі пляснучь —
Хлапцоў ватаг чарадою
І дзядзька з доўгай барадою,
Ўзапрэўши, па пяску ідуць...

У Лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На берег мрачный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;

Перевод, естественно, должен соответствовать оригиналу. В то же время макаронический перевод, в силу своего игрового, шутейного характера, должен от оригинала и отталкиваться. Но

вот, например, редкое русское слово *лукоморье* (наверное, кроме пушкинских стихов, читатель его нигде и не встречал). Как перевести его на белорусский язык? Может быть, разложить на части? *Лук* по-белорусски «цыбуля», *море* — «мора», вот и получается «цыбулямора»... Слово *кот* переведем как «кашак» (по аналогии с *лошак*, что ли), *ученый*, естественно, — «вучоны» (вспомним детскую прибаутку «вумный как вутка» — в белорусском действительно к начальному «у» или «о» в словах прибавляется «в»). Звук «р» в белорусском языке всегда твердый? Значит, будет «мора», «прама», «звяруга»... Русалку переведем как «дзеўка з хвосцікам», ну а избушку на курьих ножках — как «халупу на цыплячых шэйках» (это уже, конечно, чистейшее хулиганство!). Народного колориту добавят «байка», «дзядзька», «хлопцы» и тому подобное.

Вообще же, макаронический стиль — насыщение текста иноязычными словами или подгонка слов родного языка «под иностранные» — давняя традиция, богато представленная в русской литературе. Многие персонажи Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, И.П. Мятлева, других русских писателей говорят на смеси разных языков. Вот, например, какое стихотворение посвятил поэт И.П. Мятлев М.Ю. Лермонтову от лица своей вымышленной героини, мадам Курдюковой:

«Мосье Лермонтов, вы пеночка,
Птичка певчая, времан!
Ту во вер сон си шарман,
Что они по мне как пеночка
Нон де крем, ме де Креман.
Так полны они эр фиксом
Де дусер и де бон гу,
Что с душевным только книксом
Вспоминать о них могу».

Но если в XVIII—XIX веках русский язык более всего «страдал» от немецкого и французского, то сегодня основной его соперник, конечно, английский. Множество лексических американизмов вторгается во все сферы нашей жизни — и это находит свое отражение в новых макаронических текстах. Приведем в

качестве иллюстрации отрывки из пародийной юморески В. Егорова «Ту би ор нот ту би».

«— Хэлло, — сказала она и достала “лаки-страйк”.
— Хэлло, бэби, — я щелкнул лайтером “ронсон”.

В баре висел смог, как над картинговым треком. Эркондишн, как всегда, не фурыкал. Да и вообще бал был не тип-топ — какой-то поп-артистский по дизайну...

Биг-бит-бэнд свинговал “Кам бэк ту Вирджиния”, любимую тему эпохи “бебопа”. Тинэйджеры в джерси, джемперах, блейзерах и блуджинсах “Ли”, “Левайз”, “Рэнглер” потягивали хайболлы, джусы и оранджусы, уминали хотдоги, совмещая ланч с файвоклоком...»

И далее вся юмореска выдержана в том же духе. Ясно, что автор, перенасыщая свой текст заимствованиями, хочет как бы призвать: «Давайте говорить по-русски!» — и, пожалуй, добивается определенного психологического эффекта. Но к теме иноязычных вкраплений и их обыгрывания в литературе мы еще вернемся.

До сих пор, рассуждая о том, как вольно говорящий обращается с языковым знаком, мы сосредоточивали свое внимание на преобразованиях содержательной стороны слова — расширении его значения, поиске ближайших смысловых партнеров и т.п. Но время от времени мы сталкивались и с какими-то формальными превращениями слова. Действительно, ведь преобразованию может подвергаться и вторая сторона языкового знака — его форма, звуковая (или буквенная) оболочка. И языковая игра довольно часто и состоит в изменении, искажении, «порче» этой оболочки.

Простейший пример забавы такого рода — фонетическое балагурство. Попросту говоря, человек «кривляется», употребляет слово в заведомо неправильной форме. Допустим, вместо *хочу чаю* говорит (или даже пишет!) «хоцу цаю», вместо *один* — «адын» («савсэмадын!»), вместо *бумажка* — «бамажка», вместо *еще* — «ышшо», вместо *понял* — «понял», вместо *детям* — *мороженое* — «дитя́м — мороженое» и т.п. Такие деформации, в общем-то, довольно частое явление, только мы редко останавливаем на них свое внимание.

И не всегда, кстати, они так уж «бессмысленны»: иногда за подобным балагурством просматривается дополнительная смыс-

ловая нагрузка, какой-то намек или ассоциация. Скажем, «грузинский» акцент у варианта «адын» — это напоминание об одном анекдоте; такого же происхождения, возможно, «китайский» акцент у «хоцу цаю». В свою очередь, «дитям — мороженое» — неявная цитата из кинофильма «Бриллиантовая рука»... А возможно, также фонетическое кривлянье — это своего рода цитирование, воспроизведение особенностей речи некоего персонажа. Вот Владимир Высоцкий в песне «Охота на волков» отчетливо поет: «И остались ни с чем ягеря...» Почему «ягеря»? Может быть, это речевой портрет самих егерей, может быть, это они так говорят? Или другой пример: в книге М. Слонима «Три любви Достоевского» так описывается отношение писателя к его будущей жене: «Во время короткого жениховства оба были очень довольны друг другом. Достоевский каждый вечер приезжал к невесте, привозил ей конфеты, рассказывал о своей работе...» Почему вдруг «конфеты», а не обычное «конфеты»? Это что, скрытое цитирование какого-то из персонажей (быть может, самого Достоевского?) или же вообще стилизация «под старину»? Третий пример. Современный герой, прекрасно знающий, как надо сказать, тем не менее выбирает иной, неправильный, вариант: он просто-напросто копирует, передразнивает своего собеседника:

« — Ждрите, — резко проговорила она. — А вы почему не ждрете? — неожиданно обратилась она ко мне.
— Я ждру!» (В. Попов. «Соседи»).

Но даже если дополнительного смысла в фонетическом балагурстве отыскать не удастся, оно все равно выполняет важную функцию наведения психологических «мостов» между говорящим и слушающим: это примета неофициальности, интимности, «свойскости» общения.

Искажения формальной стороны слова многообразны: они охватывают смещение ударения, вставку, выпадение и замену звуков... На этом фоне довольно изысканно смотрится такой прием, как разрыв слова. Примером может служить эпиграмма Валентина Гафта на его коллегу Зиновия Гердта:

«О, необыкновенный Гердт!
Он сохранил с поры военной
Одну из самых лучших черт:
Колено он непреклонный».

Еще пример — из пародийной поэзии Евг. Сазонова («Поэтлирик»):

«Провожу ли взглядом галку,
Обхожу ли сад,
На бетоно ли мешалку
Свой уставлю взгляд...»

Разрыв слова (не обязательно сложного) и перенесение его части на следующую строку — довольно популярный прием и в серьезных поэтических текстах. Вот несколько образчиков такой языковой игры:

«Грел обвалом на бегу
гром.
Проступал икрою гуд-
рон.
Завивался путь в дугу,
вбок.
Два рефлектора и гу-
док»

(С. Кирсанов. «Дорога по радуге»).

«У молодости на заре
Стихом владели мы искусно,
Поскольку были мы за ре-
волюционное искусство»

(Н. Глазков. «Поэтоград»).

«Там кричат и смеются,
Там играют в лапту,
Там и песни поются,
Долетая отту...

Да! За хълмами теми
Среди гладких полян
Там живут мои тени
Среди гладких полян»
(Д. Самойлов. «Голоса за холмами»).

«Мы не выпили ни капли,
мы еще и не разлили,
мы в тот день на пьянку напле-
вали и с утра не пили»
(С. Юрский. «Праздничный вечер»).

А вот еще более смелый прием: рифма обрывается на полуслове, предоставляя читателю возможность самому домысливать окончание слова. Стихотворение Николаса Гильена «Уругвайским друзьям» (перевод С. Гончаренко) целиком основано на такой игре. Приведем только его начало.

«Ах, нигде не перепамне
подобного прести-
Ах, спасибо за испач-
что судьбу мне освети-
Покидая Уругва-
я дотла сгораю в пла-
хоть подушку и крова-
я слезами устила-
Говорю я всем вокруг
что на свете нет симпа-
и надежнее, чем дру-
из испытанной компа-...»

Впрочем, данный прием — «намеки на слово» — используется и в прозаических текстах. Так, у Аркадия Аверченко есть юмористический рассказ «Неизлечимые», в котором настырный писатель Кукушкин пытается всучить издателю свои творения, сплошь состоящие из пассажей типа:

«...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...»

Это «и все заверте...» повторяется в тексте многократно — читатель действительно без труда представляет себе и окончание слова, и дальнейшее развитие сюжета.

А в пьесе Евгения Шварца «Тень» один персонаж (министр финансов) только так и разговаривает: «— Здоровье? — Отвратительно. — Дела? — Очень плохо». То ли он экономит речевую энергию, то ли просто привык, чтобы его понимали с полуслова: «Да, мне доклада. Совсем мне это не нравиться. Надо его или ку, или у». Для читателя или зрителя это, конечно, дополнительная умственная нагрузка — вроде шарады или ребуса, — но он с удовольствием включается в эту игру: угадывая по части — целое, он получает эстетическое удовольствие...

Еще одна возможность искажения оболочки слова — перестановка в нем звуков или букв. Конечно, иногда такая мена осуществляется неосознанно, просто-напросто по причине недостаточной грамотности человека, и тогда ее нельзя считать игрой — как в следующих случаях:

«— Чего вы паясничаете тут? — разъяренно спросила она. — Кочервяжьтесь, пожалуйста, перед теми, кому это нравится!

...Мне нельзя было взглянуть на Ирену: Вераванна неправильно произнесла слово “кочервяжьтесь”, переместив в нем буквы “р” и “в”, а это грозило нам опасностью “согласованного” смеха» (К. Воробьев. «Вот пришел великан»).

«Им не нужна была моя любовь. Вернее, без меня бы они сдохли, но при этом лично я им мешала. Пародоск! Как говорит Нюра, кости долбящая соседка» (Л. Петрушевская. «Время ночи»).

Но бывает, что перестановка звуков или букв в слове или в соседних словах производится умышленно, с намеком на другие слова, — тогда это прием. Примерами могут служить шуточные лозунги и афоризмы («Юноши и девушки, обалдевайте знаниями», «Вы — умы, а мы — увывы...» и т.п.), выражения типа «колесо оборзения», «нагло-русский словарь», «переходный пешеход», «рахитектурный ансамбль», «домик с массандрой», «апсирант» и т.п. Ср. еще анекдот:

- «Русский звонит в дом грузина.
 — Шалва дома? У меня для него письмо.
 — Шалва нэт.
 — А Гоги есть? Он передаст.
 — Сам ты передаст. И вся твоя семья передасты!»

Как мы видим, от чисто формального речевого балагурства — один шаг до игры смысловой, когда на слово наводятся дополнительные смысловые ассоциации, за ним как бы встает другое слово, со своим значением...

Вот известный персонаж Аркадия Райкина, строитель-сантехник, произносит: «кроксворд», «регбус», «промблема», «вигзит»... Все это обычное искажение, «порча» звуковой оболочки слова. Но у того же персонажа в речи встречаются еще и «бутылброд», «качество», «догвинтить» — и это уже не спишешь на простое фонетическое «кривлянье». «Бутылброд» — это забавная помесь слов «бутылка» и «бутерброд» (ныне довольно широко известная), в слове «качество» удачно «оживляется» часть «как», а в «догвинтить» можно усмотреть намек на украинское происхождение говорящего: «винт» по-украински как раз «гвинт»...

Эти примеры позволяют нам перейти к очередному виду языковой игры, объединяющему варьирование формы и — одновременно — значения слова. На практике это значит, что два разных слова «объединяются», складываются в одно. Так возникают «слова-чемоданы», «слова-слитки», «слова-гибриды». Большим мастером подобных образований был уже упоминавшийся английский писатель и ученый Льюис Кэрролл, и в лучших переводах на русский язык его сказок про Алису эта особенность сохранена. Например, в переводе Д.Г. Орловской встречаются такие слова: *Бармаглот* (ср. *Бармалей* и *глотать, живоглот*), *глуцуба* (ср. *чацуба* и *глушь, глухой*), *хрюкотать* (ср. *хрюкать* и *бормотать, стрекотать* и т.п.), *злопастный* (ср. *злобный, зловредный и пасть*), *хливкий* (ср. *хлипкий* и *ловкий*) и др.

Не подлежит сомнению, что данная игра своими корнями уходит глубоко в народное языковое сознание, в том числе и русское. Многие гибридные образования уже давно вошли в речевой обиход носителей русского языка: *стрекозел, иносранец, интертрепация,*

хруцуба, тот же бутылброд... Другие «слова-гибриды» возникли сравнительно недавно, но со временем становятся для нас привычными: *дерьмократы, прихватизация, нашизм...* Третьи в огромном разнообразии появляются в текстах с расчетом на разовый комический эффект: *видеокляп, дискутека, опупея, харикиристика, хулигангстер, баобабочка, фигвам, крадукты, мэрин, дымочады, эшафотогеничный, обманное бюро, общежутие, грудолобивый, кабернетика, журнал морд, травительство, бильярддер, эстрадания, жаровары, свиная душонка, умеренность в завтрашнем дне* и т.д., и т.п. Естественно, создавались и создаются такие слова и писателями-юмористами. Например, мы находим их у И. Ильфа (*грезидиум, выдвигенщина*), Э. Кроткого (*скатерть-саморванка, мужеловка*), К. Мелихана (*пьянварь, минералиссимус*) и др. В 1980-е годы ленинградский писатель Д. Аль вел в «Литературной газете» специальную юмористическую рубрику «Опечатки пальцев». Вот несколько примеров оттуда: *рекордный надуй, морально устройчив, с подлинным скверно, примат-доцент, вычистительная техника, скоропрестижно скончался, принцип наибольшего благопрепятствования, с места в карьеру* и т.п.

В основе таких комических переделок лежит вполне объективное и случайное сходство разных слов — например, *эпопея* и *опупеть, характеристика* и *харикири, минерал* и *генералиссимус, престижно* и *скоропостижно* и т.п. А что увидит за этим сходством юморист и как воспримет соответствующие гибриды-новообразования читатель — зависит от обоснованности (оправданности) ассоциативных связей и глубины эстетического удовольствия; это, собственно, и есть сфера языковой игры.

Если таким образом могут «складываться» отдельные слова, то вряд ли что-то может помешать объединению устойчивых словосочетаний, или фразеологизмов. И действительно, в результате смешения (по-научному, контаминации) отдельных устойчивых выражений на свет появляются речевые гибриды вроде следующих:

Не плюй в колодец: вылетит — не поймашь.
 Как корова ветром сдула.

Куй железо, не отходя от кассы.
Взялся за гуж — полезай в кузов.
Молчать как рыба об лед.
Одна голова хорошо, а два сапога — пара.
И баба с возу, и волки сыты.
Лучше поздно, чем никому.
За двумя зайцами погонишься — не вытащишь и рыбки из пруда.
У вас еще лапша на ушах не обсохла.
Береги честь смолоду, коли рожа крива.
Сделал дело — кобыле легче.
Голод не тетка, глаза не выест.
С волками жить — в лес не ходить.
Яйца от курицы недалеко падают.

Разумеется, такие «кентавры» возникают опять-таки в развлекательных, юмористических целях. Но, как и в других видах языковой игры, правила их образования представляют собой интерес для лингвистов. «Гибридизация» оказывается наиболее удачной, если сохраняется некоторая схема построения исходных фразеологизмов: их синтаксическое строение, ритмическая структура и т.п. Вообще же говоря, перед нами частный случай более общего феномена: разрушения (преобразования, обновления) фразеологизма. Этот процесс подобен процессу искажения слова: и там и там разрушается некоторая устойчивая единица, языковой знак. Поэтому носитель языка воспринимает такую единицу со смешанным чувством: здесь и эффект обманутого ожидания, и радость понимания. Разрушение фразеологизма — многообразный и популярный речевой прием. Его можно продемонстрировать на следующих цитатах:

«Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстяк смотрел на нового художника лучезарным взглядом» (И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев»).

«И мы приезжаем в заповедный уголок, куда еще не ступала нога человека, а только моя и Сидорова» (М. Мишин. «Серое вещество»).

«Никитин стоял и слушал гудки, еще не понимая, но предчувствуя, что случилось счастье» (В. Токарева. «Сто грамм для храбрости»).

«Сквозь наверхушную на лицо улыбку Егор прочитал телеграмму...» (Е. Шатко. «Выдержанный Егор»).

В первом из приведенных примеров самодостаточное и устойчивое выражение *гора свалилась с плеч* получает в тексте неожиданное уточнение: *большая и тяжелая*. Аналогичным образом во втором примере разрушается фразеологизм *где не ступала нога человека* — к нему добавляется продолжение: *а только моя и Сидорова*. В третьей цитате вместо привычного словосочетания *случилось несчастье* мы сталкиваемся с необычным *случилось счастье*. Подобное новообразование и в четвертой цитате. Обычно говорят: *на глаза навернулись слезы*; здесь же мы читаем про *наверхушную на лицо улыбку...* Во всех этих случаях нарушение привычной сочетаемости слов приводит к «оживлению» фразеологизма: его элементы как бы вспоминают о том, что у них есть и свое собственное, буквальное значение. Игра, таким образом, сводится к противопоставлению целой языковой единицы и ее части.

Вернемся теперь к нашим «словам-чемоданам». Казалось бы, выделение внутри слова другого слова может происходить без всяких формальных искажений. Однако это только так кажется, потому что вместо одной языковой единицы перед нами оказывается несколько; форма (так же как и значение) раздваивается, расщепляется. С такой речевой забавой мы сталкиваемся, например, в книге А. Милна «Винни-Пух и все-все-все». Там медвежонок ломает свою набитую опилками голову над такими, в частности, загадками:

«Возьмем это самое слово *опять*.
Зачем мы его произносим,
Когда мы свободно могли бы сказать
“*О шесть*”, и “о семь”, и “о восемь”?»

«Молчит *этажерка*, молчит и *тахта* —
У них не добьешься ответа,
Зачем это *хта* — обязательно *та*,
А *жерка*, как правило, *эта!*» (пер. Б. Заходера).

И эта игра хорошо знакома носителям русского языка. У Н. Тэффи, известной писательницы начала XX века, есть рассказ

«Взамен политики», в котором повествуется, как добропорядочная семья мало-помалу втягивается в азартную затею, предложенную сыном-третьеклассником. Это составление шуточных загадок типа «Отчего гимн-азия, а не гимн-африка?»

«Отчего бело-курый, а не черно-петухатый?»

«Отчего пан-талоны, а не хам-купоны?»

«Отчего обни-мать, а не обни-отец?»

«Отчего руб-ашка, а не девяносто девять копеек-ашка?»...

Такое разложение слова очень похоже на описанную выше игру «Почему не говорят?» («Почему не говорят *мышь зимы?*») и на каламбуры, в основе которых лежит совпадение слова с формальной суммой его частей (*с-ума* и т.п.). Везде действует единый принцип шарады. Разница, пожалуй, только в том, что в последнем из описанных случаев не требуется, чтобы слово без остатка делилось на «значимые части», достаточно, чтобы только какая-то его часть совпадала с другим словом (*обни-мать* и т.п.).

Для полноты картины напомним о бытующих (главным образом в детской среде) шуточных загадках, основанных на том же принципе шарады.

«Что делал слон, когда пришел Наполеон? — Ел траву» (ключ к разгадке: *на поле он*).

«Когда часовой становится незабудкой? — Когда он становится перед нею» (ключ: *не за будкой*).

«Зачем ходят на балконе? — Чтобы танцевать» (ключ: *на балкони*) и т.п.

Изменения двух сторон слова — плана содержания и плана выражения, — если они происходят одновременно, приводят к образованию нового языкового знака, нового слова. Это дает нам право рассматривать в данной главе и многообразные случаи языковой игры, связанные со словообразованием.

Вообще словообразование, как известно, это создание новых слов из заданных в языке элементов — корней, префиксов, суффиксов — по имеющимся в языке образцам (моделям). И когда мы производим, допустим, от существительного *береза* прилагательное *березовый* или от глагола *читать* существительное *читатель*, то ни о какой игре, конечно, речи не идет. Это вполне нормальная, рутинная и серьезная деятельность. Собственно, носителю языка сравнительно редко приходится создавать таким

образом лексические единицы: как правило, они в готовом виде уже заложены в его памяти. Однако бывают такие речевые ситуации, когда говорящий, а вместе с ним и слушающий втягиваются в словообразовательную игру.

К примеру, в современном русском языке есть многочисленный и хорошо знакомый нам класс существительных, заканчивающихся на *-ка*: *кладовка, публичка, вечерка, анонимка, чрезвычайка, электричка, нержавейка, продленка*... Практически все эти слова образованы на основе словосочетаний: из сочетания *кладовая комната* возникает название *кладовка*, из *вечерняя газета* — *вечерка*, из *группа продленного дня* — *продленка* и т.д. Особенностью же данного словообразовательного класса является его чрезвычайная активность: он постоянно, можно сказать ежеминутно, пополняется новыми словами. Так, в разговорной речи, газетных текстах, художественных произведениях мы можем сегодня встретить существительные *социалка, оборонка, наружка, глобалка, официалка, неучтенка, незавершенка, безысходка, размагнитка, нетленка* и др. Вот две иллюстрации из одного и того же произведения — повести Ю. Полякова «Работа над ошибками».

«— Это правда, что девятый класс написал коллективку в роно? — поинтересовалась Алла».

«...Фронтальную проверку раньше через год обещали, а теперь, извольте кушать, “фронталка” в сентябре будет!»

Причем любопытно, что этим новообразованиями с *-ка* даже не мешают слова-омонимы, уже созданные ранее по той же модели (но, естественно, с другим значением). Так, рядом с *персоналка* «персональное дело» появляется *персоналка* «персональный компьютер», рядом с *публичка* «публичная библиотека» — *публичка* «отчисление за публичное воспроизведение авторских произведений» (в речи артистов), рядом с *зеленка* «дезинфицирующая жидкость зеленого цвета» — *зеленка* «полоса зеленых насаждений» (в речи военных) и т.п. Получается, что каждый раз эти слова как бы создаются заново!

Легкость, доступность этого процесса позволяет говорящему при необходимости и самому создать такое слово, какое-нибудь

трикотажка или *пленарка*. В самой новизне слов на *-ка*, «сиюминутности» их создания уже содержится элемент языковой игры; кроме того, их дополнительная экспрессия объясняется тем, что, приходя на место целого словосочетания, они способствуют компрессии текста, его сжатию.

Другой пример из области русского словообразования. Есть такой весьма объемный класс существительных с суффиксом *-ость/-есть*, обозначающих отвлеченное качество (они образуются от прилагательных и причастий): *ясность, бодрость, выносливость, громкость, хрупкость, холмистость, живучесть, текучесть* и т.п. И вот случается, что говорящий в конкретной ситуации стремится как бы помочь словообразовательной модели расширить ее зону влияния, охватить новые лексические единицы. Он продолжает ряд уже имеющихся слов, результатом чего становятся новообразования вроде *гребучесть* или *ямистость*, ср.:

«Температура и сыпучесть песка... Морские велосипеды в разгар сезона. Гребучесть, скорость хода на обгоне... Крепкость ограждения. Ямистость на асфальте...» (М. Жванецкий. «Ах, лето...»).

Перед нами, конечно, пример игры: образование новых, авторских слов преследует некоторую дополнительную — в данном случае юмористическую — цель; заодно говорящий как бы испытывает словообразовательную модель на прочность: выдержит ли?

Естественно, в ходе подобного словотворчества могут нарушаться какие-то внутриязыковые правила или традиции. Но для игры, как мы не раз уже замечали, это даже хорошо. Рассмотрим еще несколько примеров.

В русском языке имеется несколько десятков существительных на *-ант*, обозначающих лиц: *эмигрант, дуэлянт, комедиант, практикант, лаборант, коммерсант, консультант, диссертант* и др. Заметим, однако, что все они образованы от иностранных корней, собственно, большинство из них так, целиком, и пришло в русский язык из других языков вместе с заимствованным же суффиксом. И вдруг в современной речи мы встречаем новообразования типа *подписант, отъезжант, объявлянт, вручант* и т.д. (все примеры — из газет). В основе данных неологизмов лежит

вроде бы та же самая модель, но заполняется-то она совсем другим строительно-материалом! Все эти слова образованы от своих, русских глаголов. Таким образом, эффект новизны усиливается здесь эффектом нарушения внутренней закономерности.

Другой словообразовательный тип, тоже «иностранного происхождения», — прилагательные с суффиксом *-абель-* (реже *-ибель-*). Они обозначают признак возможности какого-то действия и образуются чаще всего от глаголов (чем напоминают причастия). Нас же в данном случае интересует то, что на фоне уже узаконенных в языке, привычных уху и глазу слов вроде *транспортный* или *коммуникабельный*, сегодня возникает масса новых прилагательных с этим суффиксом: *диссертабельный, операбельный, сочетабельный, совещательный, избирабельный, смотрительный, невыезжабельный, награждабельный, критикабельный*... Иллюстрации из художественной литературы:

«— И запомните, — Туронок встал, кончая разговор, — младенец должен быть публикабельным.

— То есть?

— То есть полноценным. Ничего ущербного, мрачного. Никаких кесаревых сечений. Никаких матерей-одиночек» (С. Довлатов. «Компромисс»);

«В результате гостиная стала не обитабельной, да, впрочем, ею вообще никогда не пользовались» (А. Мердок. «Дитя слова», пер. Т. Кудрявцевой).

И еще две цитаты, из пародийных стихотворений, соответственно М. Владимова и М. Раскатова:

«Стал теперь я не слишком красивым,
но читабельней стал я лицом:
мысли набраны жирным курсивом,
налит взгляд типографским свинцом».

«Хоть я не расставался с книжкой,
Хоть я взбирался на Парнас,
Но целовабельным парнишкой
Считался в области у нас».

Какие-то из этих слов с *-абель-*, возможно, и приживутся в языке, какие-то — их, наверное, большинство — так и останутся «одноразовыми», принадлежащими конкретному тексту. Но ясно, что все они возникли на волне «моды» на данную словообразовательную модель.

Следующий пример. В русском языке есть существительные с суффиксом *-анец/-енец*, обозначающие лиц. Характерно, что многие из них содержат в себе оттенок отрицательной, неодобрительной оценки: *оборванец, приспособленец, голодранец, самозванец, пораженец, вырожденец* и т.п. Но когда по этой модели возникают ныне неологизмы типа *просвещенец, образованец, удивленец, перераспределенец* (все примеры из газет), то игра заключается не только в самом факте создания неологизма, но и в некотором дополнительном оттенке значения. В новых словах можно уловить намек на отрицательную окраску, на сниженную оценку — это языковая «память» о словах типа *оборванец*...

Одно из самых регулярных и распространенных в русском языке словообразовательных значений — это значение уменьшительности (которое часто сопряжено также с «ласкательностью»). Уменьшительные существительные (их называют еще диминутивами) столь многочисленны и столь регулярны в своем образовании, что словари даже не всегда их фиксируют. Носитель языка чувствует это «спинным мозгом». И вот на фоне абсолютно естественных слов типа *столик, самолетик, книжка, минутка, зеркальце, солнышко* в речи появляются и новые образования. Примеры из литературных произведений:

«...На слепнувших глазах творца
Родятся стены цитадели
Иль крошечная крепостца»
(Б. Пастернак. «Высокая болезнь»).

«Дама та сманила
Вас к себе в домок.
Но у той у дамы
Слабый был умок»
(Н. Олейников. «Карась»).

«...Я вижу на этом экране, как открывается лючок в космическом корабле и из него в бесконечность мира выкарабкивается человек в скафандре...» (Л. Успенский. «Записки старого петербуржца»).

«Лампа отчаянно борется с темнотой. Она как маленький стеклянный донкихотик. Разве ей справиться?» (Б. Окуджава. «Новенький как с иголочки»).

«Гена Климук шутил, подмигивал:

— Давайте сколотим свою группку, свою кликочку, свою маленькую уютную бандочку!» (Ю. Трифонов. «Другая жизнь»).

«Посмотри, как жизнь идет —
Встречи разные, разлучки...
Пьяного ведут под ручки...»
(Д. Пригов. «Франц Кафка»).

Регулярность такого словообразования позволяет говорящему — если это необходимо — реконструировать на основе диминутива исходную форму. Обычно это проще простого: от *столик* перейти к *стол*, от *минутка* — к *минута*... Но иногда приходится заниматься и самодеятельностью. Чаще всего это, конечно, происходит в речетворчестве детей. Там словообразовательные отношения почти не знают ограничений, они реализуются с максимальной регулярностью.

Из существительного *кошка* легко получается *коша* («большая кошка»), из *сыроежка* — *сыроега*, из *ложка* — *лога*, из *одуванчик* — *одуван*, из *подушка* — *подуха* (множество подобных примеров приводит Корней Чуковский в книге «От двух до пяти»). Но бывает, что и взрослые играют в эту игру: пытаются восстановить исходное, «неуменьшительное» существительное. А коль скоро его нет, то приходится его создавать искусственно:

«— Сосисы и сардели! — важно сказала подавальщица, маленькая старушка» (В. Попов. «Большая удача»).

«Длинную-длинную рыбу-акулу
Нес один дедушка по переулу» (Д. Сухарев. «Сага-фуга в трех частях»).

Кстати, существительные с уменьшительным значением — хороший повод уточнить: языковая игра в сфере словообразования заключается не только в самом создании новых слов, но и в особенностях их речевого употребления. В частности, иногда говорящий (пишущий) сознательно и до предела насыщает текст словами, созданными по одной словообразовательной модели. У слушающего (читающего) этот прием вызывает соответствующую реакцию отторжения: вроде бы так не говорят, так не должно быть! Ну а если это мотивировано идейным замыслом говорящего, если «нельзя, но очень хочется»? Остается принять данную странность как факт и согласиться на игру. Иллюстрацией нам послужит юмореска С. Цыпина «Сынуля».

«Дорогой сынуля Гошенька!

Седьмой денечек как ты от нас ту-ту в пионерлагерь, и мы так волнуемся — ведь ты впервые без мамуленьки и папуленьки. Будь паинькой, не ковырай в носике пальчиком, мой ручончки, а то ам-ам какую-нибудь бяку — и у тебя заболит животик. Кушай хорошенечко, но не переутомляйся.

Ради бога, не ходи сам на речку — там сплошные водовороты. А главное, не водись с непослушными, невоспитанными детками — они тебя научат разному дурному. Будь здоровенький!»

«Почтенные Гошенькины мамуленька и папуленька!

Спешу обрадовать, что ваш сынуленька пока живехонек и здоровехонек.

Очень шустренький и любознательненький мальчуганчик. В первый же вечерок он закоротил движочек, и мы до сих пор сидим без светика, в результате чего ремонтник обойдется в 352 рублика. А его тяга к природочке — ваш ребеночек разжег в лесочке большой пионерский костерик, от которого сгорели 2,5 га соснячка и силосная башенка, в результате чего нам предъявлен счетик на 3271 руб. 14 коп. Какой баловничок — увел самоходную баржу с арбузиками, причалил в райцентре у рыночка, где пытался спустить их оптом и в розничку, в результате чего нам предъявлен иск на 1624 руб. 72 коп. К тому же он знаточек остроумненьких анекдотиков, от которых краснеет даже наш сторож-лагерник Кузьмич (снабжающий, кстати, по косвенным данным, Гошеньку самогончиком).

Утречком пытался провести с Гошенькой воспитательную беседочку, на что он обещал сделать анонимочку, от которой наш лагеречек не-

пременно прикроют, в результате чего я написал заявленьце об уходе по собствененькому желаньицу на более спокойную работеночку.

С лагерным приветиком — комендантик В. Петров-Заболоцкий.

Послескриптом. Ваше письмишишечко Гошеньке еще не отдал — он топ-топ с динамитиком на прудик глушить рыбулечку».

В сущности, словообразовательная игра всегда рассчитана на поддержку контекста. Слова вроде *вручант* или *целовабельный*, если их вырвать из соответствующего окружения, смотрятся странно. Они кажутся вычурными, искусственными, непонятными или ненужными. Не случайно они так часто берутся в кавычки — это знак того, что говорящий и сам осознает «неправильность» данного слова или во всяком случае его непривычность. Конечно, создание нового слова, как и другие виды языковой игры, может подразумевать разную степень нарушения, или ломки, языковых правил. Одно дело — сказать (или написать) *донкихотик* или *фронталка*: тут от слушающего требуется минимум дополнительных усилий по «расшифровке» новообразования, построенного по массовой, регулярной модели. И другое дело — какая-нибудь *отъеготина* (С. Довлатов) или *отнихнятина* (А. Иванов): и то и другое слово построены по образцу *отсебятина*, но это образования уникальные, штучные, а потому они требуют контекстуальной поддержки, непосредственной отсылки к слову-образцу — и все равно, кстати, понимание еще не гарантируется, ср.:

«— Отсебятины быть не должно.

— Знаете, — говорю, — уж лучше отсебятина, чем отъеготина.

— Как? — спросила женщина.

— Ладно, — говорю, — все будет нормально» (С. Довлатов. «Компромисс»).

Еще пример на затрудненное понимание новообразования — аббревиатуры *мнс* (сегодня, впрочем, уже довольно широко распространенной):

«— Но скажите хоть, кто вы такой, что мы должны места вам в гостинице предоставлять?

— Я мнс! — гордо говорю.

- Майонез? — несколько оживилась.
- Мыныэс! — говорю. — Младший научный сотрудник.
- А-а-а! — с облегчением говорит» (В. Попов. «Жизнь удалась»).

Но даже тогда, когда говорящий располагает, казалось бы, максимальной свободой словообразовательного творчества — при создании слов «из ничего», из искусственных, придуманных им самим элементов, — он все равно должен оставаться в определенных рамках, учитывать какие-то языковые правила. Иначе он просто не достигнет желаемого коммуникативного эффекта. Мы уже могли это наблюдать на приводившихся ранее экземплярах вроде *глокая куздра* или *путьки бятые*. Приведем теперь примеры из художественных текстов.

«— Эх! — вскрикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель, и баба с воем убежала в подворотню» (Д. Хармс. «Начало очень хорошего летнего дня»).

«Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл умклайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала...» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. «Понедельник начинается в субботу»).

«Могучие полотна Художника изображали Заведующего на передовой, Заведующего у блямбинга, Заведующего на крысоферме...» (А. Зиновьев. «Зияющие высоты»).

«И самое глубокое впечатление произвело на него последнее полученное телепатическим путем известие — о том, что некоторые гологвайцы хотят уничтожить дрокусы» (М. Мишин. Заботы Сергея Антоновича).

«Не накопил на самолет —
покупай розивелет!
Лети в Париж, разинув рот,
мой розовый розивелет!
Когда инфаркт произойдет,
налей в стакан розивелет.
Переключишь розивелет —
в правительстве переворот...»

(А. Вознесенский. «Розивелет»).

Приведенные цитаты включают в свой состав слова, которых нет в русском языке: *тепель-тапель*, *умклайдет*, *блямбинг*, *гологвайец*, *дрокус*, *розивелет*. Слова эти созданы фантазией авторов в специальных целях: развлекательных, экспериментальных и др. (*розивелет*, например, — это *телевизор* наоборот, справа налево). Читатель, впрочем, может и не заметить искусственности, «ненастоящести» данных образований. Он, вполне возможно, воспримет их так, как обычно воспринимает не совсем знакомые ему слова (это полностью соответствует нашему представлению о значении слова как некотором «иксе»). К примеру, он может решить, что *блямбинг* — это какой-то механизм или устройство (ср. похожие названия в русском языке: *блюминг*, *крекинг*, *слябинг*, *тюбинг*), а *дрокусы* — какие-то растения (ср. *крокусы*, *фикусы* и т.п.). То есть он может и не включиться в игру. Зато уж если читатель отдает себе отчет в том, что слово специально придумано автором для данного текста, то он понимает тем самым, что автор доверяет ему, делает его участником негласного соглашения («в конце концов, не все ли равно, реальное это слово или придуманное?»). Читатель становится как бы соавтором предложенной языковой игры...

Таким образом, употребление слова в тексте или, лучше сказать, его речевая «жизнь», предоставляет говорящему массу возможностей для языковой игры. Он может придавать лексической единице необычное значение или необычную форму, «скрещивать» или разрывать слова, создавать их «не совсем по правилам» или вовсе «из ничего». Он может также сталкивать в одном контексте формально схожие, но по сути разные слова, насыщать текст представителями одной («понравившейся») словообразовательной модели или просто иноязычными вкраплениями. И результатом всего этого является не только достижение какой-то дополнительной коммуникативной цели (позабавить слушающего, рассмешить его, удивить, поразить, восхитить и т.п.), но и творческое удовлетворение самого говорящего. Для него такая игра — реализация его речевой раскованности и доказательство его языковой самобытности.

СЕГОДНЯ — ЭТО ЗАВТРА ВЧЕРА

Вынесенная в заголовок фраза кажется сначала странной, искусственной: какая-то абракадабра, случайный набор слов. И только вдумавшись, начинаешь понимать, что перед тобой — афоризм, да еще довольно глубокий и остроумный. Просто все употребленные здесь наречия следует трактовать в качестве существительных, примерно так: «Сегодняшний день — это завтрашний день по отношению к вчерашнему дню». Тогда все становится на свои места.

О возможностях переносного употребления слов мы уже говорили. В этой же главе речь пойдет о том, как от «вчера» язык переходит к «завтра». По сути дела, перед нами одно из глубочайших (и неразрешимых) противоречий языка, одна из его, говоря греческим термином, антиномий. Как это следует понимать?

В каждый конкретный момент человек имеет дело с некоторым состоянием языка: с набором определенных единиц, связанных определенными отношениями. Если бы язык был преходящим, быстротекущим, мгновенно изменяющимся, то пользоваться им было бы невозможно. Представим себе на минуту: только мы узнали какое-то слово, только научились пользоваться какой-то формой или конструкцией — глядь, а они уже не те, уже изменились или заменились чем-то другим... Нет, язык относительно устойчив во времени. Это позволяет нам принимать его за некоторую данность. Условно говоря, мы считаем его неизменным, стабильным. Нам так удобно считать: благодаря этому мы можем общаться не только со своими сверстниками, «соседями» по времени, но и с представителями иных поколений — как «уходящих», старших, так и «приходящих», нарождающихся. Конечно, в речи наших бабушек и дедушек (если таковые живы) встречаются какие-то свои особенности, да и в речи наших детей и внуков (если таковые есть) тоже не все нас устраивает. Наши бабушки и дедушки, например, говорили *гребенка* и *вечное перо*; мы говорим — *расческа* и *авторучка*. Они говорили *платье* и *автомобиль*, мы говорим — *одежда* и *машина*... Наши же внуки, возможно, вместо *одежда* и *машина* будут пользоваться какими-то иными, новыми названиями (может быть, *прикид*? может быть, *тачка*? Трудно прогнозировать будущее языка!).

Однако заметим, что в целом подобные отличия не столь уж значительны и многочисленны, они практически не мешают общению между поколениями. Можно утверждать, что огромное большинство русских слов за последние сто лет не изменилось; век для языка — это не срок. Мы сегодня свободно, без особых затруднений читаем басни И.А. Крылова или «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина; а ведь нас от них отделяют целых двести лет. Устойчивость языка во времени — великое благо!

И все же то, что язык изменяется, не подлежит сомнению. Появляются новые слова (а какие-то старые, наоборот, отмирают), развивается грамматический строй (например, изменяется количество падежей или чисел), меняется даже звуковой состав. Когда таких изменений накапливается много, язык превращается в другой язык. Примером может служить история русского языка. Когда-то, в XII или XIII веке, это был один язык, со своим лексиконом и со своими правилами (в частности, в нем существовало двойственное число и звательный падеж, иной была система глагольных времен и т.д.). Затем в нем произошли существенные изменения, которые в конце концов привели к сегодняшнему состоянию. И тот язык, предок современного, оказалось необходимым назвать как-то по-другому, чтобы отличить его от языка-потомка. Его теперь называют древнерусским языком.

Тексты, написанные на древнерусском языке, нуждаются в переводе: иначе наш современник их просто не поймет. Приведем в качестве подтверждения оригинальный отрывок из памятника древнерусской литературы — «Повести временных лет» — и его перевод на современный русский язык (сделанный Д.С. Лихачевым).

«В сѣ же лето рекоша дружина Игореви: “Отроци Свѣнльжи изодѣлися суть оружьемъ и порты, а мы нази. Поиди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши и мы”. И послуша ихъ Игорьъ, иде в Дерева в дань, и примышляше къ первой дани, и насиляше имъ и мужи его.

И тот год сказала дружина Игорю: “Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудеши, и нам”. И послушал их Игорь — пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насиле над ними мужи его».

Итак, один из основных парадоксов средства общения состоит в «столкновении» его развития и состояния. С одной стороны, мы считаем язык чем-то нам данным и стабильным: если было бы неясно, что сегодня входит в словарь и грамматику, а что — нет, то невозможно было бы общаться.

С другой стороны, то, при помощи чего мы общаемся, есть лишь условный «слепок», «мгновенный снимок» с не прекращающейся ни на минуту языковой эволюции. Противоречие между развитием и состоянием языка имеет и некоторые частные, вполне конкретные следствия. Дело в том, что борьба «старого» и «нового», которая в каждый конкретный момент осуществляется в языке, происходит и в голове у отдельного человека. Естественно, к «старому» этот человек привык, оно для него удобно, как разношенные туфли; «новое» же для него непривычно и потому нередко раздражает, воспринимается в штыки. Иными словами, противопоставление «старого» и «нового» часто принимает вид борьбы правильного с неправильным.

У К.И. Чуковского в книге «Живой как жизнь» есть специальная глава «Старое и новое», в которой рассказывается о том, как совершенно безобидные и привычные сегодня слова — такие, как *результат, факт, вдохновлять, талантливый, научный, ерунда* и другие, — вызывали в середине XIX века негодование литературной и филологической общественности. *Бездарность, талантливый*, возмущался поэт П.А. Вяземский, — это «площадные выражения»; *вдохновлять*, по мнению академика Я.К. Грота, — «безобразное слово»...

Тот же Корней Чуковский вел на своей даче в Куоккале рукописный дневник-альбом, в который его гости записывали литературные экспромты (художник Илья Репин назвал этот альбом «Чукоккалой»). И среди прочих записей за 1921—1922 гг. мы находим список неологизмов, которые только-только появились тогда в русской речи и, естественно, резали ухо. Вот, к примеру, какие выражения содержатся в этом списке: *пока* (в значении «до свидания»), *до скорого, ничего подобного, халтура, текущий момент, пара минут, полседьмого, я пошел* (в значении «я сейчас уйду») и т.п. Какие же это неологизмы? — так и хочется спросить. Все эти выражения сегодня уже утратили момент новизны, стали для нас привычными и «хорошими».

Но если так, если неправильное, ненормативное становится со временем правильным, нормативным, то не стоит ли мягче относиться к тем новообразованиям, которые нам режут ухо (или глаз) сегодня? К примеру, сочетания типа *пара минут* или *пара яблок* уже не вызывают ныне столь резких возражений, как ранее. («Что это еще за *пара яблок*? Пара — это «два предмета, составляющие единое целое»: *пара перчаток, пара гнедых, супружеская пара...* и всё!»)

Мы рассуждаем примерно так: это раньше *пара* значило «два предмета», а теперь к старому значению этого слова прибавилось новое: «несколько», «небольшое количество, в пределах от 2 до 5» (поэтому *пара яблок* — совсем не то же самое, что *два яблока*). И если сегодня словари с некоторым сомнением или неуверенностью фиксируют данное значение (оно, мол, просторечное, да еще, возможно, возникло под влиянием немецкого языка...), то завтра оно займет там свое место без всяких оговорок. Получается, что в основе спора — столкновение того, что в языке было, с тем, что в нем будет.

А вот еще другой пример: слово *половина*. Это существительное в современной русской речи нередко встречается в сочетаниях «большая половина», «меньшая половина» — и это вызывает у грамотных людей обоснованные возражения: «Половина не может быть ни большей, ни меньшей! Половина — это 1/2!»

Но ведь язык — не арифметика. Не стоит ли предположить, что слово *половина* просто-напросто начинает принимать переносное значение — «часть, доля»? Конечно, особой необходимости в таком переносе значения нет, да и выглядит он нелогично, но мало ли в русском, как и в любом другом языке, нелогичностей? Когда-то и словосочетание *красные чернила* резало слух: чернила по самой своей природе должны быть черными! А ныне мы не видим в этом выражении ничего противоречивого. Быть может, и «большая половина» приживется в языке? Поживем — увидим...

Если антиномия «развитие языка — его состояние» порождает столь серьезные теоретические проблемы и столь острые практические споры, то, спрашивается, где же тут место для языковой игры? Какие возможности есть у говорящего, чтобы дополнительно использовать, обыграть скрытую изменчивость языка?

Прежде всего это введение в текст иновременного элемента. Поскольку же весь опыт носителя языка лежит позади, в прошлом, то «иновременной» на практике значит: устаревший, архаичный. Конечно, свою прямую коммуникативную (информативную) функцию архаизм выполняет плохо. Это все равно как если бы через много лет после денежной реформы прийти в магазин с купюрой старого образца и услышать в ответ: «Эти деньги уже не в ходу». Так и устаревшее слово: оно или уже стало означать что-либо другое, или просто вышло из употребления.

Но у иновременного элемента свои достоинства и свои функции. Он как бы придает тексту особую глубину, дополнительное измерение, временную стереометрию! Подобно тому, как вкрапление иноязычного элемента рождает эффект переноса в пространстве (в мир другого народа), так и введение в текст архаизма создает иллюзию переноса во времени (в другую эпоху).

Обратимся к излюбленному фантастами приему: человек попадает не в свое время. Скажем, в кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» (в основе сценария — пьеса Михаила Булгакова) наши современники оказываются перенесенными в XVI век, а царь Иван Грозный — в наши дни. И, кроме внешности и поступков, царя, естественно, «играет» его речь. Он говорит, в частности: «Ох, тяжело мне!»; «Не человеческим хотением, но Божиим соизволением царь есмь»; «Отведай ты из моего кубка»; «Пошто боярыню обидел, смерд?» и т.п.

А другой персонаж, «прелюбодей несчастный», режиссер Якин, включается в игру и судорожно перерывает в своей памяти весь запас церковнославянизмов: «аз есмь...», «житие мое», «паки и паки», «иже херувимы», «вельми понеже»... Действительно, всякие там «лепота», «увы мне, увы» и т.п. — яркие приметы исторической эпохи, и говорящий (в данном случае писатель) сознательно сталкивает друг с другом два речевых пласта — современный и древний. Слово — вот та реальная «машина времени», которая перемещает человека на оси истории...

А вот другой пример, в некотором смысле «наоборотный». У писателя Г. Гора есть повесть «Странник и время», в которой наш современник-ученый переносится на 300 лет вперед, в эпоху домашних роботов и общественной гармонии (как наивны все мы, и писатели — не исключение!). Разговаривая с людьми XXIII века,

он своими выражениями то и дело ставит собеседников в тупик. Вот две иллюстрации:

«— Не приbedняйтесь!

Это словечко из лексикона моего времени подвернулось на язык случайно.

— Что вы сказали? — насторожилась Людмила Сергеевна. — Я не поняла.

— Не приbedняйтесь.

По-видимому, это выражение давно вышло из употребления...»

«— ...Быт без жизни. А у вас жизнь без быта. Собакевич бы забраковал.

— Забраковал? А что это значит?

Я стал объяснять... Не очень-то у меня это получилось».

Хотя в данном случае писатель пытается взглянуть на нашу языковую современность глазами «человека будущего», применяемый речевой прием нам уже знаком: он основан на том, что, в сущности, любое слово может когда-нибудь устареть. (Как остроумно выразился Феликс Кривин, «архаизмы — это слова, забывшие о том, что и они были когда-то неологизмами».) И глаголы *приbedняться* и *забраковать*, по мысли автора, когда-то будут требовать специальных разъяснений...

Итак, слово несет на себе печать времени. И говорящий, употребляя иновременный элемент, увеличивает дистанцию между моментом речи и описываемым событием. Особенно велика такая — стилизующая — роль архаизмов в исторической беллетристике (т.е. в художественной литературе). Приведем в качестве подтверждения один эпизод.

В романе Алексея Толстого «Петр Первый» князь Голицын ведет по-латински беседу с приехавшим из Варшавы иноземцем. Но вот какими средствами передается его речь:

«— ...Нашего государства основа суть два сословия: кормящее и служилое, сиречь — крестьянство и дворянство. Оба сии сословия в великой скудости обретаются, и оттого государству никакой пользы от них нет, ниже одно разорение. Великим было бы счастьем оторвать помещиков от крестьян, ибо помещик ныне одной лишь корысти ради, без

пощады пожирает крепостного мужика, и крестьянин оттого худ, и помещик худ, и государство худо...»

Если бы писатель передал содержание латинской речи средствами современного русского языка, то читатель утратил бы эффект присутствия при исторических событиях. Для создания такого эффекта годятся любые средства: лексические и фразеологические архаизмы (*сей, сиречь, обретаться, дабы, челядь, корысти ради, челом бить* и т.п.), устаревшие морфологические и фонетические формы (*кофей, гишпанский, ея, новья, библиотека, кататься верхами*, упоминавшиеся уже *конфекты* и т.п.), измененный порядок слов (инверсия).

Причем историческая точность, буквализм тут не обязателен: иновременной элемент — условный знак, примета «былых времен». Скажем, в оригинальном тексте пьесы М. Булгакова «Иван Васильевич» говорится: «Жалую тебе рясу с царского плеча» — хотя цари рясы никогда не носили, просто ряса — как бы признак иной эпохи (в киносценарии, кстати, ряса заменена на шубу)...

Или еще пример: в историческом романе В. Пикуля «Фаворит» читаем:

«Екатерина, оказывая особую честь наместнику, проводила его до вестибюля, где уже чуялось лютое дыхание зимы. Потом выскочила и на площадь — с непокрытой головой; в прическе ее сверкал дивный персидский аграф, доставшийся в наследство от Елизаветы».

Один внимательный (чтоб не сказать — вездливый) читатель написал в газету «Книжное обозрение»: «Вы, конечно, знаете, что аграф — это платяное, а в XVI веке шляпное украшение. Я осмелюсь рекомендовать автору “Фаворита” в последующих изданиях книги заменить *аграф* на *эгрет*. В качестве украшения для волос XVIII век любил эгреты...» А в сущности, массовому-то читателю — не все ли равно? Ему что *аграф*, что *эгрет* — лишь бы был знак иной эпохи!

Конечно, архаизмы вовсе не обязательно отсылают нас ко временам Ивана Грозного или Петра Первого, они могут напоминать и о сравнительно недавнем прошлом. Таковым для нас яв-

ляется, в частности, первая половина XX века. Если мы встречаем в современных русских текстах слова *аэроплан, фильма, штиблеты, партиец, голкипер* и т.п., то понимаем: они «работают» на колорит соответствующей эпохи, а заодно на речевую характеристику персонажей. К примеру, в романе В. Богомолова «Момент истины» говорится о Сталине: «Не мог он привыкнуть и к надеваемым с мундиром искусно пошитым шевровым ботинкам, которые в усмешку именовал по-дореволюционному — штиблеты».

Тем же целям могут служить некоторые орфографические особенности. В частности, сегодня нередко встречаются написания слов с твердым знаком на конце, типа «магазинъ», «Коммерсантъ», «Ва-Банкъ», которые всерьез или с иронией отсылают нас к орфографии начала XX века.

В целом же можно сказать, что архаизму присуща особая выразительность, он стилистически окрашен на фоне других, нейтральных, современных слов. Иногда эта окраска настолько сильна, что затеняет, оттесняет на второй план само значение слова или оборота. (Фактически мы могли уже это наблюдать на примере «конкуренции» названий *аграф* и *эгрет* в романе В. Пикуля.) Но вот еще характерная иллюстрация. В историческую эпоху в русском языке существовал глагол-связка, изменявшийся по лицам и числам: *аз есмь, ты еси, он есть... они суть*. Затем эта связка вышла из употребления; вместо *Аз есмь человек* мы говорим сегодня просто: *Я человек*. Изредка используется в современных текстах связка *есть* (например: *Игра есть древнейшее занятие человека*), а также форма того же глагола *суть*. Но интересно то, что *суть*, сохраняя свою стилистическую окраску (архаично-возвышенную), постепенно утрачивает изначальную соотношенность с 3-м лицом множественного числа. Несколько цитат из поэзии нобелевского лауреата Иосифа Бродского:

«Склонность гор к подножью, к нам, суть изнанка ихних круч» («В горах»).

«...Эстетическое чутье суть слепок с инстинкта самосохраненья и надежней, чем этика...» («Доклад для симпозиума»).

«Постоянство суть эволюция принципа помещенья в сторону мысли...» («Элегия»).

По подсчетам Л.В. Зубовой, из 20 глагольных форм *суть*, употребленных в поэтических текстах И. Бродского, только одна употреблена «на своем месте», с полным историческим основанием.

Неудивительно, что архаизмы с их экспрессией широко используются в поэзии, особенно интеллектуальной и иронической. Здесь совсем не обязательно имеется в виду создание какой-то исторической ретроспективы; зато можно говорить об особой магии, «волшебстве» инновременного элемента. Приведем несколько иллюстраций из стихотворений Осипа Мандельштама, как серьезных, так и шуточных:

«Были очи острее точимой косы —
По зегзице в зенице и по капле росы...» («Были очи острее...»).

«Люблю под сводами седья тишины
Молебнов, панихид блужданье...» («Люблю под сводами седья тишины...»).

«Полковнику Белавенцу
Каждый дал по яйцу.
Полковник Белавенец
Съел много яиц» («Умеревший офицер»).

«— Лесбия, где ты была?
— Я лежала в объятьях Морфея.
— Женщина, ты солгала: в них я покоился сам!» («Лесбия, где ты была?...»).

Употребленные здесь слова *очи*, *зегзица*, *зеница*, форма прилагательного *седья* во втором примере и существительного *яец* в третьем, фразеологизм *быть в объятьях Морфея* (т.е. спать) — всё это вкрапления архаизмов в поэтический текст, призванные усилить его «художественность». По сути же они представляют собой частный случай языковой игры: говорящий (поэт) вводит в текст инородный, «чужой» языковой элемент (и тем самым в каком-то смысле нарушает правила), но рассчитывает при этом на определенную эстетическую компенсацию: читатель должен включиться в игру и по достоинству оценить прием.

Таким образом, архаизмы — это своего рода вестники из иных миров, сообщающие тексту дополнительное измерение: они либо отсылают слушающего (читателя) к прошлым эпохам, либо (благодаря своей «чуждости») заставляют его активнее воспринимать текст, мобилизуют его эстетические начала.

Но глубинное противоречие между эволюцией языка и его состоянием проявляется не только в границах целого текста. Оно находит свое выражение и в пределах одного слова, в самой его структуре. Речь идет о так называемой мотивировке, или внутренней форме слова. Мотивировка — тот признак, который кладется в основу наименования (при рождении слова). Огромное количество лексических единиц, которыми мы пользуемся, мотивировано. Мы понимаем, почему выключатель называется выключателем (он служит для того, чтобы выключать), подоконник — подоконником (он находится под окном), рукав — рукавом (он покрывает руку), огород — огородом (он огорожен, т.е. окружен забором), солонка — солонкой (в ней — соль) и т.д. И в то же время масса других названий выглядит для нас немотивированной. Мы не можем, например, сказать, почему стол называется столом, стена — стеной, ладонь — ладонью, тетрадь — тетрадью, пуговица — пуговицей... Причем, что характерно, мотивированные и немотивированные слова могут в языке сосуществовать, «поддерживать» друг друга, образовывать синонимические пары и т.п. Так, мы обычно даже не замечаем, что у одних названий дней недели в русском языке есть внутренняя форма (*четверг* — четвертый день недели, *пятница* — пятый...), а у других — нет (*суббота* — немотивированное слово); нам это не мешает.

Большинство названий грибов в русском языке мотивированы (*подберезовик*, *боровик*, *лисичка*, *сыроежка*...), а названия рыб, наоборот, внутренней формы не имеют (*лещ*, *сазан*, *щука*, *форель*...) — ну и что? И практически все равно, как сказать: *рукавица* или *варежка*, *передник* или *фартук*, *объявление* или *афиша* — хотя во всех этих парах первое слово мотивировано, а второе — нет...

Какой же из всего этого следует вывод? Пожалуй, один: что носителю языка все равно, есть у слова мотивировка или нет. Точнее, она была необходима на тот момент, когда название возникло (нужно же ему было на что-то опереться!), но после того,

как слово в языке прижилось, внутренняя форма может благополучно исчезнуть, забыться. Приведем аналогию из жизни людей. При рождении человека выписывается соответствующий документ: свидетельство о рождении, или, как раньше говорили, метрика. Это очень важный — на данном этапе жизни — документ. Но, когда человек, достигнув определенного возраста, получает паспорт, метрика ему вряд ли когда-то еще понадобится. Точно так обстоит дело и с внутренней формой. Скажем прямо: все те слова, которые сегодня выглядят немотивированными, когда-то имели мотивировку — просто они ее где-то «по дороге» утратили. Не составляют исключения и приводившиеся выше примеры типа *стол*, *стена*, *фартук*, *суббота* и т.д.: внутренняя форма у них была, но «забылась».

Конечно, филологи, специалисты по исторической лексикологии, без особого труда находят, восстанавливают эту утраченную мотивировку. Они говорят: в существительном *стол* исторически тот же корень, что в глаголах *стлать* и *стоять*, слово *стена* родственно древнегерманскому *stains* («камень»), название *фартук* пришло к нам через польский язык из немецкого (*Vortuch* значило буквально «передний платок»), а *суббота* восходит к древнееврейскому *шаббат* (и является, кстати, далеким родственником русских слов *шабаш* и *шабашишь*). Человека, который заинтересуется происхождением названий, ждет немало увлекательных наблюдений и неожиданных открытий. Он вдруг ощутит историческую связь слов *пузырек* и *пузырь*, *клинок* и *клин*, *рябина* и *рябой*, *тварь* и *творить* (отсюда выражение *божья тварь*), *точка* и *ткнуть*, *грыжа* и *грызть* и т.п.; он уловит в слове *невеста* мотивировку «не ведающая, неопытная», а в слове *ведьма* — наоборот, «ведающая, знающая» (и тогда возникнет шутка о сущности замужества как постепенном превращении невесты в ведьму)...

И все же общее правило таково (все приведенные примеры его только подтверждают): мотивировке слова свойственно со временем утрачиваться, забываться. Это совершенно естественный, нормальный процесс, который позволяет слову развиваться, менять со временем как свою форму, так и значение. Мы говорим сегодня: *перочинный нож*, хотя уже давно не чиним им ника-

ких перьев. Говорим: *допотопная конструкция*, никоим образом не связывая эту конструкцию с библейским потопом. Говорим: *зеленые чернила* и *цветное белье*, хотя по самой своей языковой природе (т.е. по мотивировке) чернилам положено быть черными, а белье — белым... Короче, внутренняя форма — это внутреннее дело самого слова; нас же в лексическом знаке интересуют только две его стороны: значение и форма. Таково правило. Более того, если мотивировка сохраняется, то, присутствуя в сознании носителя языка, она может некоторым образом мешать ему использовать это слово. Приведем некоторые иллюстрации.

В России существует политическая партия «Яблоко». Известно, что это название возникло из «кусочков» фамилий ее лидеров: Явлинский, Болдырев, Лукин. Но больно уж оно непривычно для общественного движения. «Общая газета» (1995, № 47) иронизировала по данному поводу: «Сами отцы-основатели ничего интереснее придумать не сумели. Неизвестно, согласились бы они на “турнепс” или “топинамбур”, но выбор у них был скудный: к осени 1993 года все приличные ярлыки и бирки были разобраны и зело употреблены. От безысходности пришлось назваться фруктом». Действительно, сталкиваясь с названием «Яблоко», трудно отделаться от посторонних, «фруктовых» ассоциаций...

Другой пример. На вооружении у милиции состоит слезоточивый газ под названием «черемуха». И опять что-то режет нам слух: безобидное и даже полезное дерево (воспетое, кстати, в песнях) — и средство для разгона демонстрантов? Новое значение явно не соответствует мотивировке...

Третий пример. В газетах промелькнуло сообщение о том, что очередному детищу автозавода «Москвич» присвоено название «Иван Калита». Первые экземпляры автомобиля «Иван Калита» уже экспонировались на международных выставках. И снова напрашивается вопрос: удачно ли такое имечко? Разве не чувствуется за ним оттенка седой древности, патриархальности, допотопности? Не лучше ли было бы выбрать имя попроще да поусловнее — как ведь хорошо звучат какие-нибудь «рено» или «ауди»!

Четвертый пример — из художественного (юмористического) текста. Это вопросы, которые задает себе человек якобы не вполне нормальный. Он не понимает очевидных вещей и потому

плохо вписывается в окружающую обстановку: «Почему нельзя говорить всё как есть?.. Почему утренники бывают вечером, вечера танцев — днем, а субботники — в воскресенье?!» (М. Азов, В. Тихвинский. «Записки сумасшедшего»). Действительно, мотивировка слов *утренник* или *субботник* плохо «увязывается» с их современным значением и употреблением — и это может вызывать определенные затруднения в общении.

Подытожим, наконец: на определенном этапе жизни слова мотивировка становится ему не нужна и даже вредна. Поэтому она, собственно, и отмирает. Но, даже трижды повторенное, это правило еще не исчерпывает всей правды, всей сложности развития языкового знака. Дело в том, что наряду, можно сказать — параллельно, с естественным процессом утраты внутренней формы слова, в речи то и дело наблюдается обратный процесс: «реанимация» мотивировки, ее восстановление и обновление. И в этом — очередной парадокс языка.

Филологи давно заметили: человек иногда не удовлетворяется двумя сторонами знака — его планом выражения и планом содержания, а ищет третий, связующий их компонент: мотивировку. Он как бы хочет знать не только, «как слово звучит и пишется» и «что оно значит», но и «почему оно значит именно это». Чаще всего такой интерес пробуждается тогда, когда слово говорящему плохо знакомо, оно для него ново или же — для нас эта ситуация более интересна — если у него есть какая-то «сверхзадача»: например, эстетическая или юмористическая (вспомним уже знакомые нам основания языковой игры). И человек начинает фантазировать, предполагать: как могло бы возникнуть то или иное слово. Вот одно из таких свидетельств — размышления поэта Николая Асеева:

«Я понял смыслы как будто не разгадываемых слов. Что значит, например, слово *мелкий*, *мелочь*? Не от крошащегося ли мела произошли они? А что значит слово *кровь*? Не от сокровенности ли его значения произошло оно? А что значит *плоть*, что значит *гореть*, что значит *святой*? Не от пылания ли, не от подымания ли вверх, не от света ли произошли эти слова? *Плоть* — пылать? — недоверчиво скажете вы. *Гореть* — подыматься ввысь? *Святой*, как светлый, как светоносный? А не домысел ли это поэтически-

го воображения?! Нет, это домысел наших предков, создававших эти слова. Поэтому *плоть* — пылает, а *тело* — тлеет...»

Скажем сразу: приводимые здесь мотивировки — это действительно плод фантазии, лингвистической ценности они не имеют. Происхождение слова устанавливается здесь на основании случайного сходства с другим словом. В науке это называется народной, или ложной, этимологией.

Прочитируем в связи с этим книгу Ж. Вандриеса «Язык»: «...Сознание стремится установить связи во внешней форме слов, часто даже вопреки здравому смыслу. Слабое звуковое сходство данного слова с употребительным или более известным словом ведет за собою сближение, результатом которого являются странные искажения слов». В самом деле, «сближение» слов очень часто означает подгонку одного слова под другое. Так вместо *пиджак* в просторечии появляется «спинжак» (сближение со словом *спина*), вместо *бульвар* — «гульвар» (подразумевается мотивировка: «место, где гуляют»), вместо *аудиенция* — «уединенция» (ср.: *уединиться*) и т.п. Все это — классические образцы ложной этимологии!

К ним легко добавить и другие примеры: «купиратив» вместо *кооператив*, «перетрубация» вместо *пертурбация*, «штурмовка» вместо *штурмовка* (вид куртки), «разуме» вместо *резюме*, «куркулятор» вместо *калькулятор* и т.д. Один читатель, услышав где-то слово *полиглот*, с возмущением писал в газету «Неделя»: «Зачем русскому языку слово «пылегло́т», когда уже есть слово *пылесос*?!»

Есть, правда, одна сфера, в которой народная этимология оправданна и простительна: это детская речь. Чтобы запомнить новое слово, включить его в свой словарный запас, ребенок должен «привязать» его к уже имеющимся словам, т.е. по-своему его объяснить, мотивировать. Так получается вместо *экскаватор* — «пескаватор», вместо *молоток* — «колоток», вместо *вазелин* — «мазелин» и т.п. (Массу подобных примеров читатель найдет в уже упоминавшейся книге К.И. Чуковского «От двух до пяти».)

В целом же, конечно, примеры народной этимологии свидетельствуют о недостаточной образованности говорящих и, можно сказать, об их недостаточном уважении и такте по отношению к средству общения. Но назвать народную этимологию просто

«порчей» слов тоже нельзя: во-первых, носитель языка руководствуется здесь благими намерениями (он пытается, в конце концов, решить лингвистическую задачу), а во-вторых, перед нами явление значительно более массовое, чем это можно заключить, судя по первым приведенным примерам.

Дело в том, что человек регулярно сталкивается в своей речевой практике со словами, сходными между собой. И если это сходство ограничено планом выражения, т.е. слова просто частично совпадают по своей форме (как, например, *пирамида* и *пирамидон* или *кресло* и *кресало*), то обычно это никаких особых последствий не имеет. Говорящий (или слушающий) как бы списывает такое подобие на проявление случайности, на действие закона больших чисел. Это значит: слов в языке так много, что какие-то из них рано или поздно должны были частично совпасть по своей форме. Но если формальное сходство сопровождается еще и какой-то смысловой связью, общностью элементов значения, то можно быть уверенным: в сознании носителя языка данные слова объединятся устойчивой связью. Таковы, в частности, для русского языка лексемы *деревня* и *дерево* (потому что деревня состоит, как правило, из деревянных домов), *мята* и *мять* (потому что запах мяты наиболее проявляется, если ее листья помять в руках), *вяз* и *вязать*, *вязкий* (потому что вяз — дерево с раскидистой кроной, с переплетенными, «связанными» друг с другом ветвями), *рубанок* и *рубить* (потому что рубанком хотя и не рубят, но строгают, а это действие тесно связано с *рубить*), *щуплый* и *щупать* (потому что в щуплом человеке как бы легко прощупывается весь его скелет)... Предоставим читателю возможность самому найти смысловые звенья, которые соединяют в русскоязычном сознании слова *дубина* и *дуб*, *хлеб* и *хлепать*, *прыть* и *прыгать*, *вихор* и *вихрь*, *кучерявый* и *кучер*, *кишечник* и *кишеть*, *строптивый* и *стропа* и т.д.

Конечно, носитель языка — не специалист-лексиколог. Он не может определить, действительно ли данные слова состоят между собой в «кровном родстве» или же их сближение случайно и вторично. Да его это, собственно, и не волнует. Какая разница, произошло ли *щуплый* от *щупать*, или нет — важно, что так могло быть!

Вспомним, что слова связаны между собой в языковом сознании многочисленными и разнообразными связями — тематическими, грамматическими, стилистическими и др. Важное место среди них занимают связи мотивационные, закрепленные в словообразовательных моделях типа *ручка* — от *рука*, *выключатель* — от *выключать*... В таком случае названия, лишённые мотивировки, оказываются в некотором смысле ущербными, обделёнными по сравнению с теми, у которых эта мотивировка есть. К примеру, на фоне словообразовательно «прозрачных» *подход*, *подсчет*, *поджог*, *подхват*, *подбор* или *подоконник*, *подснежник*, *подстаканник*, *подосиновик*, *подфарник* слова вроде *подвох* или *подагра* выглядят «бедными родственниками»: неясно, как они образованы и с какими другими словами состоят в родстве. Неудивительно, что носитель языка пытается «исправить несправедливость» и подыскать слову каких-то родственников, говоря по-другому — восстановить, оживить его внутреннюю форму. Такой процесс — его называют вторичной мотивацией, или, иначе, ремотивацией, — глубоко закономерен. Связи, которые устанавливает говорящий, служат упрочению лексической системы: слова теснее, регулярнее и многообразнее связываются друг с другом. Кроме того, по выражению немецкого лингвиста Д. Герхардта, «в человеке глубоко укоренена потребность извлечения из языкового знака как можно большего смысла»; именно это мы и наблюдаем в случаях типа *вяз* — *вязать* или *кишечник* — *кишеть*.

Ну а то, что эти попытки ремотивации не имеют под собой научных оснований и часто идут вразрез с истинной историей слова — так что ж! В конце концов, бывают случаи, когда народное, ложное представление о происхождении названия со временем берет верх над научным.

Вот, скажем, слово *свидетель*. Когда-то оно было родственно глаголу *ведать* (и писалось через букву «ять»: свѣдетель — «человек, который что-то ведаёт, знает вместе с кем-то другим»). Но постепенно оно в массовом сознании все теснее связывалось с другим глаголом — *видеть* (*свидетель* — «тот, кто видел что-то вместе с другим»), и на сегодняшний день эта мотивировка закрепились в изменившемся написании через «и». Народная этимология в данном случае победила.

По тому же пути идут и некоторые другие слова. К примеру, существительное *столпотворение* все дальше отходит от своей исконной мотивировки («творение столпа», т.е. Вавилонской башни, согласно библейской легенде) и все теснее связывается в нашем представлении с *толпа*, *толпиться*. А слова *капитал*, *спартакиада* образуют такие прочные ассоциации с (соответственно) *копоть* и *спорт*, что это порождает — в частности, в школе — серьезные орфографические проблемы. Ученик спрашивает: «Почему это *капитал* надо писать через “а”? Я же проверил: *кóпит* — значит, надо через “о”!» И *спартакиаду*, с точки зрения того же ученика, можно «проверить»: *спорт*... Учителю приходится объяснять, что на самом деле название *спартакиада* происходит не от *спорт*, а от *Спарта* (область в Древней Греции), а *капитал* восходит к французскому *capital* — «главная сумма, основное имущество», да только трудно победить те устойчивые связи, которые уже формируются в нашей голове!

Итак, на наших глазах сталкиваются две языковые закономерности. Одна — то, что многие слова имеют своих родственников («предков»): это мотивированные названия. Другие же слова утратили свою родословную, но не отказались бы ее восстановить, пусть даже родственники и оказались бы ненастоящими, «вторичными». («Ну пусть не отец, а отчим. Но с ним все равно чувствуешь себя уверенней!») Вторая закономерность заключается в том, что многие слова сходны по форме и близки по содержанию, а следовательно, сами «напрашиваются» на роль родственников.

Вот тут-то и начинается большая языковая игра. Носителю языка, как мы уже говорили, нет дела до того, истинное это родство или нет: это выходит за пределы его компетенции. Но ему удобно считать сходство между словами не случайным. А это значит, коль скоро в его сознании возникают устойчивые формально-смысловые связи, то ему не терпится пустить их в дело: проверить в тексте, продемонстрировать в речевой цепи. Ведь иначе от навязчивых ассоциаций все равно не избавишься:

«Мне на ухо поэты нашептали
Созвучья для созвучья самого,

Но думается мне, что у Шампани
Нет общего с шампунью ничего.

И ведь не все же — в самом деле! — парни —
Родня Парни; не всякое чело
В чулок пролезет; да и Пермь — не в Парме,
Хоть вынести все это тяжело...»
(Н. Матвеева. «Созвучия»).

О том же — следующие строфы поэта Владимира Орлова:

«Слова “резня” и “розни”
Всегда живут в приязни,
А в тихом слове “козни”
Живет зародыш “казни”»
(«Близкие слова»).

«Едва напишете ПАЛАЧ —
И тут же раздается ПЛАЧ.
Едва напишете ЖИЛЬЕ —
И вот является ЖУЛЬЕ.
Произнесите: ДАР и ПОИСК —
И тут как тут: УДАР и ПРОЙСК...»
(«Нелживые слова»).

Конечно, в поэзии звуковые «переклички» между словами выглядят наиболее оправданными и «обоснованными»: здесь это важный, чтоб не сказать — важнейший, принцип организации текста. «Слова, сходные по звучанию, сближаются и по значению», — писал основатель структурной поэтики Роман Jakobson. А за смысловыми ассоциациями можно усмотреть или глубинные, древние представления народа об устройстве мира, или же своего рода предначертания на будущее. Вспомним уже приводившуюся цитату из статьи Николая Асеева: сближения слов, по мнению автора, — это «домысел наших предков».

А вот еще несколько свидетельств. Валерий Брюсов писал в начале XX века:

«Созвучья слова не случайны!
Пусть связь речений далека,

В ней неразгаданные тайны
Всегда живого языка»
(«Созвучья слова не случайны!..»).

Наш современник Андрей Битов считает, что судьба русской литературы в значительной степени была predetermined исходной близостью нескольких понятий и слов. Прочитав его статью «Битва»: «Я, право, не знаю... что было бы со смыслом русской литературы и отчего бы она была именно русской, кабы не были созвучны “деревня — деревья — древний” и “крест — крестьянин — христианин”. Здесь лежат первые и скорее впоследствии забытые, чем уточненные, связи языка и жизни».

А Андрей Вознесенский находит магическое, судьбоносное совпадение между инициалами Н.С. Хрущева и «сгубившей его идеей совнархозов (СНХ)»; он же прочитывает инициалы Бориса Пастернака — БП — как «беспартийный» и видит в этом перст судьбы («Зуб разума»).

Все это, так сказать, высокая поэзия, не лишенная, очевидно, элемента субъективной фантазии или даже мистики. Но те же словесные созвучия могут становиться поводом и предметом «приземленной» языковой игры: шуток, балагурства, жонглирования словами. В таком случае фонетического сходства оказывается достаточно для организации текста: слово просто «тянет» за собой своего звукового «двойника». Вот начало пародии Николая Парилина:

«Нес траур траулер-трудяга —
Три кильки кинулись под киль.
Как вышла эта передряга
Не в шестибалльный шторм, а в штиль?!
И громко гром не громыхает.
И не волнуется волна...
Радист не радуется — рыдает
(Не от вина — его вина)...»
(«У матросов есть вопросы...»).

А у барда Александра Дольского есть стихотворение и песня «Чепуха», целиком построенная на бессмысленных звуковых перекличках:

«Забубенные бубнилы забивали болт в болванку,
А зубастые зубрилы забухтели в барабан...
Журавлей журили жабы живо, нежно и желанно,
И жукастые жоржетки дрожжи выжали в жилет...
В целлофане целовались целеллины с пацанами,
Цубербиллер цикнул циклом целочисленной процесс...» и т.п.

Это действительно чепуха, но ведь стихотворение так и называется — какие к нему могут быть претензии? Хотя, с другой стороны, — стихотворение! Песня!

Только не надо думать, будто игра на созвучиях слов — это всего лишь литературный прием, придуманный высоколобыми «пиитами». Вовсе нет! Она сплошь и рядом встречается в живой, повседневной разговорной речи. Обычный человек, рядовой носитель языка подмечает факты формального сходства слов и не отказывает себе в удовольствии семантически сблизить их в тексте. Так появляются народные афоризмы типа «художник от слова худо», «плюрализм — это когда все друг на друга плюют», «не застойные времена, а застольные», «Венера не Венера, но что-то венерическое в ней есть» и т.п. Такие изначально случайные звуковые совпадения, подкрепляясь хотя бы минимальной смысловой общностью, становятся устойчивыми, многократно воспроизводимыми. Можно с уверенностью утверждать, что для массового русскоязычного сознания в слове *Помпадур* присутствует элемент *дур(a)*, а может быть, еще и элемент *помпа* (ср. *самодур* и т.п.). Точно так же в слове *утопия* «просвечивает» основа *топить*, *мохер* ассоциируется с *махровый*, а название птицы *щегол* регулярно связывается с *щёголь*, *щеголять*... Вспомним также уже приводившиеся примеры вроде *вяз* и *вязать*, *кучерявый* и *кучер* и т.п.

Что перед нами — примеры народной этимологии? Или скорее примеры ремотивации — попытки восстановления внутренней формы слова?.. Для нас же наибольший интерес представляет «игровая» сторона подобных сближений. Языковеды давно обратили внимание на внутреннюю связь народной этимологии и языковой игры. В самом деле, оснований для извлечения из языковых единиц дополнительного смысла тут предостаточно. Во-первых, обычный человек как бы берет на себя смелость объяснять происхождение слов: это уже в каком-то смысле нарушение

правил (не говоря уже о том, что человек этот чувствует себя при этом вправе слегка «подгонять» слово к другому слову — в этом его дополнительная свобода!). Во-вторых, сопоставление сближаемых единиц в тексте порождает особый эстетический эффект: формальная переключка слов вдруг «освещается» смысловой связью: «Красиво!» В-третьих, при этом нередко получается еще и смешно: сталкивается высокое и низкое, ожидаемое и неожиданное... Может быть, самая характерная для народной этимологии область — это объяснение происхождения имен собственных, в частности топонимов — названий местностей (городов, рек, гор и т.п.). Здесь поиск мотивировки слова превращается в увлекательное фантазирование, в конце концов, в создание легенды. К примеру, название древнего города на Волге *Кинешма* объясняется историей с неким разбойником (возможно, Стенькой Разиным?), который намеревался выбросить за борт свою наложницу, а та его в отчаянии спрашивала: «Кинешь мя?» Разумеется, ничего общего с настоящим происхождением названия *Кинешма* эта история не имеет, но зато красиво — игра!

Как уже отмечалось, формально-смысловые связи между словами, устанавливающиеся в нашем сознании, стремятся реализоваться в текстах. В том числе богатый иллюстративный материал мы находим в художественных и публицистических произведениях. Приведем несколько цитат:

«...Просачиваются спокойные слова дворника: “Скука — от людей; скучатся они в кучу, и начинается скука...”» (М. Горький. «Дело Артамоновых»).

«Если молодые люди объясняются в любви на плоту, то это плотская любовь. Если старая дева любит собак, кошек и прочих животных, то это животная любовь» (А. Чехов. «Словотолкователь для “барышень”»).

«...Это нарочитое дезабилье романтизма, затейливо перепутанное, завинченное штопором, турниры в турнирах, кокотки в кокошниках... имеют один источник страсти...» (А. Терц. «Прогоулки с Пушкиным»).

«— ...Почему он так называется — тритон? Что, три тонны весит? — Ромка рассмеялся своей шутке» (Е. Астахов. «Наш старый добрый двор»).

«— Андрюша, ты должен их переубедить, чтобы второго письма не было!

— Попробую, — пообещал я.

— Пробуют в пробирках, а ты с живыми людьми работаешь, ты должен!» (Ю. Поляков. «Работа над ошибками»).

«Гида у меня нет. А есть гидра. Стройная высокая блондинка Хелен...» (К. Мелихан. «И я там был»).

Во всех приведенных примерах формальное сходство между словами служит основанием для их смыслового сближения и сопоставления в тексте.

То же явление активно эксплуатируется журналистами: оно придает публицистическим материалам большую экспрессивность. Особенно ярко это проступает в заголовках газетных и журнальных статей. Приведем в качестве примеров несколько заглавий из наугад выбранных номеров центральных российских газет: «Обитель и ее обитатели»; «Любовный роман по любой цене»; «Глобальные прогнозы от П. Глобы»; «Торопец жить торопится», «Облепит склоны облепиха» и т.п. И здесь соположение формально схожих, хотя и разных слов («то же, да не то же!») создает игровой эффект. Насыщение короткого, в общем-то, текста одинаковыми материальными сущностями обещает читателю «разряд» эстетического удовлетворения...

Итак, в данном разделе мы стремились показать, как говорящий пытается использовать глубинное противоречие между развитием языка и его современным состоянием, с тем чтобы извлечь из этого противостояния дополнительный эффект — коммуникативный, эстетический, юмористический... И не важно, какими средствами такой эффект достигается: то ли вкраплением инновационных средств в современный текст, то ли проецированием сегодняшних слов на их возможное прошлое и будущее — и в том и в другом случае открываются богатые возможности для языковой игры.

«СИНТАКСИС ДОМИКИ СТРОИТ НЕ ТЕ...»

«Синтаксис домики строит не те» — строка из стихотворения Николая Заболоцкого «Битва слонов», в котором говорится, как «боевые слоны подсознания» по ночам выходят из своего убежища и творят разбой. Привычный порядок вещей при этом рушится, логика отступает: «весь мир неуклюжего полон значения»... Но в конце концов,

«Поэзия начинает приглядываться,
Изучать движение новых фигур,
Она начинает понимать красоту неуклюжести...»

Вот в этой главе и пойдет речь о всевозможных отклонениях в области синтаксиса: о нарушениях правил построения предложений и словосочетаний, «нестыковках» в сфере диалогической речи и т.п., которые, однако же, нередко создаются говорящим умышленно, преднамеренно и составляют тем самым предмет языковой игры.

Конечно, поскольку все уровни языка теснейшим образом между собой связаны, переплетены, то нарушение синтаксических правил очень часто влечет за собой какие-то иные «деформации» — лексические, морфологические и др. В предыдущих разделах у нас уже была возможность в этом убедиться. Так, «неправомерное» расширение круга безличных конструкций означало одновременное изменение характеристики некоторых глаголов («смеркаются лоси и пергалы...») и т.п. Но в данном случае именно синтаксис будет находиться в центре нашего внимания.

Начнем с предложений как основных единиц данного языкового уровня. Когда человек говорит и слушает, то он произвольно ориентируется на некоторые образцы, или шаблоны, заложенные в его памяти. Откуда они там взялись, как сформировались? Частично они сложились еще в раннем детстве, когда с ребенком разговаривают, казалось бы, сравнительно о немногих вещах, зато уж все просьбы, вопросы, запреты, советы повторяют многократно. Это и есть первые практические занятия на тему: «Как строить высказывание». Затем багаж синтаксических (и вообще язы-

ковых) знаний пополняется в школьные годы — конечно, не только на уроках литературы. И хотя и позже, в зрелом возрасте, человек все еще пополняет свою «копилку» языковых шаблонов (т.е.: запоминая то или иное полюбившееся ему выражение, он затем старается его воспроизвести), все же в основном система синтаксических моделей формируется в нашем сознании в раннем возрасте. Говоря словами профессора А.М. Пешковского, «это наш синтаксический багаж, взятый нами с детства в наш жизненный путь, подобно звуковому багажу, словарному багажу, семасиологическому багажу (значениям слов), образующим вместе то, что называется русским языком. Вот эти-то шаблоны мы и достаем из багажа и надеваем на нашу мысль, как своего рода языковую одежду, всякий раз, как нам надо что-нибудь сказать... Чем распространеннее данный шаблон в нашем языке, чем он привычнее нам, тем больше шансов, что именно он подвернется под руку. Во всяком случае какой-нибудь шаблон да нужен. Выдумывать особую чисто индивидуальную синтаксическую оболочку для нашей мысли, соответствующую нашему индивидуальному переживанию, мы не можем, как не можем выдумывать своих звуков, своих слов, своих значений, потому что все это значило бы выдумывать свой язык, на котором ни с кем нельзя было бы объясняться...» («Русский синтаксис в научном освещении», 2-е изд.).

В качестве воспроизводимой единицы, отложившейся в памяти носителя языка, может выступать и целая готовая фраза (высказывание) или ее значительная часть. Рассмотрим следующий конкретный пример. Говорящий по-русски может отозваться о некоторой проблеме, не заслуживающей, с его точки зрения, приложения больших усилий, примерно так: «Тоже мне бином Ньютона!» или так: «Вот еще бином Ньютона нашелся!» Это значит: выполнить данную задачу — все равно что раз плюнуть. Приведем и соответствующую цитату из современной повести: «...Имя, правда, назвать отказалась, но установить данные ее постоянного любовника было нетрудно, это ж не бином Ньютона» (А. Маринина. «Светлый лик смерти»). Действительно, выражение *бином Ньютона* выглядит в подобной ситуации довольно естественным. Но кто, когда впервые употребил название алгебра-

ической формулы в таком ироническом контексте? Быть может, это сделал Михаил Булгаков? В «Мастере и Маргарите» происходит следующий разговор:

«— ...Вы когда умрете?

Тут уж буфетчик возмутился.

— Это никому не известно и никого не касается, — ответил он.

— Ну да, неизвестно, — послышался все тот же дрянной голос из кабинета, — подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате».

В любом случае ясно: когда сегодня человек произносит: «Тоже мне бином Ньютона!», то он, скорее всего, не соотносит данное выражение с конкретным источником, «текстом-родителем». Для него это выражение стало уже крылатым — а значит, анонимным и самостоятельным!

В то же время перед нами, можно считать, пример языковой игры. Потому что говорящий мог бы выразить свою мысль проще, естественнее, непосредственнее (например, он мог бы сказать: «Ну, это небольшая проблема!»). Вместо этого он сознательно выбирает иное, более сложное выражение, требующее и от слушающего определенной активизации («перетряхивания») его языкового багажа. А дело все в том — это совершенно ясно, — что говорящий претендует на некоторую речевую оригинальность, рассчитывает на достижение дополнительного, как бы «сверхкоммуникативного» эффекта.

Подобные речевые действия встречаются в нашей практике на каждом шагу, они массовы и естественны. Можно сказать, что мы имеем здесь дело с речевым стереотипом: стандартные коммуникативные обстоятельства порождают стандартную же речевую реакцию. И конечно, в голове у каждого из нас содержится множество готовых высказываний на все случаи жизни. Вспомним хотя бы некоторые из них — такие, как: *Нахальство — второе счастье; С точностью до наоборот; Галопом по Европам; За себя и за того парня; Через час по чайной ложке; Свято место пусто не бывает; И ежу понятно; Одного поля ягода; Мужчина в самом расцвете сил; Ждать у моря погоды; Золотая середина;*

Вернемся к нашим баранам и т.п. Откуда, из каких текстов пришли к нам эти выражения? В принципе для многих случаев это можно установить, да только стоит ли? Все эти сентенции уже существуют в нашем сознании как бы сами по себе, в отрыве от своих первоисточников...

В то же время частотность и массовость таких «готовых» реакций наводит на некоторые размышления. Не переоцениваем ли мы творческий момент в речевой деятельности человека? В какой степени это действительно творчество, т.е. создание новых, уникальных высказываний, а в какой — повторение уже когда-то слышанного и прочитанного?

Не похожа ли языковая память человека на склад «секонд хэнд» — высказываний, уже бывших в употреблении? В общем-то, ничего обидного в данном сравнении нет: ведь ассортимент тут все равно огромен и выбор — на любой вкус! И потом, разве зазорно цитировать удачные выражения — пусть даже они созданы не обязательно классиками, но также и безымянными носителями языка?..

Кстати, если вернуться к только что использованному примеру, то стоит заметить: ведь говорящий в описанной нами ситуации мог сказать не только: «Подумаешь, бином Ньютона!», но и, допустим: «Подумаешь, теорема Пифагора!» или: «Вот еще, теория относительности!»... Получается, что в таких случаях говорящий уже не копирует готовую лексическую формулировку, но придерживается некоторой схемы, образца построения высказывания (или словосочетаний). В сущности, именно в этом и заключается синтаксическая часть нашего языкового багажа (по Пешковскому): с детства, подражая, мы приобретаем к этим шаблонам, затем закрепляем их в своей памяти (вспомним хрестоматийные, или даже букварные, примеры вроде *Мама мыла раму, У Шуры шары* и т.п.), а потом уже эти образцы-модели безотказно работают на нас всю нашу жизнь. Мы интуитивно ощущаем, что высказывания *Рабочие строят дом, Повар делает компоты, Петя пишет письмо* построены по одному образцу, *Собака спит, Учительница болеет, Караул устал* — по другому, а *В доме свадьба, На шкафу — пыль, Под глазом — синяк* — по третьему и т.д. Каждый образец-модель включает в себя определенное количество компонентов, и каждому компоненту присуще свое, хотя бы и

довольно общее, значение. (Очень приблизительно эти значения можно было бы сформулировать как «тот, кто производит действие», «тот, кто испытывает состояние», «тот (или то), на кого направлено действие», «тот, кому приписывается некоторый признак», «то место, в котором происходит действие» и т.д.) Не будем говорить здесь о систематизации таких моделей предложения и их компонентов (их называют позициями) — синтаксисты давно и не без успеха этим занимаются. Вернемся к нашей собственной теме.

Если нарушить правила строения синтаксической модели, не заполнить какой-то ее позиции (не выполнить какого-то синтаксического «обязательства»), — получается неправильное высказывание. О таком предложении можно сказать: «Так не говорят». Но вся штука в том, что иногда как раз так и говорят. При этом говорящий нарушает правила умышленно, с уже знакомыми нам игровыми целями. Вот характерный пример — начало стихотворения Даниила Хармса, одного из родоначальников русской литературы абсурда. Стихотворение называется «Случай на железной дороге».

«Как-то бабушка махнула,
и тотчас же паровоз
детям подал и сказал:
пейте кашу и сундук.
Утром дети шли назад.
Сели дети на забор
и сказали: вороной,
поработай, я не буду...»

Перед нами — яркий пример языковой игры: текст неправилен, даже непонятен, зато он забавен и загадочен. В сущности, ключ к загадке очень прост: достаточно предположить, что некоторые обязательные синтаксические члены, компоненты модели, здесь опущены, не названы. К примеру, если мы имеем дело с ситуацией «махания», то по-русски обязательно надо обозначить: кто махнул и чем махнул. Если же речь идет о ситуации «подавания» (давания), то так же обязательно надо сказать: кто подал, что и кому...

А вот теперь попробуем восстановить пропущенные члены высказывания, заполнить «пустые» позиции. Допустим, было бы написано:

«Как-то бабушка махнула рукой,
и тотчас же паровоз
детям подал сигнал и сказал:
пейте чай, ешьте кашу и не трогайте сундук.
Утром дети шли назад.
Сели они, эти дети, на забор,
увидали коня и сказали ему:
“Вороной, поработай, я не буду тебе мешать,
и он тоже не будет...”»

При такой искусственной процедуре (да простит нас Д. Хармс!) многое становится на свои места — никаких синтаксических неправильностей в тексте уже нет. Правда, стихотворение тут же теряет значительную часть своей необычности и загадочности, своей «красоты неуклюжести». Что ж, игра есть игра, и она требует приносить в жертву то серьезность, то правильность, а нередко — и то и другое вместе...

В приведенном примере мы столкнулись с частным случаем очень распространенного в синтаксисе явления, именуемого эллипсисом. Эллипсис — опущение, неназывание какой-то части высказывания. В нашем случае распознать его легко: слушающий ожидает появления необходимой словоформы, но его ожиданиям не суждено сбыться. (В психологии это так и называется: эффект обманутого ожидания, и это очень важный инструмент языковой игры.) Конечно, зачастую слушающий и сам мог бы со 100%-ной вероятностью предугадать недостающий компонент, потому что он имеет дело с речевым штампом, в котором и так «все ясно». Но все равно, хотя говорящий и намекает на обстоятельства общеизвестные и шаблонные, его долг — выполнить синтаксические обязательства полностью!

На этом и основывается игра в разрушение штампов, в последние десятилетия активно предлагающаяся читателям периодических изданий (в частности «Литературной газеты»). Приведем несколько примеров с ее 16-й полосы: «Безусловно, это явится

ценным вкладом, что будет свидетельствовать» (1973, 28 ноября); «Администрация и худсовет “клуба ДС” поздравляют премьерованных и желают им» (1975, 1 января); «И тут “Парк Горького” вполне “соответствует”: герои гоняются друг за другом по Москве, размахивая кольцами...» (1981, 28 октября); «Как видим, критика тут не возымела» (1983, 3 августа). Тот же прием разрушения штампа, возведенный в абсолют, может быть положен в основу целого литературного произведения, в чем можно убедиться на примере юморески Л. Наумова «Как уберечься от...» (текст приводится с сокращениями):

«Всем известно, что... Каждый на себе испытал. Но, к сожалению, не все еще выполняют. Соблюдайте. Не надо, если даже очень хочется. Хотя некоторым иногда позволительно. Все зависит от количества и частоты. Лучше реже, чем чаще. Лучше меньше, чем больше. Лучше раньше, чем позже. Не нарушайте. Воздерживайтесь. Не перегревайтесь. Не переохлаждайтесь.

Бойтесь. Помните. Проветривайте. Принимайте своевременно. Имейте в виду. Не увлекайтесь. Не употребляйте. Не допускайте. Берегите — это залог здоровья...»

Встречается такой «игровой эллипсис» и в серьезной художественной литературе, главным образом как отражение особенностей живой разговорной речи. Приведем несколько иллюстраций.

«Она улыбнулась с недоброй иронией.

— Уходите, Юра. Не будем... “усугублять”!» (Г. Николаева. «Битва в пути»).

«Была у нас даже одна Маргарита, но она быстро “оказалась”: ушла натурщицей к художнику на Ламанском, бабушке и няне хватило разговоров на год!» (Л. Успенский. «Записки старого петербуржца»).

«Затонская была удивлена моим ответом на экзамене. И довольна, как бывает доволен преподаватель, который от нас не ожидал» (Н. Давыдова. «Никто никогда»).

«— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович! Вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия... между умственным и физическим... между городом и де-

ревней... между мужчиной и женщиной, наконец... Но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Симеонович!» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. «Понедельник начинается в субботу»).

«Статья эта наделала “внутреннего” шума: ее многие прочли, и она произвела... Работа была, мягко говоря, не вполне научна...» (А. Битов. «Молодой Одоевцев, герой романа»).

(Характерно, кстати, что в некоторых из приведенных примеров слово, оставшееся без своего привычного партнера, как-то выделяется в тексте: кавычками, разрядкой и т.п. Это своеобразная подсказка читателю — сигнал незаполненной синтаксической позиции.)

Если же опущение обязательного компонента высказывания становится в каком-то случае привычным, традиционным, то эффект неожиданности исчезает, а вместе с ним уходит и элемент игры. Зато оставшееся, сохранившееся в тексте слово как бы впитывает в себя значение отсутствующего партнера — оно постепенно приобретает новый смысл. Таковы, в частности, в современном русском языке глаголы *нарушать* («вести себя неправильно», из *нарушать правила уличного движения* и т.п.), *выражаться* («ругаться», из *выражаться нецензурными словами*), *посылать* («ругать, проклинать», из *посылать к черту* и т.п.), *переживать* («волноваться», из *переживать за кого-либо*) и др. Иногда этот процесс протекает буквально на наших глазах: мы становимся свидетелями зарождения нового словоупотребления, которое со временем, возможно, найдет свое отражение и в словаре. Несколько цитат-иллюстраций:

«А завтра они поедут точно. На лыжах или так погуляют, а вечером еще немножко встретят, с подругой» (А. Битов. «Роль»; здесь *встретят* употреблено в значении «отпразднуют Новый год»);

«Не могу, когда такая зависимость. Вот тебе пример — с Грачом. К людям надо относиться, а здесь к людям что, разве относятся?» (Д. Константиновский. «..Следовательно, существую»; здесь *относиться* значит «хорошо относиться, уважать» и т.п.).

«Видный был такой мужчина, постоянно при галстуке, вообще одевался. Однако узаконить наши человеческие отношения он не спешил»

(В. Пьецух. «Потоп»; глагол *одевался* означает здесь «хорошо одевался, следил за собой» и т.п.).

(Лингвисты давно заметили, что развитие нового значения в таких ситуациях очень часто происходит путем включения, поглощения количественного или оценочного компонента, ср.: *одеваться* в смысле «одеваться хорошо», *температура* в значении «высокая температура», *погода* в значении «хорошая погода» и т.п.)

Разновидностью «игрового» эллипсиса можно считать такую речевую ситуацию, когда предлог (или другое служебное слово: союз, частица и т.п.) употребляется сам по себе, без сопровождающего его полнозначного слова (а точнее, без слова, которое он должен сопровождать). В принципе ведь служебные слова и призваны обеспечивать связь между полнозначными единицами в тексте, например: *заглядывать — за — перегородку, свободный — от — обязательств* и т.п. А тут, получается, связь обозначена, да только между чем и чем? Один ее конец представлен, выражен некоторым главным словом. Есть также знак подчиненной синтаксической позиции: служебное слово. Но сама позиция оказывается пустой, слова в ней нет. Примеры:

«— ...Актер должен быть вне сцены. Он в публике. Он наверху и под. Понятно?

— Хорошо, — быстро согласился молодой человек, — я буду вне. Если надо и под. Пожалуйста» (А. Бухов. «Случай в “Театре возможностей”»).

«Это вовсе не значит, что я призываю самого себя или кого-либо “делать под”, — я ищу точку опоры. Когда я переводил роман Мопассана “Милый друг”, я перечитал всего Чехова» (Н. Любимов. «Перевод — искусство»).

«...Он живет на площади жены. При жене. Пишет передачи об искусстве, хотя сам искусством не занимается. При искусстве. Человек “при”. Приживал!» (В. Токарева. «Между небом и землей»).

«Они ощупывают переборочки,
они заглянуть стараются за.

А мы — их гиды, их переводчики,
и не надо пыль им пускать в глаза!»
(Ю. Левитанский. «Дети»).

«Свободой дни мои продля,
Господь не снял забот,
И я теперь свободен для,
но не свободен от»
(Г. Губерман. «Иерусалимские гарики»).

«Бежишь — и все бежит обратно:
Столбы, деревья, небеса.
Особенно бежать приятно,
Когда бежишь не от, а за.
Дорога стелется покорно,
И даль волнует и зовет,
Особенно бежишь проворно,
Когда бежишь не за, а от»
(П. Хмара. «Бег»).

Кстати, и данный прием может со временем «обкатываться», становиться для нас привычным, банальным. Мы, например, совершенно спокойно можем спросить: «Ты будешь голосовать за или против?», не упоминая, о каком «объекте голосования» идет речь. В таком случае, конечно, никакой игры нет. Но в приведенных выше цитатах элемент языковой игры присутствует: он заключается в том, что говорящий сознательно не называет слово и в то же время намекает — при помощи предлога — на его необходимость. Основания для подобного эллипсиса могут быть разные: или значение опускаемого слова совершенно не важно по сравнению со значением главного, подчиняющего слова, или же слушающий и сам без труда догадывается и может восполнить недостающее звено... Возведенный в абсолют, данный прием также может составить основу целого литературного произведения, как в следующем случае — юмореске М. Китайнера «От и до»:

«Когда мы были ЕЩЕ и надеялись НА, мы выступали везде, куда НАС, и столько, сколько ИМ. И хотя принимали нас НЕ СОВСЕМ, мы были счастливы, что мы УЖЕ.

Потом нас стали брать С и даже НА. И у нас появилась робкая надежда, ЧТО. В конце концов мы вышли В, стали снисходительно относиться К и думать о себе как О.

Теперь мы уже СРЕДИ и можем себе позволить отказаться ОТ. И принимают нас сейчас уже не НАРЯДУ, а ЛУЧШЕ ЧЕМ, хотя читаем мы ТО ЖЕ, что и ТОГДА. Потому что с тех пор мы так и не написали ничего нового. Ведь когда мы были ЕЩЕ и надеялись НА...»

Выделенные в тексте слова неполноценны в смысловом отношении: они должны употребляться только в сочетании со своими полнозначными партнерами (например: «Когда мы были еще детьми и надеялись на лучшие времена...»). Но именно эти-то партнеры и не названы. Таким способом пародируются общеизвестные факты, прописные истины, а слушающий, легко восстанавливающий в уме недостающие члены высказывания, чувствует себя польщенным доверием автора, он становится как бы соавтором данной игры...

Когда мы говорили, что каждому компоненту синтаксической модели, каждой ее позиции присуще свое обобщенное значение, то из этого следовало (и следует), что ей свойственно и некоторое типичное лексическое воплощение. Вот, к примеру, «тот, кто испытывает некоторое состояние», — это наверняка живое существо. И стало быть, для данной синтаксической позиции будут типичны такие слова, как *человек, инженер, Саша, больной, щенок* и т.п., и нетипичны, положим, *стул, воздух, топор* и т.п. А, допустим, компонент модели со значением «тот (или то), на кого направлено действие», может в равной степени быть представлен как существительным, обозначающим живое существо, так и (это даже вероятнее) существительным с конкретно-предметным значением, таким, как *письмо, пирог, бревно* и т.п. Позиция же «место, в котором происходит действие», скорее всего будет заполнена существительным со значением пространства или точки в нем (*воздух, город, поворот, дверь, строка* и т.п.), а также наречием места (*внизу, слева* и т.п.)...

Конечно, все эти лексические «предписания» носят нежесткий, размытый характер. Но все же нарушение их воспринимается как своего рода неправильность, и если говорящий на это идет, то он знает, ради чего это делает. Так, вместо *Люди принимают*

решения он может в конкретной ситуации сказать (а еще вероятнее — написать) *Обстоятельства принимают решения*, вместо *Хозяйке трудно стирать* — *Мылу трудно стирать*, вместо *Отдыхающих становится все больше* — *Моря становится все больше* и т.п. Приведем для подтверждения несколько цитат из художественных текстов:

«Вероятно, куску железа так же радостно покориться неизбежному, точному закону, — и впитаться в магнит» (Е. Замятин. «Мы»).

«Трава чистила ботинки» (И. Ильф. «Записные книжки»).

«...На столе букет фиалок.
Солнце слепит паркет» (И. Бродский. «Квинтет»).

«О блаженное одиночество! Одиночество ест со сковородки, выуживает холодную котлету из помутневшей литровой банки, заваривает чай в кружке — ну и что?» (Т. Толстая. «Река Оккервиль»).

«Игоря она вспахала, засеяла, на нем взросли репы. Иван Алибеков лежал у ног бесхозным невозделанным участком. На нем еще пахать и пахать» (В. Токарева. «Хэппи-энд»).

«Подушки начнут воровать из музеев
неандертальские черепа.
Рубашки сами себя напялят
на статуи и скелеты.
Детские коляски будут качать
заспиртованных младенцев
из мединститутов»
(Е. Евтушенко. «Мама и нейтронная бомба»).

«Лай чреват собакой» (Г. Остер. «Детские суеверия»).

«Если вместо пистолета,
О котором ты просил,
Вдруг домой приносит мама
Сверток с маленькой сестрой,
Не бери. Скажи спокойно:
“Из сестер стрелять нельзя...”»
(Г. Остер. «Вредные советы»).

В приведенных примерах обобщенное синтаксическое значение — например, «тот, кто производит действие», — вступает в противоречие с обобщенным лексическим значением — таким, как «абстрактное понятие» (например, *одиночество*) или «конкретный предмет» (например, *подушка*) и т.п. Иначе говоря, не соблюдаются внутренние требования, которые предъявляет синтаксическая позиция к лексическому классу. А результатом становится необычность или, говоря определением Виктора Шкловского, «остраненность» текста — в общем, языковая игра!

Но бывают ситуации еще более парадоксальные: когда с грамматической точки зрения конструкция совершенно правильна и даже лексические классы вполне соответствуют «своим» позициям, да только — вот незадача! — конкретное слово совершенно не подходит к данной роли. Точнее сказать, оно по смыслу несовместимо со своими партнерами в высказывании. На этом основан один из классических приемов в художественной речи, называемый греческим термином *оксюморон* (буквально «остроумно-глупое»): *живой труп, пламенный лед, честный жулик, знакомый незнакомец, спеши не торопясь, чем хуже, тем лучше* и т.п. Подобные словесные парадоксы — излюбленное средство сатириков и юмористов (ср., например, фразу М. Жванецкого: «Я всегда уважаю чудовищный выбор своего народа!» или у А. Зиновьева: «Нескончаемая осень, переходящая в нескончаемую зиму...»).

Тот же механизм «соединения несоединимого» действует в следующих шуточных рекомендациях:

- «Не ешьте натошак!»
- «Не знакомьтесь с незнакомыми людьми!»
- «Никогда не говорите “никогда”!»

На фоне совершенно естественных и привычных пожеланий типа «Не курите натошак!» (или «Не ешьте всухомятку!»), «Не знакомьтесь с несимпатичными людьми», «Никогда не говорите “нет”» и т.п. приведенные выше высказывания выделяются своей парадоксальностью. Как это — не есть натошак? Это же значит вообще не есть! Как это — не знакомиться с незнакомыми людьми? А с

кем тогда знакомиться — со знакомыми, что ли? Как это — никогда не говорить «никогда», если данное слово уже произнесено?

Понятно, что здесь в рамках одного предложения сочетаются слова, «противопоказанные» друг другу, это и создает основу для речевого парадокса.

Эффект соединения несоединимого может достигаться с участием самых разных синтаксических средств. Одно из них — это хорошо знакомые нам деепричастия. Вообще деепричастие обозначает некоторое побочное, второстепенное действие, сопровождающее основное, главное действие, выраженное в том же предложении другой, личной глагольной формой. Например: *Уходя, гасите свет. Работая в шахте, ты строишь светлое будущее. Проезжая Ташкент, обратите внимание на здание вокзала.*

Знакомясь с правилами образования и употребления деепричастий, мы обнаруживаем, например, что в данной сфере действует противопоставление по виду (можно сказать, положим, *читая*, а можно — *прочитав*), что деепричастие должно относиться к тому же «производителю действия», что и основной глагол-сказуемое (поэтому неправильно: «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа») и т.д. — короче, усваиваем массу полезной информации. Но при этом обычно не задумываемся над одним предварительным условием (оно нам кажется само собой разумеющимся): побочное действие не должно дублировать главное. Ну, действительно, какой в этом был бы толк? Однако нарушение этого правила может оправдываться языковой игрой и неожиданным «приращением» смысла в повторяемом глаголе. Примеры:

«Уходя — уходи» (название кинофильма; это значит: «Если ты решил уйти, то уходи и не тяни»).

«Работая в шахте, ты работаешь в шахте» (пародийный антилозунг, означающий: «Работая в шахте, ты ни на что больше рассчитывать не можешь и никаких перспектив не дождешься»).

«Любя, она пыталась думать, она хотела быть доброй, умной, великодушной, а, любя, нужно только одно — любить» (И. Эренбург. «Любовь Жанны Ней»).

«Проезжая Ташкент, проезжайте» (заголовок в газете «Комсомольская правда», 1991, 23 апреля; это значит: «Проезжая Ташкент, ни в коем случае в нем не задерживайтесь»).

То же общее предварительное условие — нетождественности (разности) объединяемых смыслов — действует в сфере сложно-подчиненных предложений. Действительно, глупо бы выглядело высказывание вроде «Я читаю книгу, которую я читаю» или «Я читаю книгу, потому что я читаю книгу»... Тем не менее и такие «фокусы» могут встречаться в текстах, если это оправдано какими-то более высокими (или более специальными) целями. Приведем в качестве иллюстрации начало стихотворения Булата Окуджавы «Я никогда не витал, не витал...»:

«Я никогда не витал, не витал
в облаках, в которых я не витал,
и никогда не видал, не видал
городов, которых я не видал.
И никогда не лепил, не лепил
кувшин, который я не лепил,
и никогда не любил, не любил
женщин, которых я не любил...»

Многие предложения, как простые, так и сложные, включают в свое значение мыслительные операции сравнения, объединения, противопоставления понятий, выделения части из целого и т.п. А это значит, что они должны строиться с учетом определенных логических принципов и правил. Частично мы уже касались этих правил, когда в одной из предыдущих глав размышляли об иерархических основаниях лексической классификации и условиях образования сочинительных конструкций (можно ли, например, сказать «книги и словари» или «птицы и животные» и т.п.?).

Однако нарушения в речи логических принципов, как мы можем легко убедиться, значительно более разнообразны. Дело в том, что законы классической, или формальной, логики, в своей основе сформулированные еще в античной древности, выросли на питательной почве языковых единиц: слов, словосочетаний, простых и сложных предложений. Именно так и сложились здесь основополагающие категории — понятие, суждение, умозаключение... Но все эти логические единицы и правила их функционирования опираются на «идеальный», т.е. сугубо правильный

речевой материал. А именно: сопоставляемые или объединяемые понятия должны принадлежать одному уровню обобщения; сравнение или противопоставление должно происходить по одному (единому) основанию — или по цвету, или по форме, или по возрасту и т.д.; предмет (и соответствующее ему понятие) должен быть тождествен сам себе; зато разные предметы (понятия) уже по самому своему определению не могут быть тождественны; часть не может быть равна целому и т.д. Все это — практические азы нашей мыслительной деятельности, в соответствии с которыми одни высказывания оказываются построенными правильно, а другие — с нарушениями логики. Но именно эти последние, как нетрудно догадаться, могут использоваться говорящим в игровых целях: для того чтобы удивить, развлечь, позабавить собеседника и т.п. Вот характерные примеры речевых парадоксов, основанных на несоблюдении логических правил.

«— Сдается мне, что это новый доктор, — сказал один из них, когда я прошел.

— А по-моему, армянин, — сказал другой» (Ф. Искандер. «Созвездие Козлотура»).

«Затем Ковригин оскорбил целый город. Он сказал:

— Иосиф Бродский хоть и ленинградец, но талантливый поэт...» (С. Довлатов. «Фиалиал»).

«К а л у г и н а. Вам, Анатолий Ефремович, хорошо, у вас дети.

Н о в о с е л ь ц е в. Да, двое — мальчик и еще мальчик...» (Э. Брагинский, Э. Рязанов. «Сослуживцы»).

«Для ведения войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги» (крылатое выражение, восходящее к Д.Я. Тривульцио).

«В действительности все обстоит не так, как на самом деле» (шутливый афоризм).

«В каждой шутке есть доля... шутки» (шутливый афоризм, переиначивающий известную поговорку «В каждой шутке есть доля правды»).

«Планы партии — это планы партии» (иронический антилозунг 80-х годов).

«Человек и части человеческого тела
Выполняют мелкое и незначительное дело» (Н. Олейников. «Леди»).

«Рынок не страшнее рынка» (заголовок в газете «Известия», 1990, 10 августа).

«Как поссорился Дед Мороз с Дедом Морозом» (заголовок в газете «Комсомольская правда», 1991, 1 января).

«Суть дела не в этом, сказал Сотрудник. Надо солгать так, чтобы было верно, и сказать правду так, чтобы было вранье» (А. Зиновьев. «Зияющие высоты»).

В той же книге «Зияющие высоты» Александр Зиновьев саркастически замечал: «...Процент языковых операций, совершаемых по правилам логики, в общем числе языковых операций настолько исчезающе мал, что разговоры о какой-то логической стадии мышления производят чисто комическое впечатление». Это, конечно, гипербола, преувеличение, но если говорить всерьез, то принципы формальной логики нарушаются в речи очень часто, можно сказать — на каждом шагу. Иногда мы этого не замечаем, но иногда, наоборот, подчеркиваем, обыгрываем речевые «несуразности». И надо признать, языковая игра, основанная на несоблюдении логических правил, заложена глубоко в народном сознании. Она, в частности, обильно представлена в русском фольклоре: пословицах и поговорках, прибаутках и побасенках, загадках и анекдотах... Вспомним хотя бы примеры вроде: *Живы будем — не помрем; Ум за разум заходит; За деревьями леса не видно; Позавидовал плешивый лысому; Истина хороша, да и правда не худа; Умная голова, да дураку досталась* и т.п. Можно также вспомнить по данному поводу сказку «Умная дочь», в которой героиня должна выполнить следующие условия: явиться во дворец ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с подарком, ни с пустыми руками. (Она и приезжает верхом на зайце, накинув на себя рыболовную сеть и держа в руках перепелку, которую тут же выпускает на волю.) Это всё — игра с логикой!

Еще один характерный пример — старинная русская сатирическая сказка про Фому и Ерему (существующая во многих вариантах). Данные два персонажа вроде бы изначально противопоставлены друг другу — на этом, собственно, и строится все произведение. Да только противопоставление оказывается мнимым: по всем своим качествам и поступкам, как выясняется, Фома и Ерема равнозначны, они в каком-то смысле двойники друг друга. Иными словами, читатель настраивается на антитезу: «Фома — такой, а Ерема — сякой...», а текст разрушает его ожидания, и весь драматизм противопоставления сводится к нулю:

«На Ереме зипун, на Фоме кафтан,
на Ереме шапка, на Фоме колпак,
Ерема в лаптях, Фома в поршнях,
у Еремы мошна, у Фомы калита...
Ерема ушел в рожь, а Фома в ячмень,
Ерема припал, а Фома пригорнул,
Ерему сыскали, а Фому нашли,
Ерему кнутом, Фому батогом,
Ерему бьют по спине, а Фому по бокам,
Ерема ушел, а Фома убежал...»

В народно-поэтическом творчестве используются и другие приемы создания синтаксических отклонений и умышленных «неуклюжестей». Очень характерный пример — так называемый перевертыш (научное его название — хиазм). Вспомним знакомую с детства потешку:

«Ехала деревня мимо мужика,
Глядь, из-под собаки лают ворота.
Крыши испугались, сели на ворон,
Лошадь подгоняет мужика кнутом.
Лошадь ела кашу, а мужик овес,
Лошадь села в сани, а мужик повез».

(Известны и другие варианты.) Это и есть синтаксический перевертыш.

На том же приеме основаны многие пословицы и поговорки, ср.: *Молодец против овец, а против молодца сам овца; Не место*

красит человека, а человек место; Не по хорошу мил, а по милу хорош и т.п. Суть хиазма проста: синтаксические позиции обмениваются «принадлежащими» им лексемами. Говоря по-другому, слова как бы примеряют (по «взаимной договоренности») синтаксические маски друг друга, пробуют себя в чужих ролях. Игра, основанная на синтаксическом перевертыше, очень популярна в русской художественной литературе и афористике.

Несколько иллюстраций:

«Их никто не приголубит
И ничто не исцелит...
Поглядишь: хандра всё любит,
А любовь всегда хандрит»
(П. Вяземский. «Хандра»).

«Что это за сила обстоятельств? — рабство и бедность, — бедность рабства и рабство бедности» (Н. Лесков. «Загадочный человек»).

«Новиков задумчиво смотрел перед собою. В нем была и печаль и радость: и печальная радость, и радостная печаль создавали в душе его светлое, как умирающий летний вечер, трогательное счастье» (М. Арцибашев. «Санин»).

«У нас в России две напасти:
внизу — власть тьмы,
вверху — тьма власти» (эпиграмма, восходящая к В. Гиляровскому).

«По вечерам совсем даже холодно. Я люблю холод, но он меня не любит» (В. Набоков. «Король, дама, валет»).

«Произнеся первую фразу, он почувствовал облегчение. Постепенно он овладевал текстом, и текст овладевал им» (В. Войнович. «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»).

«Вот и опять помянул я Твое Имя. Неужели это правда мне знамение, а не просто случай? Или знаменательный случай? Или случайное знамение?» (И. Губерман. «Прогулки вокруг барака»).

«Рука руку моет... Про руководителей РАППа Георгия Лелевича и Леопольда Авербаха сложили афоризм: как Юрка ляпнет, так Ляпка юркнет» (В. Баранов. «Горький без грима. Тайна смерти»).

«Все классики были современниками, но не все современники будут классиками» (Э. Кроткий. «Отрывки из ненаписанного»).

«Сама себя не узнаю...
Как же так? Как же так?
Всё, что любила, не люблю,
Враг мне друг, друг мне враг»
(И. Резник. «Шерлок Холмс»).

Синтаксический перевертыш может послужить творческим «ходом», создающим основу для целого литературного произведения. Так происходит, в частности, в стихотворении Андрея Вознесенского «Роща». Достаточно на минуту «перевернуть» отношения между человеком и природой — и появляется повод для сравнений и размышлений:

«Не трожь человека, деревце,
костра в нем не разводи...
Не бей человека, птица.
Еще не открыт отстрел...»

Активно используется хиазм в публицистических текстах, особенно в газетных и журнальных заголовках. Еще несколько примеров:

«Мы открываемся миру — мир открывается нам» («Известия». 1990. 8 октября).

«Жилище без людей. Люди без жилища» («Комсомольская правда». 1991. 4 июня).

«Мы нужны президенту, президент нужен нам» («Известия». 1991. 29 августа).

«Фотография с историей (или история с фотографией)» («Известия». 1991. 15 ноября).

«Мораль политики, политика морали» («Известия». 1993. 26 июня).

Нет ничего удивительного в популярности этого вида языковой игры: столь простым, можно сказать дешевым, способом достигается очевидный художественный эффект. Высказывание становится необычным, «остраненным», а читатель получает возможность сравнить исходный смысл с «перевернутым»...

Добавим, что иногда исходное высказывание, с «нормальным» порядком вещей, опускается, и читателю предлагается перевертыш в «свернутом», конденсированном виде — как результат уже проделанной мыслительной операции. Это примеры типа:

«Как хвост вертит собакой» (заголовок в газете «Известия», 1997, 30 января; ср. предшествующее ему в нашем сознании выражение *Собака вертит хвостом*).

«Все правила — из исключений» (заголовок в «Литературной газете», 1985, 27 ноября; он воспринимается на фоне нормального *Все исключения — из правил*).

«Россия, которая нас потеряла» (заголовок в еженедельнике «Московские новости», 1993, № 11; ср. естественную предпосылку к данному выражению: *Россия, которую мы потеряли*).

Для того чтобы понять высказывания, подобные приведенным, слушающий (в конкретном случае — читатель) вынужден «проецировать» их на фон более естественных «предшественников», он как бы восстанавливает в уме нормальный порядок вещей. Но в конечном счете необычность таких фраз основана на том, что слова в них выполняют не свои, а чужие синтаксические функции. И в данном плане примеры «свернутых перевертышей» смыкаются с приводившимися ранее примерами нетипичного, окказионального заполнения синтаксических позиций (типа *Трава чистила ботинки* и т.п.).

Обратим внимание на то, что при хиазме лексемы обмениваются не только своими синтаксическими позициями (т.е. функциями, ролями), но и позициями в буквальном смысле слова (т.е. своим местом во фразе). Иначе говоря, в высказывании происхо-

дит перестановка слов (или по крайней мере корней). Это удобный повод для того, чтобы перейти к очередной разновидности языковой игры — нарочитому изменению порядка слов. В сущности, необычный порядок слов — его называют инверсией — довольно частое явление в нашей речи.

В частности, прилагательное-определение, расположенное после определяемого существительного, мы можем встретить в фольклорных текстах (*сума переметная, рябина кудрявая*), в официальных документах (*мыло хозяйственное, фен электрический*), в разговорной речи (*пьянь подзаборная, волки поганые*) и т.д. Но все это игрой не назовешь. Игра начинается там, где инверсия явно переступает отведенные для нее границы, заставляя читателя решать словесную головоломку, образуя нарочитую двусмыслицу или бессмыслицу.

К примеру, в юмореске С. Лившина «К норд-весту от азимута» одни и те же слова составляют друг с другом всевозможные подчинительные сочетания. Сначала говорится: *Настоящее слияние с природой — это романтика поиска тревоги риска*. Потом: *Чуть свободная минута — крюки в руки, ледорубы в зубы, и вперед, навстречу риску поиска тревоги романтики*. Далее: *И мы запели наши заветные песни о тревоге романтики поиска риска... и наконец: И последнее, что я помню, это слезы жалости к тем, кому незнаком риск поиска романтики тревог...* Прямо скажем: подобное жонглирование словами, «перетасовывание» их в рамках короткого, в общем-то, текста не служит его смысловому развитию. Таким образом автор пародирует штампованные, шаблонные произведения о пользе туризма.

Другие примеры.

«Лейтенант сказал, что эти занятия чисто педагогические цели преследуют» (А. Зиновьев. «Зияющие высоты»).

Ничем не мотивированная инверсия «ударяет» по ожиданиям читателя, заставляет его еще раз перечитать фразу. И никаких, кроме как «игровых», оснований он не находит.

А в цитате из стихотворения Дмитрия Пригова «Франц Кафка» представлен другой вид игры с порядком слов:

«Посмотри, как жизнь идет —
Встречи разные, разлучки...
Пьяного ведут под ручки,
Вот дитя бежит за пьяным,
Как проглядывает явно
Перст судьбы сквозь этот случай!»

Здесь последовательность слов внутри каждого отдельного предложения совершенно нормальна — не придерешься! Но как только предложения сплетаются, объединяются в общий текст, это вводит некоторые поправки на размещение слов внутри каждого из них. В частности, если в предыдущем предложении было сказано: *Пьяного ведут под ручки...*, то в следующем слово *пьяный* должно было бы уже находиться в начале: *За пьяным бежит дитя...* Это значит, что поэт тут нарушил правило так называемого актуального членения высказывания, размещения в нем двух частей — известной и новой. Вроде бы негрубое нарушение, и все же глаз читателя на нем спотыкается — чего, собственно, и добивался автор!

Третий пример. Строка из стихотворения Новеллы Матвеевой «Ложь рифмоплета тщеславия для...» послужила Михаилу Владимирову поводом для целой пародии:

«Ли есть поэзия в этих стихах,
Ли нет ее — мне судить том не о.
Ся пусть читатели выскажут все:
Коль, через, чрез, у, во, за и из-за!»

Суть пародии — в напоминании о том, что служебные слова — предлоги и частицы — строже, чем другие лексемы, ограничены в своем размещении во фразе. Говоря по-другому, есть языковые правила, которые позволительно нарушать только в игре.

Игра на синтаксическом уровне, с синтаксическими единицами чрезвычайно разнообразна. Она может быть связана не только с особенностями речевой реализации моделей предложения, но и с грамматической сочетаемостью отдельных слов между собой. Дело в том, что говорящий может — под давлением тех или иных обстоятельств — отступить от традиционных норм соеди-

нения слов друг с другом. (Чаще всего это касается глагольного управления, т.е. способа подчинения глаголу зависимого от него существительного.) Например, для современного русского языка характерны такие образцы глагольно-именных сочетаний, как: *поговорить с соседом, скакать на одной ноге, спастись от опасности, перетолковать обо всем, царапаться когтями* и т.п. На этом фоне кажутся странными следующие примеры из художественных текстов:

«— И он их всех зовет “котиками”, — вспыхнула Мессалина. Бухгалтер сопел, чесал в бороде карандашом и наконец сказал:
— О-о-о! Я завтра с ним поговорю! Пфуй! Я поговорю... котика!»
(Н. Тэффи. «Сатир»).

«Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и он спросил:
— Ты что скачешь?
А я сказал:
— Я скачу, что ты мой папа!» (В. Драгунский. «Что я люблю»).

«— Зря ты ехала. Я тебя обманул. Я тобой спасался.
— Я помогу тебе» (В. Токарева. «Хэппи-энд»).

«Я тобой перетоскую,
Переворошу,
По тебе перетолкую,
Что в себе ношу»
(Р. Казакова. «Ненаглядный мой»).

«...а через тыщу лет и более того
Ты вскрикнешь, и в Тебя царапнется
шиповник...»
(А. Вознесенский. «Романс»).

Можно по-разному трактовать такие примеры синтаксических отклонений. Можно, в частности, считать, что перед нами — проявление сдвигов в значении слова, отражающихся в его синтаксическом поведении. Это значит: у глагола постепенно (или окказионально) меняется значение — и это приводит к измене-

нию его сочетаемости. В частности, *Я поговорю... котика* означает «я покажу ему котика» или «я убью этого котика!»; *Я скачу, что ты мой папа* — «я радуюсь (счастлив), что ты мой папа»; *Я тобой спасался* — «я тобой прикрывался (защищался)» и т.д. Можно — это второй вариант — считать, что перед нами результат упорядочения лексико-грамматической системы: глагол меняет свое синтаксическое поведение по аналогии с формальными признаками других глаголов, с которыми он образует единую смысловую группу. Так, в приведенной выше цитате из В. Драгунского слово *скакать* сближается с группой глаголов, обозначающих выражение эмоций (*кричать, восклицать, радоваться, восхищаться* и др.), и получает соответствующее управление. Наконец, в-третьих, можно видеть в данных примерах нарушение норм глагольного управления, обусловленное «игровыми» причинами, своего рода синтаксическое «кривлянье»: пусть неправильно, зато необычно, интересно или смешно!

Частный случай «игры с управлением» — окказиональное расширение круга переходных глаголов. Проще говоря, глагол, который нормально употребляется без прямого дополнения, т.е. зависимого существительного в винительном падеже, неожиданно в контексте получает таковое. Причем, в отличие от только что приводившихся примеров, присоединение прямого дополнения в качестве зависимой формы — не индивидуальное и случайное, а массовое и регулярное явление, и связано оно с выражением так называемых каузативных отношений. Каузировать — значит «побуждать к какому-то действию» или «делать так, чтобы какое-то действие совершилось». Сравним русские глаголы *кормить* и *есть*, *поить* и *пить*, *будить* и *просypаться*, *пугать* и *бояться*, *останавливать* и *останавливаться*, *гнуть* и *гнутьcя* и т.п. — во всех этих парах представлены именно каузативные отношения. В частности, *Мать кормит ребенка* значит «мать заставляет ребенка есть», *Проводник будит пассажира* — «проводник заставляет пассажира проснуться» и т.д. Причем, как мы видим, каузативные отношения могут быть выражены совершенно разными словами (*кормить* и *есть*, *пугать* и *бояться*), а могут — словами, производными от одного корня (*поить* и *пить*, *останавливать* и *останавливаться*)...

В общий ряд способов выражения каузативных отношений входит и противоположение переходного и непереходного глаголов, ср.:

Рабочий катит тележку — Тележка катит;
Хозяйка оттаяла рыбу — Рыба оттаяла.

Вообще-то этот способ выражения каузативных отношений (через наличие или отсутствие прямого дополнения) не очень популярен в русском языке. Но при установке на языковую игру он чрезвычайно активизируется. Это значит, говорящий ощущает некоторую «незаконность» своих действий, он знает, что образуемая им конструкция не совсем правильна. Но запретный плод сладок... И вот образцы фраз, дословно взятых из разговорной речи: *Нас всех вступают в общество охраны природы*; *Снега нету, дождь весь его растаял*; *Не надо меня дрожать*; *Приходилось все время стоять кого-то в очереди* (т.е. «оставлять кого-то, чтобы он стоял в очереди»); *Она нас петляла-петляла, пока мы совсем не запарились*; *Вы обедали? Давайте я вас пообедаю* (т.е. «покормлю обедом»); *Не провисай живот* (мальчику, занимающемуся на турнике); *Кто бы меня встал? А потом назад посадил!* (здесь *встал* — в смысле «поднял»)...

Все эти высказывания, особенно в напечатанном виде (да еще собранные воедино) производят довольно странное впечатление. Но в живой речевой среде, в условиях непринужденного общения между родственниками, приятелями, знакомыми, они оказываются вполне на своем месте. По данному поводу уместно вспомнить слова Л.В. Щербы: «...Мы нормально этих ошибок не замечаем — ни у себя, ни у других: “неужели я мог так сказать?” — удивляются люди при чтении своей стенограммы...» (статья «О тroyком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании»). Действительно, все эти режущие глаз выражения — наша повседневная речевая практика!

Непереходные глаголы в «переходном» (т.е. каузативном) значении часто возникают путем так называемого обратного словообразования, а именно отнятием суффикса *-ся* от возвратного глагола. Так от *подружиться* может образоваться *подружить*, от *прикоснуться* — *прикоснуть*, от *обзавестись* — *обзавести*, от

становиться — становить и т.п. Еще примеры из разговорной речи: *Куда это мать ножницы запропастила? Ты мне тапочку свалил! Я чуть к уюту провод не прикоснул; Чуть меня вчера не надорвали — заставили, хотели заставить бочку катить, полную...*

Естественно, данный вид языковой игры находит свое отражение и в художественной литературе. Иллюстрации:

«Вам, говорит, надо сейчас ехать погреться. Я, говорит, вас в Крым махану...» (М. Булгаков. «Летучий голландец»).

«...Он находил злорадное удовольствие в пренебрежении к своим болезням. Он не хотел их нежить в постели» (А. Козачинский. «Зеленый фургон»).

«...Эрик Амперян спрашивал, Роман Ойра-Ойра отвечал; а я, не теряя драгоценного времени, загорал себе подмышки» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. «Сказка о Тройке»).

«Я его раскормила, я его и похудею. У Софьи Мироновны есть голливудская диета» (Н. Лабковский. «Медвежий душ»).

«— Что же это получается? — грустно сказал Чебурашка. — Строили, строили, и все напрасно.

— И совсем не напрасно, — возразила Галя. — Во-первых, мы подружили жирафу и обезьянку» (Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»).

«Замотанный фотограф не хотел сдаваться и пообещал:

— Одну секунду, сейчас я вспомню, кто еще... может выбежать или вылететь!

Тогда мальчик вздохнул и говорит:

— Не надо никаких зверей выбегать. Я и один тихо посижу» (Е. Шатко. «Ожидание»).

«Все недуги вам излечат,
Все условия создадут,
И работой обеспечат,
И семьей обзаведут»

(И. Иртенев. «Приглашение в Мытищи»).

Добавим, что, как и в предыдущих видах языковой игры, особый экспрессивный эффект здесь может со временем стираться; это значит, что то или иное синтаксическое отклонение становится для нас привычным, нейтральным. Так, лет 40 назад высказывание *Не он ушел, а его ушли* казалось необычным, оригинальным, выразительным. Сегодня же, если мы слышим или читаем, что «кого-то ушли» (т.е. уволили, выжили, заставили уйти), то уже, пожалуй, не находим в данном выражении ничего особенного. А выражения вроде *Гулять собак воспрещается; Соседка поступила дочь в институт; Отпроси сегодня ребенка из школы*, можно сказать, на наших глазах утрачивают эффект свежести и выразительности, приобретают обыденную разговорную окраску.

В целом же оказывается, что через языковую игру, через нарушение правил пробивает себе дорогу, постепенно «легализуясь», мощная внутриязыковая тенденция. Фактически мы имеем здесь дело с изменением содержания категории глагольной переходности, а может быть, и шире — с кардинальной перестройкой норм синтаксической сочетаемости в русском языке. Кроме того, на последних примерах легко убедиться, что игра с синтаксическими единицами так или иначе затрагивает интересы и других языковых сфер: лексики (изменение значения), морфологии (использование определенных грамматических форм слова), словообразования (активизация некоторых словообразовательных моделей) и т.д. Ничего удивительного в этом нет. В языковой системе все взаимосвязано, и языковая игра как своего рода коммуникативная «сверхзадача» только укрепляет данное единство дополнительными связями.

После всех этих рассуждений, основанных на идее целостности высказывания, взаимосвязанности всех его частей, может показаться странным, даже неуместным вопрос: а выделяет ли сам носитель языка такую единицу, как предложение, «работает» ли он с ней? В частности, всегда ли ясно, где кончается одно предложение и где начинается другое? И не надо думать, что вопрос о границах предложения — узкоспециальная и искусственная проблема, волнующая только филологов. Нет, она интересует и рядового носителя языка. Он ведь интуитивно, но достаточно четко осознает, что предложение «должно быть предложением», т.е.

должно отвечать некоторым критериям (а следовательно, оно составляет реальную единицу его психической и речевой деятельности). И именно потому, что говорящий хорошо знает, где положено быть границам предложения, он иногда позволяет себе «поиграть» с этими правилами. Речь идет прежде всего о явлении, именуемом парцелляцией (от французского слова, означающего «частица»). От высказывания то ли отчленяется, отсекается кусочек, который оформляется как самостоятельное высказывание, то ли, наоборот, к готовому предложению приписывается, прибавляется некоторый «довесок», совершенно несамостоятельный в смысловом отношении. В этом отношении парцелляция представляет собой «компромисс развернутости и компактности сообщения» (Ю.В. Ванников). Примеры:

«Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной» (В. Маяковский. «Я сам»).

«Били друг друга затылками по лбу, лбами по затылкам. Коленими» (М. Горький. «Жизнь Клим Самгина»).

«Наша “надклассовая” платформа вдруг лопнула. У нее обнаружили недоброжелатели, враги. В тот момент, как это ни странно, — не слева, а справа; но тем не менее — враги и противники с политической окраской. Сердитые. Злые» (Л. Успенский. «Записки старого петербуржца»).

«Они гоготали, взвизгивали, ржали. Долго. Бессмысленно. До икоты. До посинения» (Вал. Зорин. «Мистеры миллиарды»).

«Высоко в небе сквозь разорванные облака пронзительно светила звезда. Может быть, та самая, которую открыл рыжий Кашкаров» (В. Токарева. «Фараон»).

Природа парцелляции насквозь парадоксальна. С одной стороны, это явление, свойственное непринужденному и экспрессивному общению, т.е. в общем-то отвечающее условиям разговорной речи. С другой стороны, говорить о парцелляции, исследовать ее можно почти исключительно в применении к письменным текстам, потому что в устной речи установить границы предло-

жения вообще проблематично: там речевой поток членится на части на основании каких-то иных критериев — в частности, интонационных. Что же касается письменных текстов, то здесь существуют четкие сигналы границ предложения: знаки препинания (точка, запятая и др.), заглавная буква в начале и т.д. И вот эти-то незыблемые критерии и пытается распатать говорящий (пишущий). Своей игрой он как бы балансирует на грани возможного, не давая понять: то ли перед нами одно предложение, то ли несколько, то ли самостоятельное целое, то ли его часть...

В сущности, носителю языка хорошо известно, что разное интонационное и пунктуационное членение высказывания может сильно повлиять на его смысл. (Вспомним для примера детские загадки-шутки типа *Казнить, нельзя помиловать* или *Казнить нельзя, помиловать*.) Но в данном случае это членение идет вразрез с правилами внутренней организации предложения, с возможностями его собственной структуры; происходит ломка каких-то устоявшихся синтаксических критериев. Причем говорящий (пишущий), почувствовав свою «безнаказанность», может пойти на крайности: он может отделять точками практически любую часть высказывания. Примеры из художественной литературы:

«— Сдали? — бушевал Персиков.

— Сдала.

— Расписку мне.

— Да, Владимир Ипатьич. Да неграмотный же председатель!..

— Сию. Секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!» (М. Булгаков. «Роковые яйца»).

«И на двор летит из конюшни

Серый. В яблоках. Жеребец» (В. Корнилов. «Убийца»)

«И снова идешь

среди воя собак

Своей. Привычной. Поступью. Тигра» (И. Сельвинский. «Читатель стиха»).

Внутренняя противоречивость парцелляции (Устная или письменная речь? Одно предложение или несколько? Компактность или развернутость сообщения?) делают ее одним из самых

сильных средств в речевой палитре современной публицистики. Приведем два характерных примера из газетных текстов.

«Советская кинематография понесла. Потерю. Невосполнимую. Эльдар Рязанов снял плохой фильм. С великим количеством повторов и цитат из самого себя. В его совместном с Александром Тиммом сценарии использовано все, что использовано уже было. И не раз» («Известия». 1997. 28 марта).

«Но в городе идет евроремонт, и высокие лепные потолки пустых комнат лишь подчеркивают зябкую букашечность новых лишних. Не знающих проблем. Льющих с балкона в Неву птичье молоко. Принесенных ветром» («Известия». 1998. 4 декабря).

Если, как мы видим, членение высказывания в речи содержит в себе некоторый привкус искусственности или «запредельности» (что вполне соответствует принципам языковой игры), то обратный процесс — интеграции, или объединения высказываний под «одной крышей», — выглядит значительно более естественным. Результатом этого процесса являются хорошо нам знакомые сложные (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. Только следует сразу оговориться: сложные предложения в своем классическом виде, с разнообразными союзами и прочими средствами соотнесения частей, — принадлежность скорее письменных текстов.

Это здесь мы пишем и читаем примерно следующее: *Мария жила в доме, который построил еще ее дед и перестраивал, вернувшись с войны, отец, когда оказалось, что разросшейся семье стало тесно в двух комнатках...* и т.п. В устной же речи правила построения сообщения иные. Тут мы скажем что-нибудь вроде: *Мария жила в доме — дед еще построил, а отец с войны вернулся — перестраивал, тесно стало в двух комнатках — семья-то разрослась...* Придаточные предложения в устной речи вообще встречаются редко. (Поэтому, наверное, и восклицает современный прозаик: «Не верьте, не верьте, читатели, придаточным предложениям! В придаточных предложениях отлагаются соли...» — Вик. Ерофеев. «Приспущенный оргазм столетья».) Стало быть,

процесс интеграции предложений мы будем иллюстрировать примерами из письменных текстов, и рассуждая здесь о деятельности говорящего и слушающего, мы уже определенно будем иметь в виду пишущего и читающего.

В сознании каждого человека заложено интуитивное представление о естественном (и оптимальном) размере предложения и степени его синтаксической сложности. Это представление опирается на предыдущий речевой опыт носителя языка и, по-видимому, соответствует некоторым средним величинам, которые, кстати, давно подсчитаны. Так, если измерять среднюю длину высказывания в словах («от пробела до пробела»), то для современной русской художественной прозы данный показатель составляет чуть больше 9 единиц применительно к простому предложению и около 18 — применительно к сложному (Г.А. Лесскис). С длиной предложения определенным образом связана и степень его внутренней сложности. Во всяком случае, если пишущий наизывает одну конструкцию на другую, создавая сверхдлинное и сверхсложное высказывание, то читатель наверняка воспримет это как прием — игру, которую ему предлагается разделить и поддержать. Классическим, можно сказать — хрестоматийным, образцом такого синтаксического «плетения словес» является английское народное стихотворение «Дом, который построил Джек». Конец его (в переводе С. Маршака) выглядит так:

«Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек».

Известно, что есть писатели, тяготеющие к усложненному синтаксису, к разветвленному, синтаксически запутанному конструкциям. В русской литературе последнего полувека это К. Си-

монов, Ю. Бондарев, В. Катаев и др. Есть, очевидно, и читатели, которым по сердцу такой стиль повествования. И все же можно считать, что существует некоторая — пусть негласная, интуитивная и размытая — статистическая норма, резкое нарушение которой не проходит незамеченным. Не случайно подобные синтаксически усложненные тексты подвергаются пародированию, высмеиванию, можно сказать — передразниванию. Приведем один такой пример: пародию на прозу Константина Симонова. Она называется «Гранатами не бросаются» (авторы — Э. Гай, Б. Ганин).

«Синицын стоял на опушке по-мартовски пустынной березовой рощи в накинута на плечи трофейном полушубке и думал о предстоящем наступлении, которое должно было вот-вот развернуться широким фронтом на этих неразличимых в ночной сыроватой мгле голых полях и левее, там, где большая река молча лежала во льдах, и за рекой, на тех огромных пространствах, что не умещались на его подробной карте, но были зато на других картах, у других людей, которые так же тщательно готовились к этому наступлению, потому что понимали его значение и масштабы и нисколько не удивлялись небольшой задержке его, ибо, во-первых, такие вещи бывали и в прошлые годы, а во-вторых, причину задержки следовало бы искать там, наверху, за тысячу километров отсюда, но никому и в голову не приходило об этом думать, так как все понимали, что оставшиеся часы лучше использовать для дела, еще раз проверить разработанные до мелочей планы, в которых главное место отводилось новой мощной технике, что бесконечными колоннами катилась по ночным дорогам, дерзко нарушая все каноны маскировки басами моторов и грозным лязгом гусениц, долетавшим даже до опушки, где долго стоял в трофейном полушубке Синицын и размышлял о том, что у него опять вот распустились почки, и о нехватке автоматов, которая всегда возникает во время таких наступлений, так как потребность в них бог знает почему сразу увеличивается, пока до него не донеслись оглушительные залпы с реки, и тогда он с тревожным облегчением подумал: “Наконец-то!”, твердо сознавая, что это лопается лед и начинается наступление весны».

Самое удивительное в этой пародии — то, что текст построен безупречно грамотно и в то же время неминуемо вызывает смех, особенно когда читатель осознает, что автор уже пошел «по второму кругу». Действительно, подобный текст теоретически мо-

жет быть бесконечным, если не бояться того, что читатель, чье восприятие рассчитано на значительно меньшие синтаксические отрезки, может потерять терпение...

Впрочем, усложненный синтаксис конкретного литературного произведения может иметь под собой и свою «идеологию», свои концептуальные основания. Писатель стремится таким способом отобразить непрерывный поток мыслительной деятельности, сложность ассоциативных цепочек, не укладывающихся в рамки обычных предложений с их знаками препинания. В мировой литературе известны примеры, когда целое художественное произведение или его значительная часть оформлялись как одно предложение. Скажем, повесть польского писателя Ежи Анджеевского «Врата рая» — это около сотни страниц текста; но точка стоит лишь на последней странице. Конечно, это тоже своего рода игра с читателем, ломка его зрительных стереотипов, основанных на усвоенных синтаксических правилах. Но, понятно, за таким речевым штукарством должны стоять солидные концептуальные оправдания... Мы же здесь, учитывая специфику этой книги, приведем пример совсем из другой, «несерьезной» области, хотя суть языковой игры остается той же самой. Итак, начало юморески П. Олева «Жизнь не удалась!»:

«Да, пора признать, что жизнь моя не удалась и опять придется опоздать, а может быть, и совсем не пойти на работу, так как сегодня прорвет в ванной трубу — всю ночь капала вода, спать не давала, да и как ей не лопнуть, если она уже два месяца не прорывалась, а слесарь профилактику делать отказывается, говорит, что когда лопнет, тогда и придет, а сам я ничего починить не могу, только хуже получается, если пробую, а сосед-умельца не дозовешься помочь, заходит изредка, когда надо по телефону позвонить, чтобы жена не слышала, а она все равно все слышит, потому что подслушивает и потом мне же скандал устраивает, мол, зачем я ему разрешаю и его гнусные делишки покрываю, а я ничего не покрываю, я вообще не знаю, с кем он и о чем разговаривает, потому что ухожу на кухню и бью посуду, то есть я не специально ее бью, пытаюсь вымыть и разбиваю, но она не верит и твердит, что мы с ним заодно и, если это не прекратится, то она напишет мне на работу, что я разрушаю молодую семью, а там на меня уже давно косо смотрят, так как, помимо всего прочего, такие письма на меня не новость, правда, в прошлый раз другой сосед написал, с нижнего этажа...»

Такая речевая шутка, в сущности, призвана напомнить нам, что и при интеграции предложений нужно соблюдать меру.

Вообще же синтаксис дает говорящему массу возможностей и поводов для языковой игры. Буквально каждое синтаксическое правило (например, требование опоры на синтаксическую модель предложения при построении высказывания, необходимость учета законов грамматической сочетаемости слов и их (слов) размещения во фразе и т.д. и т.п.) порождает свои речевые «антипримеры» — нарушения, на которые идет говорящий в своем стремлении придать тексту особую экспрессию и тем самым оказать на слушающего дополнительное воздействие. Преследуя те же цели, он может также интенсивно эксплуатировать некоторые типы моделей предложения (в частности, номинативные или безличные, о которых уже шла речь в одной из предыдущих глав); в этом же ряду, очевидно, находится и «игровое» использование парцелляции и интеграции предложений.

О КОНТЕКСТЕ, ДИАЛОГЕ И ПРИНЦИПЕ КООПЕРАЦИИ

Говоря о возможностях семантического развития слова, мы упоминали об искусственных высказываниях, которые придумывают филологи, чтобы показать, что грамматическая правильность сообщения не связана с его осмысленностью: из самых «несочетаемых друг с другом» слов можно построить грамматически правильную фразу (типа уже упоминавшейся *Кентавр выпил круглый квадрат*). Самый известный пример такого рода принадлежит американскому лингвисту Ноаму Хомскому, создателю теории генеративной («порождающей») грамматики. По-русски высказывание, придуманное Хомским, выглядит так: *Бесцветные зеленые идеи яростно спят*. (В некотором смысле это аналог уже знакомого нам примера с «глокой куздрой», только здесь все корни слов — настоящие.) Эта фраза, ставшая, можно сказать, знаменем целого лингвистического направления, приобрела вместе с тем широкую популярность как образец бессмысленного высказывания. Действительно, как это можно быть одновременно бесцветным и зеленым? Как это идеи могут спать, да еще яростно?..

И тем не менее время от времени лингвисты задаются вопросом: а так ли уж безнадежно бессмысленна эта фраза? Нельзя ли включить ее в некоторый контекст, который сделает ее понятной? Вот, например, какой вариант предложил И.И. Ревзин:

«Идея яростно спит,
Ворочается во сне.
Идея в висках стучит,
Нашептывая мне».

(Можно придумать и продолжение, которое бы как-то примирило «бесцветность» с «зеленостью».) Главное же для нас — в том, что контекст обладает способностью «перемалывать», переваривать любую фразу, даже самую странную! И это касается не только искусственно созданных высказываний, но и вполне реальных, встречающихся в ежедневном речевом обиходе. Мы чи-

таем в газете: *Французы не собираются присоединяться к Франции, немцы — к Германии, итальянцы — к Италии* («Известия». 1998. 3 апреля). Что за чертовщина? Ничего не понять! Почему французы должны присоединяться к Франции и т.д.? И только более широкий контекст проясняет, что речь в газетном отрывке идет о Швейцарии, в которой отдельные нации умудряются жить между собой в согласии и дружбе. Таким образом, контекст содержит в себе предпосылки, необходимые для правильного понимания высказывания. Но не только в этом его сила.

Одно и то же высказывание, произносимое разными людьми в разных ситуациях, может приобретать совершенно различный смысл. Вот как писал об этом А.М. Пешковский: «Так за столом мы спрашиваем: «Вы кофе или чай?»; ...видя, что перо у собеседника не пишет, скажем: «А вы карандашом!» и т.д. ...Карандашом можно не только писать, им можно заткнуть отверстие, подрисовать брови, растолочь обратной стороной кристалл и т.д. и т.д. Фраза: «А вы карандашом!» — может иметь соответственно этому множество значений. Точно так же вопрос: «Вы кофе или чай?» — имеет в устах хозяйки одно значение, в устах встретившихся в магазине знакомых, делающих закупки, — другое, в устах лекторов по технологии, распределяющих между собой лекции о культурных растениях, — третье и т.д. и т.д.» («Объективная и нормативная точка зрения на язык»).

Бывает, что говорящий специально настраивает слушающего на одно прочтение сообщения, а затем, дальнейшим контекстом, разрушает складывавшийся до тех пор смысл. Это очередная разновидность языковой игры, основанная на эффекте обманутого ожидания. Такой прием широко распространен в русском фольклоре. Многие шуточные афоризмы, прибаутки, дразнилки строятся по принципу антитезы (противопоставления). Первую часть выражения составляет более или менее законченная фраза с положительной или нейтральной оценкой чего-либо, а во второй части контекст напрочь разрушает впечатление от первой части. Приведем примеры из сборника разговорных выражений «Живая речь» (авторы-составители — В.П. Белянин, И.А. Бутенко).

«Жизнь бьет ключом — и все по голове.
Тише едешь — дальше будешь. От того места, к которому едешь.
Дети — цветы жизни... на могиле родителей.
Моряк — с печки бряк.
Кутить так кутить! Буханку черного хлеба и ведро воды!
Советское значит отличное... от всего другого.
Ешьте, ешьте, дорогие гости. А на базаре всё так дорого...
Я вас люблю и уважаю, беру за хвост и провожаю.
Малый не дурак... и дурак немалый.
Будьте как дома; но не забывайте, что вы в гостях».

Тот же прием используется в художественной литературе. Так, выражение *Часы на Спасской башне бьют*, попадая в следующем стихотворении в неожиданный контекст, получает совершенно иной смысл (и структуру):

«На хорах певчие блюют,
И с криками “ура!”
Часы на Спасской башне бьют
Бухие любера»

(И. Иртенев. «Елка в Кремле»).

Стало быть, если лингвист интересуется, как формируется высказывание, как реализуется в речи модель предложения, то изучать этот процесс следует не применительно к отдельному (изолированному) сообщению, а принимая во внимание также особенности его непосредственных соседей по тексту. Потому что говорящий в каждый конкретный момент своей деятельности находится под влиянием того, что уже было произнесено (написано), и того, что предположительно последует за данной фразой, — все это отражается в тексте. По мнению некоторых ученых, мы вообще не можем утверждать, возможно или невозможно то или иное высказывание, пока не поместим его в его «родную» среду (В.А. Звегинцев и др.).

Предложение, входя в больший контекст, т.е. становясь элементом целого текста, получает дополнительные возможности для своего «игрового» использования. Но здесь мы уже выходим за рамки синтаксиса как такового и вступаем в сферу «сверхсинтаксиса», т.е. лингвистики текста.

В самом общем виде производимые человеком тексты можно поделить на монологические (принадлежащие одному говорящему) и диалогические (образуемые репликами разных говорящих). В научной литературе давно уже отмечалось, что нормальное речевое общение диалогично. Даже когда человек занят, казалось бы, монологической речевой деятельностью — читает доклад, пишет письмо и т.д., — он все равно ищет поддержки у воображаемого собеседника, предвидит его возможную реакцию, нередко спорит сам с собой и т.д. В этом смысле позволительно говорить о большей естественности диалога. Вот что писал об этом Л.П. Якубинский, один из замечательных лингвистов первой половины XX века: «Диалог, являясь несомненным явлением культуры, в то же время в большей мере явление природы, чем монолог» («О диалогической речи»).

Нетрудно представить себе ситуацию, в которой два человека беседуют, поочередно выражая свое мнение и развивая некоторую общую тему. Например, семья собирается на вокзал:

- «— Я практически готов. А ты?
- Я тоже, осталось только сумки застегнуть. Вызывай такси.
- Я думал, на трамвае поедем.
- Времени маловато, уже семь. А поезд в 20.30.
- А по-моему, в полдесятого. Проверь-ка.
- Чего проверять, вон на билете — 20.30.
- Звоню, звоню...
- И скажи, корпус два. А то опять к тому дому подъедет...»

Но скажем прямо: диалог как упорядоченный (поочередный) обмен репликами, содержащими равноважную для его участников и тематически связанную информацию, — это скорее идеальный и в общем-то нечастый случай. А в реальной жизни наблюдаются всевозможные отклонения от этого «идеала», которые — что для нас важно — создают основу и повод для языковой игры. Рассмотрим эти отклонения подробнее.

Ситуация первая: собеседники разговаривают каждый о своем, фактически не слушая друг друга. Это так называемый «разговор глухих», нашедший свое отражение в анекдотическом примере:

- «— Ты на рыбалку?
- Нет, я на рыбалку!
- Жаль, а я думал, что ты на рыбалку...»

Или еще более известный фольклорный текст:

- «— Здорово, кума!
- На рынке была.
- Аль ты глуха?
- Купила петуха.
- Прощай, кума!
- Полтину дала...»

Это, кстати, не столь уж необычная в нашей жизни ситуация. Говорящих может быть даже несколько, более двух (в таком случае перед нами не диалог, а «полилог»), и каждый может говорить о своем, не слыша и не слушая собеседника. На этом принципе целиком построен юмористический рассказ Н. Тэффи «Семейный аккорд». Приведем здесь его начало.

«В столовой, около весело потрескивающего камина, сидит вся семья.

Отец, медленно ворочая языком, рассказывает свои неприятные дела.

— А он мне говорит: “Если вы, Иван Матвеевич, берете отпуск теперь, то что же вы будете делать в марте месяце? Что, говорит, вы будете делать тогда, если вы берете отпуск теперь?” Это он мне говорит, что, значит, почему я...

— Я дала задаток за пальто, — отвечает ему жена, шлепая пасьянс, — и они должны сегодня пальто прислать. Не поспеть же мне завтра по магазинам болтаться, когда я утром на вокзал еду. Это надо понимать. Это каждый дурак поймет. Вот выйдет пасьянс, значит, сейчас привезут.

— И если я теперь не поеду, — продолжает отец, — то, имея в виду март месяц...

Дочка моет чайные ложки и говорит, поворачивая голову к буфету:

— С одной черной шляпой всю зиму! Покорно благодарю. Я знаю, вы скажете, что еще прошлогодняя есть. В вас никогда не было справедливости...

— Десятка, пятерка, валет... Вот, зачем пятерка! Не будь пятерки, — валет на десятку, и вышло бы. Не может быть, чтобы они, зная, что я уезжаю, и, опять-таки, получивши задаток...

— А Зиночка вчера, как нарочно, говорит мне: “А где же твоя шляпка, Сашенька, что с зеленым пером? Ведь ты, говорит, хотела еще с зеленым купить?” А я молчу в ответ, хлопая глазами. У Зиночки-то у самой десять шляп.

— Так и сказал: “Если вы, Иван Матвеич, надумали взять отпуск именно теперь, то что именно будете вы...”

— Одна шляпка для свиданий, одна для мечтаний, одна для признаний, одна для купаний — красная. Потом с зеленым пером, чтоб на выставки ходить.

— Врут карты. Быть не может. Разложу еще. Вон сразу две семерки вышли. Десятка на девятку... Туз сюда... Вот этот пасьянс всегда верно покажет... Восьмерка на семерку... Да и не может быть, чтоб они, получивши задаток, да вдруг бы... Двойку сюда...

— А когда Зиночкина мать молода была, так она знала одну тетку одной актрисы. Так у той тетки по двадцати шляп на каждый сезон было. Я, конечно, ничего не требую и никого не попрекаю, но все-таки можно было бы позаботиться».

Конечно, если смотреть на такой полилог «изнутри», глазами его участников, то можно и не заметить всей его противостественности — настолько мы к этому привыкаем. Но с позиций писателя или читателя это несомненно прием: сознательное доведение до абсурда принципов речевого общения (и картины семейной идиллии!). Осуществляется же оно, как мы видим, несложными языковыми средствами: тематической разнородностью реплик, отсутствием скреп (связок) между ними и т.п.

Кстати, данный прием — несогласованность реплик персонажей между собой — используется многими русскими художниками слова, от Л. Толстого и А. Чехова до В. Аксенова и В. Сорокина... Юрий Олеша, рассуждая в одной из своих статей о принципах построения пьесы, называл такую «разноголосицу» свойством обыкновенной человеческой речи. Прочитируем:

«Нужно попробовать применить в пьесе обыкновенную человеческую речь — рваную, заикающуюся речь, с мгновенным перескакиванием с одной темы на другую.

Обедают.

М у ж (*к Маше*). Ты что, постриглась?

М а ш а. А ты разве не видел? Вчера.

М у ж. Доктор Гурфинкель совсем... того...

О т е ц. Осторожно, Маша, ляпнешь на скатерть. Я всегда говорил, что он сумасшедший.

М а ш а. А не коротко постриглась?

О т е ц. Что это значит — театральный врач?

М у ж. Он вчера целую ночь просидел на бульваре. Почему у нас никогда нет спичек?

М а ш а. Вы придираетесь к нему. Он очень хороший. Я только что видела спички.

О т е ц. Смотри, кисель все-таки густой получился...»

Данный текст, очевидно, значительно ближе к «идеальному» полилогу, чем предыдущий, — во всяком случае здесь собеседники хоть частично учитывают интересы друг друга. И все же симптоматично это замечание писателя: «нужно попробовать применить...» — он сознает, что это прием!

Следует также иметь в виду, что за подобной «разноголосицей», тематической разнородностью и разобщенностью реплик в диалоге или полилоге может скрываться обмен определенной информацией. Только эта информация спрятана, зашифрована и рассчитана на догадливого слушающего. Вот одна характерная цитата — из повести Ю. Алексеева «Бега»:

«Карина дважды прогулялась вдоль виноградной беседки. Бурчалкина там не наблюдалось. Тогда Карина зашла к хозяйке и завела с ней несколько туманный, но вполне понятный обоим разговор.

— Красивая у вас беседка, — сказала она, поглядывая в окно.

— Кто же его знает, — сказала хозяйка. — Он ведь сегодня не ночевал.

— В Сочи веселее, но плохой пляж, — сказала Карина раздраженно.

— Может, еще и вернется, — сказала хозяйка.

— Но компания там замечательная. И потом гора Ахун...

— Да, он парень видный, — согласилась хозяйка.

— Если будете в Москве, заходите, — сказала Карина. — Обязательно. Вот телефон и адрес.

— Хорошо, я ему передам, — сказала хозяйка и сложила записку вчетверо.

Поговоривши таким образом, собеседницы потерлись щеками и разошлись».

Второй вид отклонений от правил «идеального» общения, — это диалог между собеседниками, имеющими разную степень речевой свободы или разную степень заинтересованности в самом диалоге. Скажем, один из говорящих общается по собственной инициативе, а другой — вынужденно. Типичный случай такого «псевдиалога» — общение командира и рядового, когда первый задает разнообразные вопросы, отдает приказы, делает замечания и т.д., а второй только отвечает: «Так точно, товарищ полковник»; «Слушаюсь, товарищ полковник»; «Есть, товарищ полковник»... Но вот пример более интересный, из письма французского писателя Гюстава Флобера к его сестре Каролине:

«К о н с ь е р ж к а. ...Принесла вам спички, сударь, вам, наверно, нужны?

Я. Да.

К о н с ь е р ж к а. Вы их столько жжете. Так много трудитесь, сударь. Ах, сколько вы трудитесь! Я бы так не могла, прямо вам скажу.

Я. Да.

К о н с ь е р ж к а. Скоро уж поедете домой. И правильно сделаете.

Я. Да.

К о н с ь е р ж к а. Вам полезно будет подышать воздухом — ведь с тех пор, как вы здесь, вам, конечно, конечно...

Я. Да». И т.д. (перевод Е. Лысенко).

Здесь консьержка пытается втянуть писателя в разговор, а тот всячески этому сопротивляется (быть может, ему это неинтересно или он просто занят своим делом и т.д.), а потому отвечает максимально скупой, односложно. Помещенный в литературный контекст, такой диалог представляет собой очередную разновидность игры с читателем: за нарушением стандартов речевого общения скрываются дополнительные цели говорящего, и читатель испытывает радость того, что он эти цели разгадывает...

Объектом литературного произведения может быть также ситуация, когда человек делает вид, притворяется, что он не понимает вопроса, — и сознательно сводит общение на нет. В част-

ности, герой юморески М. Зубкова «Трешка» (опубликованной под псевдонимом П.Е. Дант) предпочитает заслужить репутацию педанта, буквалиста и зануды, чем давать деньги в долг.

«Вот подходит недавно один:

— Слушай, ты не мог бы одолжить трешку?

— Мог бы, — говорю. И иду своей дорогой.

— Куда ты? — спрашивает.

— В булочную, — отвечаю.

— Мне трешка нужна, — говорит.

— Мне тоже, — говорю.

— Так ты не можешь одолжить, что ли? — спрашивает.

— Почему? Могу, — отвечаю.

— Ну? — говорит.

— Что — “ну”? — говорю.

— Чего же не одалживаешь? — спрашивает.

— Так ты же не просишь, — отвечаю.

— Как не прошу? Прошу, — говорит. — Только хочу быть вежли-

вым.

— А даже не поздоровался, — говорю.

— Ну здравствуй, — говорит. — Нет у тебя денег, что ли?

— Здравствуй, — говорю. — Есть деньги.

— Так не мог бы ты одолжить трешку? — спрашивает.

— Мог бы, — отвечаю. И иду своей дорогой.

Тут он вдруг как закричит!

— Подавись ты, — кричит, — своей трешкой!

Очень странный человек».

Здесь же стоит упомянуть о необходимости соблюдения при разговоре определенных социальных рангов и ролей. Дело в том, что каждая реплика в диалоге задается с определенной позиции и адресуется к определенной позиции. (В психологии общения эти позиции обобщенно и условно называются так: «взрослый», «родитель», «дитя». «Взрослый» спокоен и рассудителен, «родитель» самоуверен и требователен, «дитя» жизнерадостно и беспомощно.) И, положим, делая кому-то замечание (акция от «родителя» к «ребенку»), говорящий рассчитывает на ответную реакцию именно с той позиции, к которой была обращена его реплика. Если же эти ожидания не оправдываются, то, судя по

всему, в отношениях собеседников назревает конфликт, как в следующем примере из разговорной речи:

«— Куда девалась моя записная книжка? Зачем ты ее трогала?
— Далась мне твоя книжка! Сам следи за своими вещами!»

Иногда же нарушение речевой «табели о рангах» собеседников происходит в игровых, шутливых целях. Вот, например, в следующем диалоге говорящий обращается к собеседнику приятельски-фамильярно, на «ты», а в ответ неожиданно получает сухую казенную отговорку (разумеется, на «вы»); затем все обобщается шуткой:

«Кибрит идет по коридору... Входит к Знаменскому.

Тот поднимает голову от стопы бумаг, переложенных тут и там закладками.

— Ничего, если я тебя оторву? — спрашивает она.

— А вы по какому вопросу? — бюрократическим тоном вопрошает Пал Палыч.

— Да по служебной надобности. Не угодно ли вам сплясать, товарищ майор?» (О. Лаврова, А. Лавров. «Пожар»).

Следующий вид отклонений от «идеального» диалога касается содержательной стороны общения. Бывает, что собеседники говорят друг другу о том, что каждому из них и без того известно. Происходит, можно сказать, диалог ни о чем. Пример из повести В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»:

«Помолчали. Потом Чонкин посмотрел на ясное небо и сказал:

— Сегодня, видать по всему, будет вёдро.

— Будет вёдро, если не будет дождя, — сказал Леша.

— Без туч дождя не бывает, — заметил Чонкин.

— А бывает так, что и тучи есть, а дождя все равно нету.

— Бывает и так, — согласился Леша.

На этом они расстались».

Хотя внешне данный разговор кажется бессмысленным, фактически он выполняет довольно важную функцию. Ученые на-

зывают ее формированием межличностных связей в малой группе. Это значит, собеседники таким способом подтверждают и укрепляют установившиеся между ними отношения. Для данных целей подходит обмен репликами на любую тему; сам факт общения важнее, чем его содержание. Вспомним бабушек на скамейке возле дома, перемывающих косточки соседям или обсуждающих коллизии телесериала, болельщиков, ожесточенно спорящих после прошедшего матча, подростков, делящихся новостями из области поп-музыки... Во всех этих и подобных случаях человек не просто разговаривает — он регулирует состав своего ближайшего окружения и обозначает свое собственное место в нем.

В самом простом варианте такой общественный ритуал сводится к обмену так называемыми этикетными репликами. Например: — *Привет!* — *Здорово.* — *Как дела?* — *Нормально. А что у тебя?* — *Да все по-старому...* и т.д. Беда, если человек не понимает, что «Как дела?» — это этикетное выражение, вовсе не требующее рассказа о реальных делах. Именно такая ситуация обыгрывается в произведении Аркадия Аверченко «День человеческий»: его герой неадекватно реагирует на стандартное приветствие. Протицируем начало рассказа (точнее, его фрагмент).

«Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу.

Увидев меня, он расплывается в изумленную улыбку (мы встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бросает на ходу:

— Как поживаете, что подельваете?

И делает движение устремиться дальше.

Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:

— Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу... Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать... Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное — оказывается, пустяки... Поставил термометр, а он...

Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:

— Да... Так о чем я, бишь, говорил... Беру зеркало, смотрю в горло — красноты нет... Думаю, пустяки — можно пойти гулять. Выхожу... Вы-

хожу это я, вижу почтальон повестку несет. Что за шум, думаю... От кого бы это? И, можете вообразить...

— Извините, — страдальчески говорит Хрякин, — мне нужно спешить...

— Нет, ведь вы же заинтересовались, что я поддельваю. А поддельваю я вот что... Да. На чем я остановился? Ах, да...»

А вот еще пример, из другого юмористического рассказа. Здесь говорящий, произнося свои дежурные реплики, вообще не слушает ответов.

«— Как твои старики?

— Умерли оба...

Хвостухин подчеркнул что-то карандашом.

— Привет им передавай, когда увидишь.

— Будет исполнено...

— Только смотри, не забудь. А как твое здоровье?

— ...Плохое у меня здоровье. Рак у меня, корь, тиф и менингит.

— Молодец. Рад за тебя. А как с квартирой?

— Сгорела у меня квартира со всей обстановкой во время наводнения...

— Ну что же. Значит, все неплохо» (Б. Ласкин. «Друг детства»).

Автоматизм этикетных выражений в речи бюрократа доведен до абсурда — и писатель делает это умышленно, чтобы своей языковой игрой напомнить читателю некоторые правила речевого общения.

Передразнивать, доводить до абсурда, представлять в кривом зеркале пародии можно и другие свойства диалога. Так, для нормальной беседы характерно время от времени повторение реплик партнера: это одна из формальных скреп, объединяющих речь собеседников. Очень точно воспроизводит эту черту живой устной речи Василий Шукшин, ср.:

«— Чо эт вас так шибко в город-то тянет?

— Учиться... “Что тянет”. А хирургом можно потом и в деревне работать («Космос, нервная система и шмат сала»);

«— ...Если б был маленько поласковой, она, может, не додумалась бы до этого.

— Так живи!

— Живи... Они же посадить хотят. И посадят, у их свидетелей полно...» («Страдания молодого Ваганова»).

Но тот же повтор реплики приобретает игровой оттенок, если собеседник воспроизводит не однозначное слово или целое высказывание, а только его случайный элемент: частицу, союз и т.п. Эта особенность живой речи также находит свое отражение в литературных произведениях:

«— ...Разве тебя жена дома не ждет?

— Может, и ждет. Но теперь это уже не имеет значения. Ей нужно было раньше меня ждать.

— Изменяет, что ли? — с пониманием спросила Ира.

— Что ли.

— Чего ж не разводишься?

— Ребенок будет. Шесть месяцев уже» (А. Маринина. «Иллюзия греха»).

Поскольку диалог протекает в конкретных условиях (время, место, люди...) и речевая информация, которой обмениваются собеседники, сопровождается всяческой иной — в первую очередь зрительной, — то очень многие слова здесь опускаются, они просто не нужны. В диалоге царствует эллипсис, недомолвка, намек. Тут понимают с полуслова. Если же диалог воспроизводится в литературном произведении, то читателю бывает иногда трудно его понять: он должен домыслить, воссоздать «бытовой контекст». Пример из пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных»:

«Л а р и о с и к. Елена Васильевна! Ах, Боже мой, красное вино!..

Н и к о л к а. Солью, солью посыпем... ничего».

Для участника диалога (и присутствующего на спектакле зрителя) совершенно ясно, о чем идет речь: на платье (или на скатерть) пролили вино. Но читатель догадывается об этом только после очередной реплики.

Другой пример, тоже из Михаила Булгакова.

«Между слушателями произошел разговор, и, хотя они говорили по-русски, я ничего не понял, настолько он был загадочен...

— Осип Иваныч? — тихо спросил Ильчин, шурясь.

— Ни-ни, — отозвался Миша и вдруг затрясся в хохоте. Отхохотавшись, он опять вспомнил про застреленного и постарел.

— Вообще старейшины... — начал Ильчин.

— Не думаю, — буркнул Миша («Театральный роман»).

На фоне подобных — естественных и регулярных — недоговорок диалог, в котором все договаривается «до конца», выглядит неестественным, неправильным. Это может быть, конечно, учебный текст (в грамматическом пособии или разговорнике учащемуся предлагается в тренировочных целях давать «полные ответы»), но очень часто такая речевая избыточность становится предметом пародирования, т.е. языковой игры. Прочитируем фрагмент юмористической «Автобиографии» сербского писателя Бранислава Нушича (перевод В. Токарева):

«...Учитель ставил перед собой известную книгу Оллендорфа “Методика обучения французскому языку”... и между нами начинался такой диалог, слово в слово по методу Оллендорфа:

Вопрос. Имеет ли брат вашей жены птицу, которая хорошо поет?

Ответ. Да, брат моей жены имеет птицу, которая хорошо поет.

Вопрос. Является ли ваша двоюродная сестра родственницей двоюродной сестры моего племянника?

Ответ. Да, моя двоюродная сестра является родственницей двоюродной сестры вашего племянника.

Вопрос. Видели ли вы нож моего дяди?

Ответ. Да, я видел нож вашего дяди на скамейке в саду моей тетки, которая вчера съела одно яблоко.

Вопрос. Говорит ли ваш старший брат по-французски?

Ответ. Мой старший брат не говорит по-французски, но у него есть перочинный нож...»

Вообще разговорники, особенно старые и неудачные, часто становятся мишенью насмешек и пародий. Даже если реплики, представленные здесь, связаны и последовательны, они обнаруживают свою искусственность уже в том, что не связаны с реальной жизнью: за ними не стоит ни настоящих коммуникативных

стимулов, ни практических последствий. А потому такой текст несет на себе черты «потусторонности» и абсурдности. Покажем это еще на одном пародийном примере — отрывках из «Золотого шнура» Андрея Синявского.

«— У вас ли мой прекрасный башмак? — Да, он у меня. — У вас ли мой золотой шандал? — Нет, у меня его нет. — У вас ли мой новый платок? — Нет, у меня его нет. — Какой сахар у вас? — У меня ваш хороший сахар. — Какой сапог у вас? — У меня свой кожаный сапог. — У вас ли мой гусь? — Нет, у меня свой. — У вас ли мой старый нож? — У меня красивый нож. — Какой фонарь у вас? — У меня ваш старый фонарь... — У вас ли мой золотой шнурок? — Он у меня...

— Мой ли орел у охотника или свой? — У него нет ни вашего, ни своего, у него нет орла, у него хорек. — Где у вас мои маленькие ножи? — У меня их нет, я их ищу. — Ищешь ли ты ослов? — Я ищу ослов и быков...

— Пользовался ли уже ваш брат лошастью, которую он купил? — Да, он ею пользовался. — Сказали ли вы своему брату, чтобы он сошел с поезда? — Нет, я не смел сказать ему этого. — Почему вы не смели ему это сказать? — Потому что я не хотел его будить. — Скоро ли вы принесете мне мой обед? — Я лучше вовсе не буду обедать, нежели обедать так поздно. — Какая у вас вилка? — У меня вилка, которую мне дал мой брат».

Вообще, когда человек строит фразу (это касается не только диалогической речи), то он выражает вслух только самое необходимое; значительная же часть информации остается «за кадром» в качестве само собой разумеющегося подтекста. Это как бы смысловые предпосылки, свойственные всей той культуре (обществу), к которой принадлежат говорящий и слушающий, и той конкретной ситуации, в которой происходит речевой акт. Мы говорим, так сказать, по принципу «2 пишем, 3 в уме».

Представим себе следующую картину. Человек, глядя в окно, произносит: «Похолодало». Это значит: «температура воздуха на улице понизилась». Но это только непосредственный, как бы лежащий на поверхности, смысл. За ним стоит некоторая предварительная информация, без которой высказывание было бы непонятным. А именно: «существует воздушная среда, которая об-

ладает температурой, и этой температуре свойственно меняться, и в данном случае говорящий узнал о ее понижении на основании некоторых признаков (показаний термометра, выпавшего снега, замерзших луж и т. п.), и это понижение существенно для дальнейшего поведения говорящего», и т. д. и т. п. Все перечисленное — совершенно естественный и необходимый (хотя, казалось бы, и не замечаемый) семантический фон высказывания.

Возьмем другой пример, посложнее. Говорящий обращается к собеседнику: «Олег передавал тебе привет». Это значит, что некто по имени Олег напоминает (через посредничество говорящего) этому собеседнику о своем существовании и о том, что он его (собеседника говорящего) помнит. Фоном же для данного смысла являются следующие семантические условия: «существует собеседник говорящего»; «существует некий субъект, которого зовут Олег (скорее всего, мужского пола)»; «этот субъект обладает способностью передавать приветы (чего нельзя сказать, допустим, о двухмесячном ребенке или о человеке, находящемся в бессознательном состоянии)»; «этот субъект знает собеседника говорящего (знаком с ним, слышан о нем и т. д.)»; «этот субъект знает также, что говорящий состоит с собеседником в контакте (во всяком случае более регулярном, чем он сам) и, следовательно, может передать тому определенные сведения»; «собеседник говорящего, со своей стороны, знает, кто такой Олег (знаком с ним)» и т. д. Возможно, подобное истолкование фразы «Олег передавал тебе привет» покажется излишне сложным, избыточным, но в реальности все эти семантические условия имеют место. Без любого из них указанная фраза не состоялась бы, или не была бы правильно понята, или не была бы истинной (т. е. не соответствовала бы действительности).

Такие скрытые послышки, заключающиеся в высказываниях, называются в лингвистике пресуппозициями (от лат. *praee* — перед и *suppositio* — предположение). Случается, что собеседники обладают разными фоновыми знаниями, разными пресуппозициями — тогда их диалог, скорее всего, обернется непониманием или даже конфликтом. Вот несколько иллюстраций.

Сатирик Михаил Жванецкий, приехав в США в разгар зимы, поинтересовался в супермаркете: «Когда к вам поступают первые фрукты?» И получил ответ: «В 6 утра». Суть репризы — в

расхождении пресуппозиций. У спрашивающего это: «фрукты появляются в магазине с началом сезона их созревания». У отвечающего: «фрукты есть в продаже круглый год, независимо от сезона».

В романе «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена мальчик Гек разговаривает с негром Джимом:

«— ...А вот если подойдет к тебе человек и спросит: “Парле ву франсе?” — ты что подумаешь?

— Ничего не подумая, возьму да и тресну его по башке, — то есть если это не белый. Позволю я негру так меня ругать!» (перевод Н.Л. Дарузес).

Пресуппозиция реплики Гека: «люди говорят на разных языках, и эти языки надо специально изучать». Пресуппозиция реплики Джима: «у человека, который обращается ко мне непонятно, вряд ли могут быть хорошие намерения».

Еще пример, анекдотический диалог папаши с сыном-школьником.

«— Что у вас сегодня было на уроках?

— На химии опыты ставили. С взрывчатыми веществами.

— О-о... А что завтра будете делать в школе?

— В какой школе, папа?»

Пресуппозиция последней реплики родителя: «учебный процесс продолжается». Пресуппозиция реплики сына: «школы больше нет».

Как следует из приведенных примеров, различие в пресуппозициях может составлять основу языковых шуток, острот, анекдотов. Это различие выпячивается, превращается в сознательный прием, если один из собеседников демонстрирует нестандартный «взгляд на мир», а читатель (или слушатель) солидаризируется с другими, привычными представлениями. Покажем это на примере двух анекдотов.

«Генерал инспектирует строй солдат. Вдруг останавливается: взгляд его падает на окуроч, валяющийся на земле.

— Чей окуроч?

— Ничей, товарищ генерал. Курите!»

Пресуппозиция реплики генерала: «валяющийся окурок — мусор». Пресуппозиция реплики солдата: «окурок можно подобрать и докурить».

Еще анекдот из армейской жизни.

«Офицер входит в казарму и спрашивает у дневального:

— Тут кто-нибудь есть?

— Так точно!

— Кто?

— Я.

— Дурак! Я спрашиваю — есть ли тут кто-нибудь кроме тебя?

— Так точно!

— Кто?

— Вы!»

Пресуппозиция реплик офицера: «вопрос не касается тебя и меня».

Пресуппозиция реплик дневального: «мы — тоже люди и потому входим в понятие “кто-нибудь”».

Говорящий может также умышленно вводить собеседника в заблуждение относительно своих пресуппозиций, а слушающий — делать вид, что он не понимает говорящего. И в том и в другом случае расхождение пресуппозиций создает комический эффект. Еще несколько анекдотов, уже без комментариев.

«— Скажите, если я это письмо сегодня отправлю, оно за неделю дойдет до Москвы?

— Конечно.

— Странно.

— Почему странно?

— Потому что на нем написано — в Санкт-Петербург».

«— Ты чего такой озабоченный?

— Да вот, хотел бы разменять сто долларов.

— А что, это такая проблема?

— Не проблема, просто у меня их нет».

«Покупательница сидит в обувном магазине, вокруг нее — груды раскрытых коробок с обувью. Ничего ей не подходит. Она обращается к продавщице с укором:

— Это все, что у вас есть?

— Почему же, — отвечает та, — есть еще пара туфель на мне».

Смысловая сложность, «многослойность» высказывания обусловлена не только содержащимися в нем пресуппозициями. Эти подразумеваемые условия истинности смысла обращены к сформировавшейся культуре и жизненному опыту говорящих. Можно сказать, что это — семантические конвенции, договоренности о значениях слов и выражений, которые мы «подписываем», вступая в общение. Но высказывание какой-то частью своего смысла связано и с условиями речевого акта. Его содержание подразумевает ответ на такой вопрос, как: *з а ч е м* говорит говорящий, какова его цель? Даже в том условном примере, который мы недавно рассматривали («Олег передавал тебе привет»), есть еще целый пласт информации, связанный с интересами говорящего, — и мы его пока что не затрагивали. Это: «говорящий хочет, чтобы собеседник знал о его контакте с Олегом»; «говорящий хочет, чтобы собеседник узнал про то, что Олег передавал ему (собеседнику) привет»; «говорящий хочет извлечь из своей посреднической функции какую-то пользу, выгоду для себя (например, заслужить благодарность собеседника)» и т.п. Все эти скрытые в высказывании намерения, семантические «намеки» на результат речевого акта называются импликатурами (от английского слова, обозначающего «подразумеваемое»).

Анализируя любое высказывание в составе диалога, мы должны поставить перед собой вопрос: а что, собственно, имеется в виду? Дело еще и в том, что в нашей речевой практике очень часто встречаются ситуации, когда человек говорит (или пишет) одно, а имеет в виду другое. И поступает он так не потому, что является закоренелым лжецом или страдает раздвоением личности, а потому, что язык, правила общения разрешают ему так поступать. Рассмотрим несколько простейших диалогов. Разговор на улице, между случайными прохожими.

«— Огонька не найдется?

— Не курю».

В сущности, никто ведь не спрашивал, курит собеседник или нет. Вопрос был поставлен совершенно ясно: нет ли у него огня

(т.е. спичек или зажигалки)? Собеседник же, вместо того чтобы просто сказать «нет», ответил: «Не курю». Почему? За этим «Не курю» стоит некоторая готовность пойти спрашивающему навстречу и — одновременно — извинение (оправдание) за то, что эта готовность не реализуется. «Не курю» в данной ситуации значит: «я обязательно дал бы вам спички, если бы они у меня были; а они бы у меня были, если бы я курил; я же не курю, поэтому у меня спичек с собой нет». Язык позволяет свернуть всю эту тяжеловесную конструкцию до краткого «Не курю»...

Другой пример: Диалог в учреждении.

«— А где Петров?
— Сейчас придет».

При ближайшем рассмотрении данный обмен репликами может показаться странным, нелогичным. Спрашивающего интересует Петров, которого нет на месте. При этом вопрос задается в «пространственном» плане («А где Петров?»), ответ же дается в плане временном («Сейчас придет»). По существу же речь вообще идет о причине («Почему Петрова нет на месте?»). Это похоже на игру, но это не игра. Если попытаться восстановить целостную смысловую структуру данного диалога, то она должна была бы выглядеть примерно так:

«— Петров должен быть на месте. Но на месте его нет. Почему?
— Он вообще-то здесь. Подождите немного».

Получается, что оба собеседника — и спрашивающий, и отвечающий — говорят не то, что думают. И предпосылки для таких расхождений заложены в самом языке, который отражает и закрепляет в своих единицах устойчивые причинно-следственные и прочие связи между явлениями. В частности, если о ком-то известно, что его здесь нет, то естественно заключить, что он есть где-то в другом месте, а стало быть, вопрос типа «Где Петров?» может означать «Значит, Петрова нет?».

Третий пример.

«Разговор между соседями по купе.
— Вы уже ложитесь?
— Читайте, мне не мешает».

Если мы ограничимся буквальными смыслами этих высказываний, то может опять-таки показаться, что перед нами «разговор глухих», бессвязный обмен репликами, когда каждый собеседник говорит о своем. Для правильного же понимания нам нужно учесть также то, что стоит за данными высказываниями, или что говорящие имеют в виду. Тогда мы получим примерно следующее. Реплика первого попутчика означает: «Пора гасить свет?» Реплика второго: «Я могу спать и при свете». Диалог обретает необходимую связность и осмысленность.

Приведенные примеры свидетельствуют о важности учета коммуникативных импликаций для участников диалога. И в дополнение к этим вполне жизненным ситуациям вспомним еще старую, но изящную остроу. Она гласит: когда дипломат говорит «да» — это значит «может быть». Когда дипломат говорит «может быть» — это значит «нет». Когда дипломат говорит «нет» — ну какой же он дипломат? Когда девушка говорит «нет» — это значит «может быть». Когда девушка говорит «может быть» — это значит «да». Когда девушка говорит «да» — ну какая же она девушка?

Таким образом, мы постепенно приходим к выводу о том, что успешное протекание коммуникативного акта зависит от многих составляющих. В частности, говорящий должен в своей речи не только следовать определенным языковым образцам, употреблять языковые единицы в присущих им значениях и т.д., но должен ясно давать слушающему понять свою коммуникативную интенцию (намерение). Слушающий же, со своей стороны, должен четко распознавать, зачем говорящий затевает речевой акт: просьба должна «узнаваться» как просьба, извинение — как извинение, упрек — как упрек, благодарность — как благодарность и т.д. (Все эти виды речевой деятельности в современной лингвистике систематизируются теорией речевых актов.) На практике же нередко бывает так, что говорящий выражает собеседнику благодарность, а тот воспринимает ее как приглашение или обещание... Вот конкретный пример: ребенок звонит своей матери на работу (пример Е.В. Падучевой):

- «— Позовите, пожалуйста, Анну Ивановну!
— Она вышла, позвоните позже.
— Ладно».

Ребенок воспринимает фразу «позвоните позже» не как совет, а как просьбу — у него еще не хватает опыта общения. Но в аналогичных ситуациях оказываются иногда и взрослые.

Вот тут-то и открывается обширное поле для языковой игры. Масса шуток и анекдотов основана на том, что коммуникативные интенции собеседников не совпадают: они по-разному трактуют, казалось бы, одни и те же фразы. Конкретные примеры:

- «На экзамене по истории студент не может ответить ни на один вопрос. Тогда профессор, вздыхая, говорит:
— Ну ладно, скажите хоть, кто открыл Америку?
Студент пожимает плечами.
— Колумб! — раздраженно кричит профессор. — Колумб!
Студент встает и идет к выходу.
— Куда вы? — спрашивает профессор.
— А я думал, вы зовете следующего».

- «Бармен подходит к дремлющему посетителю.
— На сегодня, пожалуй, хватит. Мы уже закрываемся.
— Ну ладно, закрывайте, — бормочет сонно посетитель, — только дверями не хлопайте...»

- «Поезд стоит на границе. В купе заглядывает таможенник.
— Алкоголь, сигареты, наркотики?
— Спасибо, — отвечает пассажир. — Мне бы только чашечку кофе».

- «В воде барахтается человек, с берега на него с интересом взирает другой.
— Эй, на берегу! Я не умею плавать!
— Я тоже не умею, но не ору об этом на все озеро!»

- «Гусар утром уходит от женщины. Та приподнимает голову с подушки:
— А деньги?
Гусар (гордо):
— Гусары денег не берут!»

- «Разговор на улице.
— Вы не знаете, который час?
— Кто не знает? Я не знаю? Это вы не знаете!»

На подобных основаниях строятся многие «серийные» анекдоты — о чукчах, о милиционерах, о Василии Ивановиче...

- «Чукча звонит в аэропорт.
— Сколько времени летит самолет до Чукотки?
— Минуточку...
— Спасибо».

- «Разговор ординарца Петьки с Чапаевым.
— Ну и дуб же ты, Василий Иванович!
— Да, Петька, парень я крепкий!»

- «Петька отправился в магазин покупать Василию Ивановичу трусы. Через пять минут прибегает и орет:
— Василий Иваныч! Белые!
— Да мне, Петька, хоть в крапинку!»

Итак, для успешного осуществления коммуникативного акта (беседы, диалога) необходимы совместные усилия участников диалога: они должны идти навстречу друг другу. В современной лингвистике идея взаимодействия говорящего и слушающего получила название принципа кооперации. Вот как формулирует содержание этого принципа его автор, американский логик Г.П. Грайс: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» (статья «Логика и речевое общение»). На практике же это взаимодействие воплощается в некоторых рекомендациях, которые Грайс распределяет по четырем основным категориям: Количества, Качества, Отношения и Способа. Категория Количества включает в себя два ограничения: «Твое высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется» и «Твое высказывание не должно содержать меньше информации, чем требуется». К категории Качества относятся такой общий постулат: «Старайся, чтобы твое высказывание было истинным» и его конкретизации: «Не говори того, что ты

считаешь ложным», «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований». Категория Отношения означает требование: «Не отклоняйся от темы». Наконец, категория Способа касается не столько того, что говорится, сколько того, как это говорится («Выражайся ясно», т.е. «Избегай непонятных выражений», «Избегай неоднозначности» и т.п.). Несоблюдение любого из перечисленных требований приводит к коммуникативным затруднениям и недоразумениям. В частности, избыток информации запутывает собеседника, сбивает его с толку, недостаток же информации требует разъяснений и оправданий. Употребление незнакомых собеседнику слов или неоднозначных выражений также ведет к непониманию или даже к конфликту. Приведем несколько иллюстраций из литературных источников.

«— Насчет лекции... Анна Афанасьевна просила передать... Директор махнул рукой.
— Толку-то от этих лекций! Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню — приезжайте.
— Зачем? — не понял Солодовников.
— Ну, лекцию-то читать.
— А при чем тут картина?
— А как людей собрать? Перед картиной и прочитаете. Иначе же их не соберешь...» (В. Шукшин. «Шире шаг, маэстро!»).

Здесь в диалоге врача с директором совхоза нарушена категория Количества: один из собеседников не соблюдает требование достаточного объема информации — из-за этого и наступает временное непонимание.

«— Сапоги у меня были яловые, — откликнулся Замараев, — девярем пошиты.
— Как это — деревом? — не понял Ероха.
— Дикий ты парень. Русского языка не понимаешь» (С. Довлатов. «Зона»).

В диалоге нарушена категория Способа — один из собеседников не соблюдает постулат «Избегай непонятных выражений».

«— ...Если ты мне врешь и это всё ментовские штучки, я тебя...

— О Господи, ну не начинай ты снова. Делай со мной что хочешь, только не бросай в терновый куст.

— Что?

— Ничего. У тебя дети есть?

— Нет.

— Оно и видно» (Т. Полякова. «Тонкая штучка»).

Одно из высказываний в диалоге представляет собой цитату из «Сказок дядюшки Римуса», в которых Братец Кролик говорит Лису: «Делай со мной что хочешь, только не бросай меня в терновый куст». Собеседник же воспринимает фразу как отклонение от темы: налицо нарушение категории Отношения.

Нарушение этих коммуникативных правил не только приводит к различным «трениям» и «сбоям» в функционировании языковой системы, но и составляет предмет языковой игры. Классическим образцом таких речевых «фокусов» может служить сократовский парадокс «Я знаю только то, что я ничего не знаю» или же афоризм Ингмара Бергмана «Бог есть, но я в него, конечно, не верю» — в них с очевидностью нарушена категория Качества...

Понятно, что принцип кооперации и коммуникативные постулаты Грайса сформулированы применительно к диалогическому общению. Однако их сознательное нарушение хорошо прослеживается, например, на материале афоризмов — текстов формально монологических, но на деле требующих активного соучастия читателя. Это та самая внутренняя диалогичность настоящего текста, о которой уже шла речь. (Как выразился юморист К. Мелихан, «монолог мудреца — это диалог с самим собой, а диалог дураков — это два монолога».)

Итак, автор афоризма может умышленно затруднять путь читателя к смыслу — и если тот (в качестве собеседника) воспринимает это как интеллектуальную и эмоциональную игру, цель достигнута. Затраченные умственные усилия компенсируются удовольствием от разгаданной загадки и ощущением причастности к озорству, неожиданному в условиях, казалось бы, серьезного жанра. Несколько примеров из знаменитых «Сочинений» Козьмы Пруткина:

«У человека для того поставлена голова вверху, чтобы он не ходил вверх ногами.

Во всех частях земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части.

Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? — ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц — ночью.

Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.

Иногда слова, напечатанные курсивом, много несправедливее тех, которые напечатаны прямым шрифтом».

А теперь несколько примеров из современной афористики:

«Когда сценарий пишут двое, один из них обязательно автор» (М. Генин).

«Если человеку ничего не надо, значит, у него чего-то не хватает» (М. Генин).

«Справедливее всего в мире распределены деньги — все жалуются на нехватку» (Д. Рудый).

«Женщина должна знать всё. Но не больше!» (Р. Тумановский).

«Если каждому — свое, кому же достанется чужое?» (В. Колечицкий).

И наконец, еще несколько иллюстраций из насквозь афористичных «Зияющих высот» Александра Зиновьева:

«...Жители Ибанска осуществляют исторические мероприятия. Они осуществляют эти мероприятия даже тогда, когда о них ничего не знают и в них не участвуют. И даже тогда, когда мероприятия вообще не проводятся».

«В том, что он — порядочный, умный и образованный человек, Кис был убежден на все сто пять процентов».

«На место Действительного было выдвинуто около ста кандидатов, а на место Корреспондентов были выдвинуты почти все, кто хотел быть выдвинутым, мог быть выдвинутым и не мог не быть выдвинутым или не мог быть не выдвинутым».

«Нас часто спрашивают, есть Бог или нет, писал Секретарь. Мы на этот вопрос отвечаем утвердительно: да, Бога нет».

Во всех этих примерах можно усмотреть нарушение каких-то названных выше коммуникативных правил. Где-то не соблюда-

ется постулат «не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований», где-то — требование «выражайся ясно» и т.д. Однако то, что эти неправильности становятся предметом языковой игры, симптоматично. Если читатель воспринимает приведенные факты как (в определенном смысле) пародирование, передразнивание, вообще говоря, как отклонение от некоторых правил общения, это значит, что сами эти правила являются для него психической реальностью; значит, в обычном, нормальном общении он обязан их соблюдать. (В сущности, нарушение правила ведь бывает только тогда, когда существует само правило!) Таким образом, использование «отрицательного» языкового материала (примеров того, «как нельзя сказать») лишний раз подтверждает наличие «положительного» материала (массива фактов, соответствующих критерию «как надо говорить» или «как говорят»). Иными словами, языковая игра позволяет нащупать и продемонстрировать общие коммуникативные закономерности, на фоне которых, собственно, и воспринимаются отклонения. И это — один из важнейших аспектов исследуемого феномена в глазах лингвиста.

Рассматривая различные виды языковой игры с синтаксическими единицами — словосочетанием и предложением, а также с фрагментами связной речи (составляющей, как уже упоминалось, объект лингвистики текста), мы, конечно, не могли охватить всех существующих в данной сфере возможностей.

Дело, во-первых, в том, что нарушения языковых правил и закономерностей настолько многообразны, что все их трудно предусмотреть и описать. Фактически любое языковое правило или закономерность, даже неявная или размытая, в игре может превращаться в свою «противоположность». В частности, нередко в игровых целях на процесс порождения текста накладываются те или иные дополнительные (искусственные) ограничения. Так, хорошо известно, что слова в русском языке могут начинаться с разных звуков (а на письме, соответственно, с разных букв). Это настолько естественная, сама собой разумеющаяся закономерность, что ее и правилом-то трудно назвать. Но случаются ситуации, которые заставляют нас обратить на нее внимание и сформулировать данную аксиому примерно так: «Выбор начального звука (и буквы) случаен и незначим». Что это за ситуации? Например, когда говорящий специально задается целью составить искусственный текст, в ко-

тором все слова будут начинаться на одну и ту же букву, — тогда он явно нарушает не замечавшееся нами ранее условие, он играет с нами в очередную языковую игру. Примером могут служить известные гимназические опусы вроде:

«Отец Онуфрий, отправившись обозрывать окрестность, обнаружил обнаженную Ольгу. Он обомлел, однако освоился:
— Отдайся, о Ольга!
— Образумься, охальник! — отвечала Ольга...»

Впрочем, на тех же условиях может быть создан и значительно более художественный текст. Вот стихотворение В. Краско «Вариации на тему буквы “К”»:

«Корпя, коптел киноэкран,
Каюта каверзно качала,
Когда, как коршун, капитан
Кормой крошил ковер канала,
Когда кипела красотой,
Которая краеугольна,
Колонной Китежа крутой,
Калязинская колокольня!
Кричи кикиморой, кидай
Копье, кончай — капитулируй,
Когда кругом красивый край —
Кижы, Карелия, Кириллов...»

А для Семена Кирсанова, известного своими экспериментами в области поэтической техники, таким «возмутителем спокойствия» и стимулом для создания стихотворения оказалась вывеска метро. Отсюда и название произведения — «Буква М». Приведем из него фрагмент.

«...Михаил Максимыч молвит механику:
— Магарыч! Магарыч!
Мотнулся мизинец манометра.
Минута молчания...
Метро мощно мычит
мотором.
Мелькает, мелькает, мелькает
магнием, метеорами, молнией.

Мать моя мамочка!
Мирово!»

Стоит упомянуть здесь и творчество футуриста — «будетлянина» Велимира Хлебникова — это уже действительно поэзия самой высокой пробы. Так, в стихотворении Хлебникова «Слово о Эль» начальное *л* приобретает особую семантическую нагрузку:

«...Широкий лист крыла летуны
Ее спасает от паденья,
Как лодка, лыжи и ладья спасают человека.
Крыло — небесная лежанка,
и птица ленился, летая...»

Когда лежу я на лежанке,
На ложе лога на лугу,
Я сам из тела сделал лодку,
И бабочка-ляпунья
Крылом широким помавает...»

Не менее интересным и трудоемким лингвистическим экспериментом является акростих — прием, при котором первые буквы стихотворных строк или прозаических предложений составляют особое, как бы зашифрованное, сообщение — «текст в тексте». Вот, к примеру, как выглядит последнее (неоконченное) стихотворение патриарха русской поэзии Гаврилы Романовича Державина (1743—1816):

«Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!»

Стихотворение это если и привлекало внимание исследователей, то главным образом эсхатологическим¹, безнадежно-пес-

¹ Эсхатология — учение о конце света.

симилистическим своим содержанием. И только в 50-е годы XX века американский русист Моррис Халле обратил внимание на его форму и обнаружил, что перед нами — акростих! Начальные буквы строк образуют фразу *Руина чти* (где *чти* — форма родительного падежа древнерусского слова *чьсть*, означавшего «честь, слава»).

А Лев Успенский в своих «Записках старого петербуржца» рассказывает о том, как в газете «Русская воля» в январе 1917 года были опубликованы «Этюды» известного фельетониста А. Амфитеатрова, на первый взгляд казавшиеся выпренной галиматией, а по существу бывшие тайнописью. Журналист просто не имел другой возможности напрямую обратиться к читателю и зашифровал свое послание. Вот его начало:

«Рысистая езда шагом или трусцой есть ледяное неколебимое общественное настроение... И, ох, чтобы его, милое, пошевелить или сбить, адская твердость нужна, едва ли завтра явиться предсказуемая. Робкая, еле движущаяся вялость, «ахреянство» рабское, идольская тупость, едва ловящая новости, а ярких целей, если не зовом урядника рекомендованных, артистически бегущая елико законными обходами... Безмерная растрепанность, асбестовая заледенелая невоспламеняемость, исключительно чадная атмосфера, этическая тухлость, чучела ухарские, дурни-Обломовы, волки и щуки наполняют общество...»

Предоставим читателю возможность самостоятельно расшифровать этот текст, а заодно насладиться изоощренной языковой игрой!

Существуют и другие дополнительные (искусственные) правила, которыми добровольно может ограничить себя говорящий. Скажем, обычно русские слова имеют разную длину и состоят из разного количества слогов. Но в специальных, игровых целях можно попытаться построить текст только из односложных слов. Пример — «Картинка из английской жизни» И. Двинского:

«Сэр ел сыр,
Сыр без дыр,
День был сер,
Сэр был сед.

Мэр мел двор,
Пэр вел спор,

Вор спер кур,
В бор брел тур...»

А прозаик Татьяна Толстая, обеспокоенная некоторыми процессами в современной русской речи (в том числе засильем американизмов, которого мы уже частично касались), попробовала создать пародийный текст, в котором «новые русские» общаются между собой на некоем подобии английского: все слова односложны, все связи между словами максимально упрощены. Вот один диалог из ее фельетона «На липовой ноге» — сцена в ресторане.

«К л и е н т. Дай суп.
О ф и ц и а н т. Вот суп.
К.: Суп — крут?
О.: Крут плюс.
К. (ест): Э?!?!
О.: М?
К.: Суп не крут.
О.: Нет? Как не крут? Ну, клёв.
К.: Не клёв. Суп — вон.
О.: Что ж... С вас бакс.
К.: Пшел в пень! Вот руп плюс.
О.: Зря. Руп — дрянь. Дай бакс.
К.: Хрен!
О.: Дам в глаз плюс. Бакс дай!
К.: На! (Сам бьет в глаз плюс.)
О.: Ык!
К.: Ха! Бакс — мой».

Надо сказать, что попытки создать русский текст из односложных «словесных огрызков» (выражение Т. Толстой) всегда оставляют явное ощущение искусственности. Л. Успенский, составивший с шутливой целью подобный рассказик для книги «Слово о словах», признается: читать его — все равно что шагать по железнодорожным шпалам.

Обычно прозаический текст, будь то художественное произведение, научная монография или деловая переписка, ритмиче-

ски не организован, не упорядочен. Это значит, что распределение ударных и безударных слогов в таком тексте (в отличие от поэтического) не подчиняется какой-либо закономерности, оно случайно. К примеру, в только что произнесенном и написанном высказывании («Это значит, что...») ударные слоги то стоят рядом, то их разделяет разное количество безударных слогов — от одного до шести, и никакой периодичности в этих колебаниях нет. Для прозы это нормально, так оно и должно быть.

Однако встречаются попытки ритмизовать прозаический текст — прежде всего, конечно, художественный. Широкую известность у русских читателей получили стихотворения в прозе И.С. Тургенева, «Песнь о Соколе» и «Песнь о Буревестнике» М. Горького (вспомним: «Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный...»). Большое значение для русской литературы имели искания в данном направлении Андрея Белого (роман «Петербург» и др.). Все это, так сказать, примеры серьезного подхода к проблеме ритмики прозы. Но если ритмизованность текста не соответствует его жанру или его коммуникативной цели, то она, естественно, превращается в очередной вид игры с читателем. В частности, существуют попытки стихотворного переложения каких-то математических теорем или физических законов... Использование ритмики в бытовой речи высмеяли И. Ильф и Е. Петров в романе «Золотой теленок»: один из его персонажей, Васисуалий Лоханкин, изъясняется пятистопным ямбом: «Волчица ты, тебя я презираю, к любовнику уходишь от меня...» Приведем здесь еще один пример — сценку Даниила Хармса «Антон и Мария», в которой подчеркнута поэтическая организация (опять ямб!) вступает в противоречие с прозаическим содержанием.

«Стучался в дверь Антон Бобров. За дверью, в стену взор направив, Мария в шапочке сидела. В руке блестел кавказский нож, часы показывали полдень. Мечты безумные оставив, Мария дни свои считала и в сердце чувствовала дрожь. Смущен стоял Антон Бобров, не получив на стук ответа. Мешал за дверь взглянуть тайком в замочной скважине платок. Часы показывают полночь. Антон убит из пистолета. Марию нож пронзил. И лампа не светит больше в потолок».

Почетное место среди языковых забав и упражнений занимают палиндромы — тексты, читающиеся одинаково как слева направо, так и справа налево (часто с некоторыми «допусками», неточностями, обусловленными особенностями фонетики и графики). Палиндромами увлекались многие классики русской литературы — Г.Р. Державин, А.А. Фет, В.Я. Брюсов и др. Таким способом написаны целые поэмы (В. Хлебников), венки сонетов (В. Пальчиков) и т.д. Приведем в качестве иллюстрации стихотворение С. Кирсанова «Лесной перевертень».

«Летя, дятел,
ищи пищи.
Ищи, пищи!
Веред дерев
ища, тащи
и чуть стучи
носом о сон.

Буди дуб,
ешь еще.
Не сук вкусен:
червь — в речь,
тебе — щebet.

Жук уж
не зело полезен.
Личинок кончил?
Ты — сыт?
Тепло ль петь?
Ешь еще
и дуди
о лесе весело.

Хорошо. Шорох.
Утро во рту,
и клей елки
течет».

Палиндром как литературный прием может рождать и афоризмы (например: *Взятка — акт язв, А ремень — не мера, Молот*

серп престолом, Мир, о вдовы, водворим! и т.п.). Понятно, что данный вид языковой игры требует от сочинителя большого терпения и немалой искусности. И все же читателя палиндромов не покидает чувство «сделанности» таких текстов: это слишком шукарство, чтобы быть искусством...

Наконец, стоит упомянуть здесь еще об одной разновидности литературного творчества (или озорства?), имеющей непосредственное отношение к нашей теме. Это объединение, совмещение разных текстов (обычно поэтических) в один. Приведем два анонимных примера. Первая переделка могла бы носить условное название «Из великого русского поэта Крушкина». (Строфу образуют известные строки И.А. Крылова и А.С. Пушкина.)

«Навозну кучу разрывая,
Летит кибитка удалая.
В Москву, на ярмонку невест.
А Васька слушает да ест».

Второй пример, по аналогии с первым могущий быть названным «Из Некрушкина», характеризуется еще большей цельностью:

«Однажды в студеную зимнюю пору
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Гляжу — поднимается медленно в гору
Вскормленный в неволе орел молодой.

И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
В больших сапогах, в полушубке овчинном
Кровавую пищу клюет за окном».

Если не бояться упреков в недостаточном уважении к творениям классиков (впрочем, такие упреки могли возникнуть и раньше!), то следует признать: гибриды получились изящные и остроумные. Но можно ли считать, что данный вид игры действительно завершает собой перечень словесных забав и развлечений? Вряд ли. Разновидности языковой игры неисчерпаемы, как бес-

конечно многообразны и «остраненные» тексты. Кроме того, систематизировать с исчерпывающей полнотой виды языковой игры трудно еще и потому, что «сверхнормативное», неканоническое использование языка, составляющее предмет данной книги, граничит с разнообразными интеллектуальными забавами, так или иначе связанными с языковыми единицами. Фактически уже упомянутые нами недавно акrostих и палиндром можно отнести именно к этой сфере. Но вообще словесные игры и упражнения чрезвычайно многообразны: это кроссворды и чайнворды, шарады и загадки, анаграммы и метаграммы, головоломки и испорченный телефон, буриме и балда, чепуха и эрудит (скрэбл) — все это развлечения, активизирующие языковой опыт человека, хотя и не нацеленные специально на построение текста...

Нас же, в сущности, интересовал процесс естественной речевой деятельности, при котором наряду с выполнением обычной коммуникативной задачи говорящий пытается выполнить некоторую «сверхзадачу».

И меньше всего автор хотел бы, чтобы данная книга воспринималась как своего рода кунсткамера, паноптикум, собрание всяческих диковинок, речевых редкостей и уродств. На самом деле, как мы пытались показать, человек постоянно живет в мире этих явлений, он как бы купается в них, они — его речевое ежедневие... Удовольствие, которое получает носитель языка от языковой игры, многообразно и существенно для его духовной жизни: здесь и обман предполагавшегося прогноза, и радость узнавания чего-то знакомого, известного, и тайное удовлетворение от нарушения запретов, и озорство переодевания, перевертывания, искажения... Пока человек живет — он играет. Пока человек играет — он живет.

«ЯЗЫК СОЗДАЕТ МИР» (у истоков фанталингвистики)

Примеры языковой игры, приводившиеся в предыдущих главах, должны были как будто убедить читателя в том, что он, собственно, и так знает: язык невероятно многообразен в своих проявлениях. И общепринятое определение языка как средства общения (или средства передачи информации), конечно же, условно и неполно. Впрочем, об этом мы знаем не только из собственной речевой практики, но и из многочисленных перлов народной мудрости: пословиц, афоризмов, крылатых слов. Вспомним некоторые из них.

«Язык мой — враг мой» (пословица).

«Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли» (афоризм, принадлежащий Талейрану).

«Язык — средство общения человечества и разобщения соседок» (анонимный афоризм).

«Язык — враг людей и друг дьявола и женщин» (латинская пословица).

«Язык до добра не доведет» (пословица).

«Ради красного словца не пожалеет родного отца» (пословица).

«Слово не воробей: вылетит — не поймаешь» (пословица).

«Язык болтает, а голова не знает» (пословица, которая имеет и другие варианты: «Язык лепечет, а голова не ведает» и т.п.).

Право, не такая уж положительная и однозначная характеристика языка вырисовывается из всех этих речений. Что же касается нашего случая — языковой игры, — то мы наглядно убеждаемся в том, что во множестве жизненных ситуаций человек использует язык с какой-то особой или дополнительной целью. Например, он хочет пошутить и тем самым приблизить к себе, «задобрить» собеседника. Или хочет продемонстрировать ему свою языковую эрудицию и ловкость. А может быть, он и сам испытывает удовольствие от удавшихся словесных «выкрутасов»... Бывает также, что человек говорит совсем не то, что имеет в виду, и причина этого опять-таки — любовь к «красному словцу». Наконец, совсем уж странная ситуация: случается, что чело-

век не вполне понимает, что он говорит, — но при этом тоже действует по «правилам игры»...

В 1983 г. в Париже состоялась научная конференция с интригующим названием «Фантастическая лингвистика» (ее материалы были изданы отдельным томом). О чем дискутировали ученые? Речь в докладах шла как раз о «запредельных» текстах — странных и непонятных для непосвященного, но, очевидно, естественных и уместных в «своих», особых ситуациях: о древних магических заклинаниях и о языках будущего, описываемых в фантастической литературе, о поэтической «зауми» и шизофреническом бреде, о телепатическом общении и о путешествиях к истокам человеческого языка — в общем, примерно о том, о чем можно было бы сказать словами поэта:

«Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно...»

В самом деле, как устной речи, так и письменной присущи те или иные аномалии, отклонения, и они в принципе объяснимы. То человек находится в каком-то особом состоянии (скажем, он крайне возбужден. Или, наоборот, подавлен. Или отвечает спросонок, или нетрезв, или болен и т. д.), то сама сфера и жанр общения рассчитаны исключительно на «посвященного» (это, к примеру, юриспруденция, воинская служба, научная среда, уголовный мир), то, наконец, обстановка общения вносит в речь свои поправки (таков, например, разговор по телефону или в условиях сильного шума и т.п.). Поэтому чтение молитвы и причитания плакальщицы, лепет ребенка и бред сумасшедшего, декламация стихов и скандирование лозунгов на стадионе, научный трактат и телефонная книга — все это очень разные и специфические, но полноценные проявления языка. Достойное место в этом ряду занимают и тексты, в которых имеет место языковая игра, — она позволяет языку с максимальной полнотой реализовать его потенциал.

При этом устройство языка, система его единиц, словарь и грамматические правила, по которым строятся высказывания,

тоже оказываются не вполне соответствующими канону, закреплённому в школьных учебниках. Язык предстает перед нами как сфера творчества с очень «мягкими», «податливыми» правилами игры. Говорящий обычно даже не отдаёт себе отчёта в том, насколько он свободен здесь в выборе конкретных единиц (и это при всей стандартности, стереотипности речевых актов, о которой уже шла речь!). Тем не менее дело обстоит именно так. По отношению к языковому факту, по существу, следовало бы спрашивать не «правильно это или неправильно?» (оставим этот вопрос корректорам) и даже не «возможно это или невозможно?», а «при каких условиях это возможно?». В речи может быть всё — даже то, чему, казалось бы, не должно быть места по самой природе вещей.

Ранее уже приводились примеры проявления самобытности и, так сказать, своенравия языка: то в лексической картине мира обнаруживаются какие-то лакуны и фантомы, то грамматическая система весьма своеобразно преломляет объективную действительность... Вообще же мир языка — особый мир; его «особенность» и проявляется, в частности, в нежесткости классификаций и в принципиальной возможности выбора говорящим одного варианта из многих. Покажем это ещё на некоторых фактах.

В реальной действительности время течёт в одну сторону, оно необратимо. То, что было вчера, уже не повторится. Не то — в языке: здесь есть слова, которые как будто заставляют усомниться в непреложности данного закона природы, — например, глаголы вроде *помолодеть* или *воскреснуть*. «Как вы помолодели!» — произносим (или слышим) мы, встречаясь с друзьями после долгой разлуки. Но это значит только одно: «как молодо вы выглядите». На самом деле стать моложе нельзя; помолодеть можно только в языке (да в фантастических романах, в которых действует машина времени). Получается, что глагол *помолодеть* — такой же лексический фантом, как какие-нибудь *русалка* или *ангел*...

Другой, близкий к этому пример. Глаголы со значением «умереть» (*погибнуть*, *утонуть*, *скончаться* и т.п.) вроде бы не должны употребляться в I лице прошедшего времени — противостоит, чтобы человек говорил о себе: «я умер». Однако в текстах можно найти сколько угодно подобных примеров, ср.: Я

должен жить, хотя я дважды умер... (О. Мандельштам); *Я убит подо Ржевом...* (А. Твардовский); *Мы похоронены где-то под Нарвой...* (А. Галич); *И с меня, когда я взял да умер, живо маску по-смертную сняли...* (В. Высоцкий) и т.п. В данном случае язык как бы творит иную действительность — в которой мертвый человек продолжает размышлять и чувствовать. Вспомним в связи с этим то, что говорилось об «игре с временем» в одной из предыдущих глав («Завтра мы пошли в лес!» и т.п.). Действительно, время в языке — совсем не то, что время физическое: оно может прерываться, застыть на месте или поворачивать вспять.

Третий пример. Слово *теща* означает в русском языке «мать жены», а слово *свекровь* — «мать мужа». Можно сказать, например: *Завтра должна приехать его теща*. Или: *Ребенка отводит в садик ее свекровь*. Логика вещей запрещает образование словосочетаний *его свекровь* и *ее теща*, и это понятно: теща может быть только *у него*, а свекровь — *у нее*. Однако язык легко обходит сие препятствие: в речи может встретиться и словосочетание *его свекровь*, и *ее теща*. Рассмотрим, к примеру, такую ситуацию. Некий писатель описывает в романе жизнь семьи. И мы можем сказать: *Эта его свекровь будто списана с натуры*. Или другой случай: актриса играет в спектакле роль тещи. И совершенно естественно прозвучит фраза: *Ее теща какая-то несовременная...* Не будем здесь вдаваться в рассуждения, каковы причины появления в речи «запрещенных» словосочетаний: то ли слова *свекровь* и *теща* употреблены в некоторых особых значениях (как «образ свекрови» и т.п.), то ли значение притяжательных местоимений *его* и *ее* оказалось шире, чем мы предполагали, — ясно одно: язык не любит строгих запретов и ограничений. Он предпочитает нежесткие, вероятностные рекомендации: скорее (чаще) так, чем эдак. Скорее да, чем нет. Или наоборот: скорее нет, чем да...

Примеры с тещей и свекровью заставляют вспомнить старый литературный анекдот.

«Дама пожаловалась одному рассеянному ученому, что у нее нет детей.

— Может быть, это наследственное, — задумался ученый. — Скажите, у вашей матери были дети?»

Вся соль анекдота — в абсурдности последней фразы. Если человек обращается к кому-то со словами «у вашей матери...», то это автоматически предполагает, что он обращается к ребенку упомянутой матери. В чем же тогда заключается вопрос?! Конечно, рассеянность ученых — излюбленный объект шуток и насмешек. Однако, строго говоря, с лингвистических позиций фраза «У вашей матери были дети?» не обязательно абсурдна. Можно вообразить себе такую ситуацию, в которой она окажется реальной и уместной — например, при некотором «сдвиге» в значениях слов *мать* и *дети*. Предположим, например, что данный вопрос обращен к М. Горькому, автору романа «Мать», — и тогда возникает ситуация, подобная недавно описанной: речь в вопросе может идти о литературном персонаже. Или, допустим, спрашивающий имеет в виду только родных детей, в то время как вопрос задается неродному ребенку. Или, наконец, диалог происходит в каком-то фантастическом обществе, в котором «быть матерью» и «иметь детей» — это разные, независимые друг от друга свойства... Короче говоря, в некотором ином мире, при некоторых иных посылках данное высказывание может быть осмысленным и закономерным.

Следующий, четвертый пример (или группа примеров). В речи мы нередко встречаем выражения типа: *Конференция состоится в марте месяце; Он задолжал ему тысячу рублей денег; В каждой группе — человек 25 студентов* и т.п. Не правда ли, странно: как будто может быть какой-то другой март — не месяц, и будто рубли — не обязательно деньги, и будто не само собой разумеется, что студенты — это люди? Зачем эти слова-сопроводители? Они избыточны, не нужны! Поэтому стилистика и борется против таких выражений. Она учит: надо говорить просто: *Конференция состоится в марте; Он задолжал ему тысячу рублей* и т.д. И тем не менее приведенные выше выражения оказываются довольно живучими — при всей их нелогичности...

Да разве только они! В любом языке встречается масса высказываний, которые, казалось бы, построены вопреки правилам логики: они внутренне противоречивы или даже абсурдны. Мы уже приводили такие примеры, когда речь шла о принципах образования сочинительных и некоторых других конструкций. И все же рассмотрим еще несколько высказываний.

«И невозможное возможно».

«Есть компромиссы и компромиссы».

«Война это война».

«Петя это не Петя».

Все они, по крайней мере на первый взгляд, содержат какой-то речевой подвох, какую-то логическую несообразность. Ну как это — невозможное возможно (это, кстати, цитата из Александра Блока)? Невозможное по самому своему определению не может быть возможным! А что значит «Война есть война»: разве это не бессмысленное повторение одного и того же, не тавтология? Ведь так можно сказать и «Рука есть рука», и «Ветер есть ветер» — и что из того?

На самом же деле все эти высказывания вовсе не абсурдны или тавтологичны. У них есть свой потаенный, глубинный смысл, и можно даже смоделировать внутренний механизм, по которому в каждом случае происходит формирование такого смысла. Например, говорящий имеет в виду: «есть такие (хорошие) компромиссы и есть другие (плохие) компромиссы», а затем уже эту мыслительную конструкцию сокращает до *Есть компромиссы и компромиссы* — с сохранением, однако, ее исходного смысла. Или, допустим, исходный смысл «Тот, кто называл себя Петей (о ком мы думали, что это Петя), оказался на самом деле совсем не Петей» свертывается во фразу *Петя это не Петя...* Таким образом, все эти высказывания возникли в результате определенных речемыслительных операций, и говорящий, проделавший эту умственную работу, рассчитывает на какое-то вознаграждение. А именно: слушающий должен «споткнуться» о такую фразу, почувствовать ее «странность» (т.е. то, что за ней стоит какая-то дополнительная информация) — и докопаться до исходного смысла. В этом, собственно, и заключается игровой эффект высказывания. Поверхностный алогизм фразы оборачивается на поверку скрытой логикой внутриязыковых преобразований.

Пятый пример. В объективной действительности события связаны друг с другом причинно-следственными отношениями. Это значит: одно событие вызывает к жизни другое, то, в свою очередь, становится основанием для третьего и т.д. Скажем, водопроводные трубы в доме были старые и проржавевшие — при

морозе какая-то труба лопнула — подвал залило водой — хранившиеся в подвале продукты испортились и т.д. Конечно, не всегда эти причинно-следственные связи так же для нас очевидны; но в принципе у любого события есть основания, его породившие.

Что же мы видим в языке? Наряду с высказываниями, в которых отражен «нормальный» порядок вещей, здесь встречаются и такие, в которых отношения между событиями предстают в «перевернутом» виде: причина становится следствием, и наоборот. Приведем несколько цитат.

«Сумерки лезли в комнату. <...> Потом какая-то сморщенная старушка принесла настольную лампочку, и стал вечер» (М. Булгаков. «Театральный роман»).

«На улице было очень холодно, потому что все стояли в ватных шубах, и все-таки мерзли» (Д. Хармс. «Воспоминания одного мудрого старика»).

«Поначалу мы жили дружно, так как старались не замечать друг друга. Она меня очень любила, потому что купила мне светлые брюки и модный пиджак» (П. Гуревич. «Печаль моя светла»).

В этих примерах мы наблюдаем нарушение привычных связей между явлениями. Ведь логичнее было бы сказать: «Настал вечер (причина), и старушка принесла лампочку (следствие)»; «На улице было очень холодно (причина), поэтому все мерзли (следствие)»; «Она меня очень любила (причина), поэтому купила мне светлые брюки (следствие)»... Вместе с тем мы можем объяснить (себе и другим), как возникли эти «странные» конструкции с перевернутыми отношениями. Для этого нам надо опять-таки «реконструировать» фразы, восстановить их до исходного смыслового варианта. В частности, для первого примера это может быть примерно такая мысль: «Старушка принесла лампочку, и всем стало ясно, что наступил вечер». Для второго: «Я думаю, что на улице было очень холодно, потому что видел, как все мерзли». Для третьего: «Я считаю, что она меня очень любила, потому что она купила мне светлые брюки». Всё встало на свои места, законы логики восторжествовали!

Но для нас-то главное в том, что говорящий в очередной раз продемонстрировал нам свою силу. Оказывается, он, как демиург, может сам устанавливать порядок вещей и вмешиваться в ход событий. В частности, он вправе решать, чему отвести (в речи) роль причины, а чему — роль следствия...

В самом деле, представим себе простую жизненную ситуацию. Некая семья (он, она, ребенок) живет в большой, просторной квартире — это, так сказать, одно событие. Вместе с ними живет бабушка (его мать) — это второе событие. Спрашивается, что здесь — причина, а что — следствие? В зависимости от точки зрения говорящего мы можем услышать:

«У нас большая квартира, поэтому вместе с нами живет мама».

Или:

«Вместе с нами живет мама, поэтому у нас большая квартира».

Эту относительную свободу в «упорядочении» мира событий хорошо чувствуют художники слова, поэтому они время от времени предлагают нам, читателям, языковую игру: устанавливают причинно-следственные связи между событиями, которые на самом деле между собой не связаны. Несколько разных, но в чем-то схожих иллюстраций:

«И на эту сцену маленький человек... выехал на двухколесном велосипеде. Выкатившись, он издал победный крик, отчего его велосипед поднялся на дыбы» (М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»).

«— Они мне ноги трут, — сказала Люба про свои башмаки. — Вы посидите еще, а я лягу спать, а то мне очень сильно есть хочется, а я не хочу думать об этом...» (А. Платонов. «Река Потудань»).

«Мазила — пьяница, бабник... не помогает семье, бросил родителей, и потому они давно умерли» (А. Зиновьев. «Зияющие высоты»).

«— Вот, например, что еще бывает в лесу? Деревья. — Он вытер рукавом глаза. — Но на месте они не стоят: прыгают. Понял?..

— Почему? — спросил Перец.

— Потому что называется: прыгающее дерево, — объяснил Тузик, наливая себе кефиру» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. «Улитка на склоне»).

В принципе это та же причудливая «логика» причинно-следственных отношений, что увековечена в известной прибаутке: *Дай, бабуся, воды напиться, а то так есть хочется, что и переночевать негде...*

Список подобных примеров можно было бы продолжить до бесконечности, но и так ясно: мир языка глубоко самобытен. Он лишь относительно связан с объективной действительностью («отражает ее»), а в значительной своей части независим от нее («замыкается на себе») или во всяком случае его связь с действительностью вовсе не является непосредственной и очевидной.

Другой вопрос — почему мир языка именно такой, а не иной, как он сложился таким? И почему «языковые миры» разных народов в чем-то совпадают, а в чем-то заметно различаются?

Ответить на эти вопросы можно примерно так. За те сотни тысяч или даже миллионы лет, в течение которых язык существовал и развивался, на него влияли самые разные обстоятельства. Чем эти факторы древнее и важнее, тем действие их прослеживается сегодня на большем количестве языков; самые древние факторы можно считать универсальными, всеобщими. Обстоятельства же более поздние и случайные нашли свое отражение в отдельных языках; это, так сказать, подробности их личной биографии.

Пожалуй, самым важным и общим фактором, влиявшим на формирование языка, его структуры, была сама природа человека. Это может показаться странным, но язык буквально воспроизводит в себе какие-то черты человека, «подражает» ему в каких-то свойствах. Сегодня ученые всерьез исследуют данную проблематику, возникло даже целое направление в науке — антропологическая лингвистика. Оказывается, что ориентированность на человека (антропоцентризм), уподобление человеку (антропоморфизм) — эти свойства охватывает многие особенности языковой структуры. Поясним это на некоторых примерах.

Вот, скажем, человек — существо теплокровное и теплолюбивое. Для него привычна среда обитания с некоторой плюсовой температурой — допустим, градусов 20 по Цельсию. Во всяком случае, если эта температура падает ниже нуля, человек чувствует себя неуютно. Именно этим в истории цивилизации объясня-

ется и изобретение одежды, и — в значительной степени — приручение огня, постройка жилищ и т.п. А что же язык? Он четко улавливает температурную ориентацию человека. Слова, которые означают «теплый», приобретают оттенок «хороший», ср.: *теплые пожелания, горячий прием, пламенный привет, теплое чувство, жаркие объятия* и т.п. Слова же, обозначающие «холодный», сопровождают различные отрицательные эмоции, ср.: *холодное отношение, прохладная встреча, ледяной взгляд, холодный ответ* и т.п. (кстати, к корню *мороз* восходят и такие русские слова, как *мразь, мерзский, омерзительный, мерзавец* и др.).

Далее, человек «светлолюбив». Солнечный свет — необходимое условие его существования, он влияет не только на физиологические, но и на психические процессы в живом организме. И опять мы наблюдаем, как язык воспроизводит это свойство «светлолюбивости»: у слов типа *светлый, яркий, ясный* развивается переносное значение «хороший, замечательный», а у слов типа *темный, черный, мрачный* — значение «плохой, неприятный». Сравним, с одной стороны, выражения *светлая голова, светлые воспоминания, светлое будущее, яркий талант, яркий пример, ясный мой свет* и т.п. А с другой стороны, вспомним: *темная личность, темные делишки, темный лес, черные силы, черные мысли, черный день, черный рынок, мрачные перспективы, мрачное настроение* и т.п.

Человек вертикально ориентирован в пространстве. Наверху у него голова (вместилище разума!) вместе с важнейшими органами чувств. Внизу — ноги и органы выделения и размножения, принципиально не отличающие его от животного мира. Кроме того, наверху — солнце, источник света, жизни, развития; внизу — земля, грязь, прах. Все это служит основанием для противопоставления «верха» и «низа», чрезвычайно важного для народной культуры (находящего себе выражение в фольклоре, в мифологии и т.п.). Закрепляется данное противопоставление и в языке. Мы скажем: *путь наверх, верхи общества, вершина славы, сияющие высоты, подъем экономики, приподнятое настроение, высшее блаженство...* И в то же время: *дно жизни, спад промышленности, низко пасть, подлый, низкий человек, подонки, упадок сил, нравственное падение, провал в памяти...*

У большинства людей правая рука сильнее и «умелее», чем левая (это связано с расположением внутренних органов — сердца и печени, а, возможно, также с функциональной специализацией полушарий головного мозга). И в соответствии с данным различием правое местоположение ассоциируется в языке с положительной оценкой, а левое — с отрицательной. От слова *правый* (или от корня *прав-*) образуются такие слова и выражения, как: *право, правило, правда, правильный, справедливый, правопорядок, поправка, сидеть по правую руку, наше дело правое, чья сильнее, та и правее...* А от слова *левый* (или от корня *лев-*) образуются *леваша, левизна, левачить, левый рейс, левые деньги, ходит налево, встать с левой ноги, трижды плюнуть через левое плечо* (потому что за ним, по народным поверьям, стоит дьявол, только и ждущий, чтобы человек оступился, ошибся...). Ясно, что таким образом — на основе пространственных представлений — у носителя языка постепенно формируются определенные нравственные, логические, философские категории.

Нетрудно было бы показать, что и другие свойства самого человека — строение его тела, особенности физиологии, продолжительность жизни и т.д. — определяют некоторые детали устройства языка. Стоило бы, например, задуматься над развитием еще таких смысловых противопоставлений, как «передний» — «задний», «прямой» — «кривой», «сладкий» — «кислый» (или «горький») и т.п. — и мы убедились бы, что и в этих случаях на развитие соответствующих слов и особенности их употребления накладывают отпечаток природные качества самого человека.

Любопытно также, как мы оцениваем с помощью языковых средств наших меньших «братьев по разуму». Как правило, эта оценка носит критический характер. Мы говорим: *медлительный как черепаха, неповоротливый как слон, грязный как свинья, устал как собака, ну и гусь!* — и везде в качестве подразумеваемого члена противопоставления, своего рода точки отсчета, выступает сам человек! Тюлень для нас — лежебока, осел — упрям, козел — вонюч и глуп, сорока — болтлива, сурок — сонлив... Зато наши собственные, человеческие свойства (размеры тела, скорость передвижения, способ питания и т.п.) считаются оптимальными, именно они принимаются за образец. Конечно, это еще одно

яркое проявление антропоцентризма языка. И, как и предыдущие, оно глубоко и прочно закреплено в фольклоре (поговорах, устойчивых сравнениях) и в мифологии (верованиях, обрядах, обычаях).

Но главное для нас — все это отражается и в языке. Именно поэтому и *свинья*, и *осел*, и *корова* могут выступать в речи в качестве оскорблений, ругательств — хотя сами эти животные, право, ни в чем не виноваты.

А счет? Ведь не секрет, что привычная для нас десятичная система счисления основывается в своем происхождении на том, что у древнего человека на руках было общим счетом 10 пальцев, и это представляло собой простейшую вычислительную машину. (А еще раньше, в каком-то девонском периоде, у земноводного предка человека были плавники с пятью косточками-ответвлениями...) Случайность? Да. Но сегодня она уже стала необходимостью, без которой невозможно не только развитие фундаментальных наук, но и простой поход в магазин: попробуйте-ка иным способом обозначить сумму, положим, в 25 000 рублей...

А теперь, развивая нашу «фантастическую» тему, зададим себе вопрос: что было бы, если бы праисторический человек (ну не человек — разумное существо) имел бы другую конституцию, другую физиологическую природу? Жил бы в других условиях — например, в темных и холодных глубинах океана, избегая солнечного света (как глубоководные рыбы)? Двигался бы не вперед, а назад (как рак)? Имел бы не десять пальцев на руках, а неопределенное количество шупалец (как у современной гидры — их от 5 до 12)? Какие изменения это неминуемо вызвало бы в языке? Конечно, история, как говорится, не знает сослагательного наклонения: что состоялось — то состоялось. И все же полезно пофантазировать. По-видимому, в языке таких разумных существ (а в том, что язык у них должен был бы быть, никаких сомнений нет!) многие вещи были бы для нас непривычны и странны. Наверное, у них не было бы лозунга «Вперед, к сияющим высотам!», а было бы что-то вроде «Назад, к темным глубинам!». И не «Горячий привет покорителям вершин!», а «Ледяной привет самым низменным подонкам!». А самыми страшными ругательствами в их языке были бы «Ну ты, двуногое!» или «Тварь теплокровная!».

И, может быть, они, минуя десятичную, двоичную и прочие системы счета, сразу пришли бы к операциям с нечеткими множествами (вроде тех, которыми мы пользуемся, говоря о приблизительных количествах: «Дайте мне пару яблок и грамм 300 сыра»)...

И вот теперь, после этих шуточных предположений, мы приходим к вполне серьезному и важному выводу. Мир языка сложился в результате стихийного эксперимента, который проводила с человеком эволюция. Это значит, что устройство языка, его внутренняя структура в значительной степени являются плодом игры случая, результатом стечения обстоятельств. Но в том-то и сила человека, что он может перешагнуть через многовековые традиции и запреты и продолжать экспериментировать далее — уже в меру своих собственных (сознательных) стремлений и возможностей. Человек создает в языке то, до чего не додумалась природа: это здесь появляются и *ледяное пламя*, и *красноречивое молчание*, и *черное золото*, и *голый год*... А вспомним другие, уже приводившиеся примеры: *живой труп*, *честный жулик*, *зияющие высоты*, *прыгающее дерево*, *невозможное возможно*... Метафора, поэзия, шутка, игра — вот та сфера, в которой человек чувствует себя Творцом, в которой он создает иную действительность!

Сегодня, в эпоху массового распространения телевидения и персональных компьютеров, в наше повседневное сознание вторгается новое понятие: виртуальная реальность. Она довольно близка тому, о чем мы говорили выше. Виртуальная реальность — иной, в принципе возможный, правдоподобный, но не настоящий, не наш мир. Он населен отличными от нас существами, действующими по иным законам. Сей мир, как правило, человеку чужд и враждебен, поэтому соприкосновение с ним оборачивается конфликтом, разрушением. Простейшие компьютерные игры-«стрелялки» так и устроены: либо ты убьешь инопланетянина, либо он — тебя...

Не то — в языке: здесь творчество носит принципиально созидательный характер. Каждым шагом языковой игры (сопровождавшей человека на всем пути его эволюции и уж, во всяком случае, несравненно более древней, чем телевидение и компьютеры) говорящий создает какие-то новые объекты, он не разрушает, а обогащает систему. По существу, язык оказывается бескрайним и универсальным полигоном (или лабораторией) для экспери-

ментов. Весь опыт говорящего подсказывает ему, что при определенных условиях здесь может быть все. Поэтому-то человеку так трудно ответить на вопросы типа «А можно по-русски сказать “стрелялка” или “вопилка”? А, допустим, выражение «горючий камень» — это правильно, так говорят? А можно ли сказать «У поцелуев высохли туфли?»» и т. д. Может быть, он, конкретный носитель языка, и не встречал в своей жизни именно таких выражений, но где гарантия, что при каком-то ином, нестандартном положении дел, при описании иных возможных миров данные названия не будут совершенно нормальными и необходимыми?

Нельзя сказать, что в лингвистическом эксперименте, в языковой «виртуальной реальности» совсем уж нет никаких ограничений и запретов, но в принципе допустить здесь можно все, что угодно. Покажем это на одном весьма фантастическом сюжете: соотношении предмета и имени (названия).

Власть человека над природой проявляется уже в том, что человек способен называть предметы — и тем самым определять их и классифицировать. Об этом мы уже говорили в одной из предыдущих глав. А здесь приведем только характерную цитату из «Травы забвения» Валентина Катаева:

«Я заметил, что человека втрое больше мучает вид предмета, если он не знает его названия. Давать имя окружающим вещам — быть может, это одно и отличает человека от другого существа. Но у меня нет такого запаса слов, чтобы назвать миллионы существ, понятий, вещей, окружающих меня. Это мучит. Но еще большее мучение, вероятно, испытывает вещь, лишенная имени: ее существование неполноценно. Сонмы неназванных предметов терзаются вокруг меня и в свою очередь терзают меня самого страшным сознанием того, что я не бог...»

И вот теперь представим себе некое фантастическое общество, в котором принят язык без устойчивых наименований. Каждый предмет всякий раз называется по-новому. Сейчас — так, через минуту — иначе; я называю его одним словом, вы — другим; причем под разными углами зрения — по-разному... Но все это значило бы, что у предмета просто нет названия! Ведь суть языка, важнейшее условие его существования — в том, чтобы знак был —

хотя бы на какое-то время — тождествен самому себе: т.е. определенной форме «приписывалось бы» определенное содержание. Поэтому пользоваться нашим вымышленным языком было бы невозможно: слушающий не понимал бы говорящего, а говорящий сам забывал бы, о чем говорит. Иными словами, требование устойчивости языкового знака незыблемо, и шутить с ним нельзя.

Попробуем тогда изменить нашу начальную гипотезу. Допустим, что в данном языке названия устойчивы, только при этом каждый предмет характеризуется своим собственным именем. Это, казалось бы, не такая уж невероятная ситуация. Ведь пользуемся же мы огромным количеством имен собственных. Мы говорим: это — Саша, это — Лена, а это — Константин Моисеевич. Или: это — «Дядя Ваня», это — «Идиот», это — «Война и мир». Это — улица Маяковского, а это — Солнечная... Да, но дать — в духе рассуждений В. Катаева — отдельное имя каждому карандашу, каждой морщинке, каждому листочку на дереве?.. Напасешься ли таких имен? Да и кому они будут нужны — не станет ли язык просто собранием словесных «этикеток»? Ведь ни обобщающей, ни классифицирующей роли эти названия играть не будут, а следовательно, язык не будет служить нам для процессов мышления и познания мира. Так что и эта гипотеза не более жизнеспособна, чем первая. Значение слова — приходим мы к простому выводу — должно иметь обобщенный характер, и вся игра здесь может заключаться в балансировании на грани «имя нарицательное — имя собственное». Частный случай такой игры мы находим в литературных произведениях, герои которых носят необычные имена: скажем, *распашонка* или *хряк*. Однако не зря они — герои, т.е. личности: эти нарицательные существительные тут же превращаются в собственные! Таковы, например, персонажи автобиографической повести Валентина Катаева «Алмазный мой венец»; за кличками (или псевдонимами) здесь легко угадываются реальные личности: *ключик* — Ю. Олеша, *щелкунчик* — О. Мандельштам, *королевич* — С. Есенин, *синеглазый* — М. Булгаков, *птицелов* — Э. Багрицкий и т.д. Конечно, от такой игры далеко до нашего предположения — чтобы всем предметам присвоить собственные имена. Тут скорее наоборот: личностям условно, «понарошку» даются имена предметов...

Столь же бесперспективным, как и предыдущие, представляется нам еще одно допущение: чтобы все окружающие нас предметы назывались одинаково, одним именем. Если все называется одинаково, то фактически ни у чего имени нет. Это тоже — не язык, и общаться на нем, естественно, нельзя. А играть? Ну, поиграть, пофантазировать — до какого-то времени — можно. Во всяком случае, такая гипотеза реализуется в семантическом мире одного из стихотворений Дмитрия Пригова. Прочитаем:

«Всё в округе звали “Катя”
Это проще, так сказать
Если хочешь что сказать
Говоришь спокойно: Катя
И всё откликается и прибегает
Это гораздо проще —
Не надо каждого отдельно заставлять и упрашивать...»

Для нас же из этого следует такой естественный постулат: разные предметы должны иметь разные названия. Нарушаться данное правило может только в каких-то частных, довольно редких случаях (это ситуация омонимии), и то это незамедлительно становится предметом языковой игры. Вспомним, что говорилось ранее о способности омонимов во множестве порождать языковые шутки, каламбуры и т.п., и приведем дополнительный пример.

«“Это очень престижная вещь. Ухаживать за ней легко и просто. — Глаза женщины были пусты, фальшивы и печальны. — Только необходимо приобрести специальные мешочки. Серебро хранят в мешочках, чтобы уберечь от налета”. — “От налета лучше в сейфе, а сейф закопать в вечную мерзлоту”, — посоветовала я» (Т. Толстая. «Ложка для картоф»).

Слово *налет* «тонкий слой на поверхности чего-либо, например, окисла на металле» вызывает в памяти носителя языка другое, созвучное ему слово *налет* «внезапное нападение» — и говорящий сознательно сталкивает их в одном контексте, рассчитывая, очевидно, на дополнительный эффект. «Если нельзя, но очень хочется, то можно»...

Видоизменим теперь нашу гипотезу об отношениях предмета и имени еще раз. Допустим, что в языке есть обычные нарицательные существительные, только состав их сильно обеднен. Что это значит? Ну, например, какие-то части лексикона просто изымаются из употребления. Делается вид, что соответствующих предметов не существует. Скажем, запрещаются все слова, относящиеся к сфере сексуальных отношений. Или к сфере религии. Или к области общественно-политической жизни, демократических свобод и т.д.

Как ни странно, это не такая уж фантастическая гипотеза. История человеческого общества доказывает, что подобного рода попытки вмешательства в язык (и в общественное сознание) были, и, наверное, еще будут. Не случайно они становятся объектом внимания политологов, социологов, лингвистов, художников слова. Английский писатель Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе «1984» рисует зловещую картину казарменного социализма в фантастическом государстве Океании, и особое место в этой картине занимает язык (новояз), который «был призван не расширить, а сузить горизонты мысли». Вот в чем существенное отличие «новояза» от привычного «старояза»:

«Бесчисленное множество слов, таких, как “честь”, “справедливость”, “мораль”, “интернационализм”, “демократия”, “религия”, “наука”, просто перестало существовать.

Их покрывало и тем самым отменяло несколько обобщающих слов. Например, все слова, сгруппировавшиеся вокруг понятий свободы и равенства, содержались в одном слове “мыслепреступление”, а слова, группировавшиеся вокруг понятий рационализма и объективности, — в слове “старомыслие”... Человеку, с рождения не знавшему другого языка, кроме новояза, в голову не могло прийти, что “равенство” когда-то имело второй смысл — гражданское равенство, а “свобода” когда-то означала свободу мысли, точно так же как человек, в жизни своей не слыхавший о шахматах, не подозревал бы о другом значении слов “слон” и “конь”. Он был бы не в силах совершить многие преступления и ошибки просто потому, что они безымянны, а следовательно, немислимы».

Собственно, обеднение словаря может происходить и «обыденным», эволюционным путем: если незаметно «укрупнять» и обобщать объекты названия. Представим себе, что вместо всех названий птиц — *сойка, зяблик, иволга, щегол, выть, дятел, малиновка, дрозд, снегирь* и т.п. — вводится единое название «птица». Так сказать, всё, что живое, с крыльями и летает, — всё *птица*, и никаких вариантов. Или вместо всех оттенков красного цвета — *алый, багряный, багровый, пурпурный, малиновый, вишневый, рубиновый, пулицовый, рдяный, огненный, кроваво-красный, бордовый* и т.п. — остается одно *красный*. Или вместо всех слов, выражающих в русском языке положительную оценку — *хорошо, прекрасно, превосходно, замечательно, блестяще, великолепно, здорово, прелестно, обалденно* и т.п., — остается одно *хорошо* (или *клёво*).

В результате такого эксперимента мы приходим к некоторому словарю-минимуму, с помощью которого несомненно можно общаться, но вопрос — будет ли это общение полноценным? Для всех ли случаев в жизни оно подойдет?

И опять-таки заметим: подобное допущение не так уж фантастично. Сегодня языковедов и педагогов тревожит то, что из словарного запаса огромной массы людей тихо, «по-английски», уходит большое количество слов. В начале книги мы уже упоминали о лексических фантомах вроде *кентавр* или *флогистон*. И вот теперь оказывается, что в этот ряд — слов-фантомов — попадают, по крайней мере для современного горожанина, и названия типа *зяблик* или *сойка*. Слова-то мы слышали, они нам знакомы, да только что они значат? «Птица»... А знаем ли мы сами предметы, сможем ли отличить сойку от зяблика? Скорее всего, нет. Человек оказывается окружен множеством слов — нет, словесных оболочек, — которые соотносятся не столько с миром предметов, сколько с миром языка, с текстами. И кажется, такая «двойная жизнь» слова устраивает носителя языка. В самом деле, если есть множество предметов, которые неизвестно как называются, то почему не быть множеству названий, которые неизвестно что значат? Правда, иногда человек как бы спохватывается и обводит окружающий мир тревожным взглядом: не пора ли проводить инвентаризацию? Что занесено в наши «бухгалтерские книги», а что из уже познанного куда-то исчезло, утекло сквозь пальцы?

Вот один из героев Владимира Набокова (ослепший после автомобильной катастрофы) размышляет о своем языковом опыте:

«Он с ужасом замечал теперь, что, вообразив, скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, он не умеет назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме вороны и воробья» («Камера обскура»).

Получается, что отношения предмета и имени значительно сложнее, чем это представляется на первый взгляд. И потому естественно, что они создают благодатную почву для различного рода языковой игры.

А теперь, после наших фантастических гипотез, перейдем к экспериментам вполне реальным, происходящим в языке каждый день и каждую минуту. Взять хотя бы сочетаемость слов, об особенностях которой мы размышляли на таких примерах, как *прыгающее дерево* или *голый год*. Что, если те виртуальные миры, фрагменты которых представлены в этих непривычных, окказиональных словосочетаниях, расположены не в ином пространстве (скажем, на иных планетах, в иных галактиках), а в ином времени? Иначе говоря, что если предположить, что необычная сочетаемость слов воплощает в себе некоторое будущее положение дел? Нельзя ли с помощью словесного эксперимента смоделировать, наметить какие-то контуры грядущего? Такая игра давно приходила людям в голову и, прямо скажем, ими же была развенчана и осмеяна. Герой романа Джонатана Свифта, знаменитый путешественник Гулливер, попадает во время одного из своих приключений в страну Бальнибарби, где его знакомят с изобретением, благодаря которому «самый невежественный и бездарный человек при небольшой затрате средств и физических усилий может писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию». Цитируем с небольшими купюрами.

«...Профессор, которого я здесь увидел, помещался в огромной комнате, в окружении сорока учеников... Он подвел меня к раме, по бокам которой рядами стояли все его ученики. Рама эта имела двадцать квадратных футов и помещалась посередине комнаты. Поверхность ее состояла из множества деревянных дощечек, каждая величиной с играль-

ную кость — одни побольше, другие поменьше. Все они были сцеплены между собой тонкими проволоками. Дощечки были оклеены кусочками бумаги, и на этих бумажках были написаны все слова языка Бальнибарби в различных наклонениях, временах и падежах, но без всякого порядка. Профессор попросил внимания, так как собирался пустить в ход свою машину. По его команде ученики взялись за железные рукоятки, вставленные по краям рамы, и быстро повернули их. Все дощечки перевернулись, и расположение слов совершенно изменилось. Тогда профессор приказал тридцати шести ученикам медленно читать образовавшиеся строки в том порядке, в каком они разместились в раме. Если случалось, что три или четыре слова составляли часть осмысленной фразы, ее диктовали остальным четырем ученикам, исполнявшим роль писцов. Это упражнение было повторено три или четыре раза. Машина была устроена таким образом, что после каждого оборота дощечки поворачивались и передвигались, и слова размещались по-новому.

Ученики занимались этими упражнениями по шести часов в день, и профессор показал мне множество фолиантов, исписанных подобными отрывочными фразами. На основании этого богатейшего материала профессор рассчитывал составить полный обзор всех наук и искусств» («Путешествия Лемюэля Гулливера»).

Конечно, сегодня мы читаем эти строки со снисходительной усмешкой, понимая иронию гениального сатирика. Описанные им затраты труда кажутся нам непомерными, доля осмысленных фраз на «выходе» представляется ничтожной, да и вся затея профессора — в высшей степени сомнительной. Однако интересно, что бы сказал Дж. Свифт, если бы узнал, что в конце XX века, в эпоху компьютерных технологий, его идея обретет зримые черты? Действительно, если в компьютерную память ввести словарь, в котором каждому слову приписывались бы определенные параметры (в том числе правила его сочетаемости с другими словами), то машина оказывается способной производить бесконечное множество текстов как бы без участия человека. Осмысленны ли они? Ну, в какой-то степени — да (хотя бы постольку, поскольку в программу был заложен языковой опыт человека: автора программы и тех грамматистов, на разработки которых он опирался). По существу же электронный перебор слов отличается от механического, продемонстрированного Гулливеру, только своей скоростью и в силу этого эффективностью. При необходимос-

ти ЭВМ может производить не только простейшие фразы вроде *Мама мыла раму*, но и значительно более сложные высказывания, и даже их цепочки — целые тексты!

А если при этом грамматическую характеристику слова сделать достаточно «жесткой», а его лексическую сочетаемость оставить довольно свободной, «мягкой», плюс к тому ввести в программу требования ритмической организации текста и рифмовки слов, заканчивающих строку, то может получиться вполне «человеческое» стихотворение вроде следующего:

«Добрый реет шелест,
Плачет пустота.
Слушают качели,
И поет беда.

Стань покорно, горе.
Томно тишь летит,
И прозрачно море
Тайно шелестит.

И бежит земная
Незаметно тень:
Медленно, лесная,
Славит влажный день».

Данный опус заимствован из книги А. Кондратова «Формулы чуда» (М., 1987), подробно и популярно освещающей проблему компьютерного творчества. В 60—70-е годы XX века подобные примеры будоражили воображение читателей и порождали жаркие дискуссии о границах искусственного интеллекта...

А вот, из той же книги, еще один образец машинной лирики:

«И старый небосвод пустеет,
Идут закаты тяжелы.
Быть может, в хрустале белеют
Сегодня ласково стволы?»

Нынче мы относимся к подобным попыткам компьютерного творчества спокойно, взвешенно и с необходимой долей уважения. В конце концов, машина не сотворит ничего такого, что пред-

варительно — в том или ином виде — не заложил бы в нее человек. В то же время мы помним, что и настоящее, «человеческое» литературное творчество включает в себя постоянное остранение, метафоризацию, нарушение тех или иных языковых норм (в том числе и норм лексической сочетаемости).

Автор воспоминаний о Сергее Есенине И. Шнейдер рассказывает, что как-то раз он застал поэта увлеченно раскладывающим на полу комнаты какие-то листочки. На бумажках было написано: *снег, огонь, лист, осень, дерево, горит, плачет, жует, падает, синий, розовый, красный...* В общем-то обычные слова, но сочетания их то и дело выглядели неожиданно, загадочно (*синий огонь, дерево плачет...*), и Есенин, как ребенок, радовался получившимся метафорам: они «никогда бы не пришли сами в голову!» Не будем здесь вдаваться в особенности процесса литературного творчества (в частности, в то, насколько обдуманно или, наоборот, случайно, непредсказуемо и для самого автора образуются комбинации слов), но обратим внимание на то, что в поэзии С. Есенина необычные словосочетания действительно составляют одну из важнейших черт. Так, в одном только стихотворении «Сорокоуст» мы встречаем выражения *песенные блохи, жестяной поцелуй, мукомольный нюх, электрический восход, лягушинный писк, равнин пятерня, окровавленный венник зари, дворový молчальник бык, желтый ветер осенницы, праздник отчаянных гонок* и многие, многие другие...

Так что эксперимент с сочетаемостью слов, игра в «словесные цепочки» продолжается, и не только в поэзии. Известный писатель-фантаст Станислав Лем в одном интервью так охарактеризовал суть своего творческого метода: «Я не обладаю воображением, которое было бы неязыковым, нелингвистическим, несловесным воображением. Все, что я написал, не было переводом каких-то картин, каких-то видений на слова и фразы, но строилось исключительно внутри самого языка. Из фраз, которые я заново на бумагу, построены все созданные мной миры» («Книжное обозрение». 1989. № 36).

Ну, хорошо, скажет читатель, это все литературное творчество, сфера вымысла, фантазии. А строгое научное познание — уж оно-то безразлично к языковой игре? Ему ведь чужды красоты слога,

образность выражения и т.п.? Как сказать, как сказать... Дело тут, собственно, не в красоте изложения, а в возможностях познания. Философу Людвигу Витгенштейну принадлежит афоризм: «Границы моего языка означают границы моего мира». А что если раздвинуть эти границы, в порядке эксперимента «отнести подальше» колючую проволоку слов? Может быть, тогда и сам мир окажется шире, богаче?

На эту мысль наводят нас появляющиеся в разных науках составные термины, в основе которых лежат нетипичные (метафорические) сочетания слов. Приведем здесь только краткий их список, ограничиваясь при этом моделью «прилагательное + существительное»: *грудная клетка, черепная коробка, коленная чашечка, слепая кишка, зубной камень, холодное оружие, взрывная волна, воздушный океан, черная дыра, белый карлик, теплые цвета, текущая политика, теневой кабинет, силовые министерства, потребительская корзина, мыльная опера, телефонное право, заказное убийство* и т.д. Понятно, как возникли такие словосочетания: новые (или новооткрытые) явления искали себе названия. И естественно, что при этом они пытались «опереться» на какие-то прежние, уже познанные и названные, фрагменты действительности. Кстати, и обычные, однословные термины тоже в значительной своей части вырастают из метафор. Сравним примеры типа *сила, заряд, сопротивление, напряжение* в физике, *ткань, сосуд, клетка, торможение* в биологии, *управление, союз, предложение, корень* в языкознании... Лингвисты заметили, что роль необычных словоупотреблений или словосочетаний в процессе именования новых явлений не случайна: метафора — мощное средство обогащения языковой техники (Б.А. Серебренников, Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия и др.). Более того, некоторые аспекты новой мысли, нового понятия «могут быть осмыслены исключительно посредством метафоры» (Л. Кишкель). Причем между научным и художественным текстами в данном плане нет принципиальных различий: механизм использования «старых» названий для называния «новых» понятий един. Да и эстетическое удовлетворение от процесса творчества присутствует в обоих случаях. Любопытен в этом смысле один пример из истории науки. Как показал С. Аверинцев, древнегреческие мыслители, озабо-

ченные проблемой создания специальной философской терминологии, постепенно «втягивались» в процесс творчества до такой степени, что уже играли словами и без особой на то необходимости: «Ум эллинского философа — почти произвольно работающий “генератор” тропов, антитез, всякого рода словесной и просто языковой игры» (статья «Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда»).

И вот теперь, после всех этих теоретических рассуждений, попробуем поэкспериментировать на конкретном языковом материале. Все мы хорошо знаем, что такое вода: прозрачная жидкость без вкуса и запаха, используемая человеком для питья и приготовления пищи, для мытья и стирки. Мы знаем: вода бывает холодная и горячая, пресная и соленая, прозрачная и мутная... В сказках вода бывает живая и мертвая. Хозяйки знают также: вода бывает жесткая и мягкая, в последней стирать лучше. Спортсмены-пловцы знают: вода в бассейне бывает быстрая, в ней легче плыть. Физики знают: существует еще тяжелая вода. Это разновидность воды, в которой легкий атом водорода замещен его тяжелым изотопом — дейтерием. Тяжелая вода (ее плотность выше плотности обычной воды, отсюда и название) была открыта американскими физиками в 30-е годы XX столетия и затем сыграла огромную роль в становлении атомной энергетики и в развитии ядерных вооружений.

И так и хочется спросить: а что если бы кому-то из ученых словосочетание *тяжелая вода* (казавшееся абсолютно фантастическим в начале XX века) пришло в голову раньше? Не ускорило бы это процесс физического открытия? Хм, опять «а что если» да «если бы»... Трудно сказать: может, и ускорило бы. Но перенесем вопрос в плоскость сегодняшнего дня. Вот мы уже знаем: вода бывает не только пресная, теплая, прозрачная и т.п., она бывает также жесткая, тяжелая, какая еще? Быть может, она бывает также упругая, усталая, ленивая, хрупкая, звонкая, рассыпчатая, напряженная, беспамятная? Как знать, не подтолкнут ли эти метафоры научный поиск, не наметят ли его новое направление? Не приведет ли это к каким-то очередным достижениям в человеческом познании мира?

А можно решиться на еще более рискованный эксперимент — почти в духе профессора из страны Бальнибарби у Свифта. Запишем в два столбика слова. Один столбец будет состоять из существительных, обозначающих понятия-субстанции, а другой — из прилагательных, служащих определениями.

Ну, например, так:

вариант	мягкий
волна	отрицательный
частица	глубокий
позиция	скользящий
эффект	прыгающий
интервал	нулевой
зависимость	острый
переход	скрытый
символ	темный
удар	мерцающий
реакция	глухой
функция	летучий
угол	слабый
напряжение	мертвый
контакт	вертикальный
.....	

И теперь можно поиграть с самим собой в комбинации слов, не слишком удивляясь тому, что рядом с какой-нибудь загадочной *прыгающей функцией* или *отрицательным напряжением* обнаружатся вполне нормальные, знакомые нам *слабая позиция* или *мягкий угол*... А можно обратиться к специалистам, представителям разных наук, с вопросами: какие сочетания слов из левого и правого столбцов вы считаете возможными применительно к вашей науке? Какие из них представляются вам перспективными, т.е. могущими стимулировать научный поиск? Какие комбинации, на ваш взгляд, могли бы использоваться для обозначения явлений в некотором ином — виртуальном — мире?

Что же дает нам такая игра со словами? Она демонстрирует скрытые резервы человеческой мысли. Язык со всем сконцентрированным в нем опытом не просто «стоит за спиной» исследователя, готовый в любую минуту предложить ему свои услуги по

называнию и определению предметов, но и позволяет в принципе «забегать вперед» по этой дороге познания. Всё, что будет изобретено и открыто, можно предугадать с помощью слов, смоделировать на языковом полигоне.

Но разве — слышатся возражения — сочетания слов не роят только сочетания слов, ничего не меняя в самом окружающем мире? Что толку от такого механического перебора, от обезьяньей перетасовки существительных и прилагательных? И сколько будет тех «полезных» комбинаций, ради которых придется перелопатить целые горы словесного мусора?..

На это можно ответить так. Да, что касается продуктивности словесного комбинирования, она чрезвычайно низка. Может быть, только сотая или тысячная часть теоретически возможных вариантов сочетаний будет востребована человечеством в его познавательной деятельности. Но ведь и затраты, заметим, ничтожны! Наш эксперимент практически ничего не стоит: для него не нужны ни барокамеры, ни центрифуги. Язык, можно сказать, предоставляет уникальный бесплатный полигон для игры мысли.

А что до содержательной стороны языкового моделирования, то оно вовсе не так уж бесплодно и бесперспективно. Возможно, получившиеся языковые единицы предоставят человеку новые формы, в которые отольется новая мысль. Кстати, история цивилизации знает немало примеров того, как какая-то идея, вначале выраженная в словах, затем воплощалась в реальность. «Но прежде оружия мы испытываем слово», — говорится в самом начале замятинской антиутопии «Мы». А разве это действительно не так? Задолго до того, как появилось лазерное оружие, идея смертоносных лучей уже фигурировала в фантастической литературе (яркий пример — «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого). Словесный эксперимент обгонял реальность (а может быть, и приближал ее наступление).

Многие явления общественной жизни появились первоначально «на кончике пера»: это были лишь слова и их сочетания. А затем жизнь брала из литературы (и в конечном счете из языка) то, что оказывалось пригодным. Неслыханный для своего времени успех романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» заключал-

ся в том, что описанная в нем модель поведения «новых людей» стала бурно распространяться в российском обществе: тогдашних «новых русских» чуть ли не в буквальном смысле «вычитали» из книг (И. Паперно). Идеи фиктивного брака и тройственного семейного союза тоже получили широкое признание после появления романа Чернышевского; словесные конструкты воплощались в жизнь.

Подобные ситуации встречались и до, и после того. Исследователи отмечают сильнейшее влияние, которое оказывали на читающую публику герои Байрона и Гёте (в частности, концовка «Страданий юного Вертера» спровоцировала в Европе волну самоубийств). Движение тимуровцев (и само понятие «тимуровец») вошло в жизнь советских людей после появления повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Из совсем уж свежих примеров напомним о той роли, которую сыграл в общественной жизни роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», бывший долгое время запрещенным. Андрей Вознесенский вспоминает, что этот роман породил жизнь: «Политики шли в крестовые походы за и против романа. Появились дубленки, называемые “стиль Живаго”...» (из предисловия к книге «“Доктор Живаго” Бориса Пастернака с разных точек зрения»).

По этому поводу можно было бы процитировать один из парадоксов Оскара Уайльда: «Жизнь подражает Искусству куда более, нежели Искусство следует за Жизнью». Но стоит особо подчеркнуть, что речь в этом афоризме идет прежде всего о словесном искусстве, а не, скажем, о живописи или о музыке. Кроме того, не забудем, что сферу языкового моделирования составляет не только литературное творчество, но и, к примеру, общественно-политическая жизнь. Достаточно вспомнить такие явления в истории нашего общества, как продрозверстка, новая экономическая политика (нэп), электрификация, всеобщее среднее образование, разоружение, столы заказов, безалкогольные свадьбы, компенсация вкладов и т.п. — все они появлялись вначале как словесные конструкты и лишь затем обретали плоть и кровь...

Причем до сих пор мы говорили о языковом моделировании главным образом применительно к сочетаемости слов. Но ведь эксперимент постоянно происходит и в словообразовании, и в

синтаксисе, и в рамках целого текста... Везде человек, используя язык, хочет получить от него чуть больше, чем предусмотрено соответствующими правилами учебника.

В частности, в одной из предыдущих глав уже шла речь об окказиональном словообразовании, о словах типа *образованец* или *гребучесть*, которые обладают большой силой экспрессии, эстетического воздействия на слушателя, но не рассчитаны на долгую жизнь. Точнее, они образуются «на один раз», для данного случая — и в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что при обычном, или, как еще говорят, узуальном¹, словообразовании условием возникновения нового названия является общественная потребность в нем. Это значит, некоторое явление становится достаточно частым в жизни общества, важным для сознания многих людей — и именно тогда оно требует своего наименования.

Вот простой пример. Легковые автомобили существуют уже более ста лет. Естественно, они всегда привлекали к себе не только восхищенные, но и завистливые взгляды. И наверное, сколько лет существует автомобиль, столько лет имеют место попытки его похищения, угона. Но только когда это явление из единичного, редкого, случайного стало массовым, регулярным, перешагнуло некоторый «порог общественной значимости» — тогда появились в русском языке специальные выражения *угон автомобиля, угонщик*... Прошло какое-то время, в человеческой жизни появились новые ценности. Бурное развитие электроники и информатики привело к широкому распространению компьютеров, к появлению новых профессий (таких, как программист), компьютерных игр и компьютерных фанатов. И опять: появились люди, занятием которых стала... кража информации путем проникновения в чужие программы и файлы. Как только данное явление стало достаточно регулярным (чтоб не сказать массовым) и общество осознало его важность и опасность, оно выделилось в отдельное понятие. И в языке возникли выражения, которые до тех пор были просто не нужны: *компьютерный взломщик, хакер*.

¹ *Узуальный* — соответствующий узусу, т.е. общепринятому употреблению языка.

Но так обстоит дело при обычном, «нормальном» словообразовании. Когда же мы имеем дело со словообразовательным экспериментом, то говорящего не волнует, существует или нет общественная потребность в появлении данного названия; здесь действует иная, уже знакомая нам мотивировка: потешить слушателя (читателя), поёрничать, «поозорничать» самому, продемонстрировать всем свою свободу и независимость. Ну в самом деле, зачем бы это в русском языке создавать специальное слово *вдолгожитель* (пример из газеты) со значением «человек, живущий в долг», кроме как для того, чтобы поиграть на созвучиях *долго — в долг?* Или зачем русскому языку существительное *козлотур*, обозначающее мифическую помесь горного тура и домашней козы, если бы это не диктовалось замыслом сатирической повести Фазиля Искандера «Созвездие Козлотура» (там, кстати, фигурирует и *козлотуризация*, т.е. «движение за массовое разведение козлотуров»)? Или зачем, при наличии в русском языке слов *отъезжающий, эмигрант, беженец* и т.п., создавать еще полшутливое название *отъезжант*: есть ли в нем принципиальная необходимость?

Вообще установка говорящего на игру очень ярко проявляется в случаях «пустого» словообразования, когда за словообразовательными «наворотами» не стоит никакого нового понятия или дополнительного значения — прибавление или изменение суффикса изменяет (повышает) только экспрессивность слова. Этим объясняется возникновение таких новообразований, как *штукенция* и *старушенция* вместо *штука* (или *штуковина*) и *старушка*, *супешник* и *лобешник* вместо *суп* и *лоб*, *депрессуха* и *банкетуха* вместо *депрессия* и *банкет*... Так появляются в разговорной речи (откуда они проникают и в письменные тексты) *горючка* вместо *горючее*, *погранец* вместо *пограничник*, *фальшак* вместо *фальшивка*, *дозняк* вместо *доза* и т.п.

И все же, прибегая к словообразовательной игре, говорящий не просто утоляет свой эстетический голод и подспудное стремление к бунту, хотя бы и словесному. Своим речетворчеством он еще испытывает на прочность словообразовательную модель: каковы ее возможности? Не пригодятся ли они в иных обстоятель-

ствах, в которых данное название было бы естественным и необходимым? Ведь, в конце концов, таким иным — виртуальным — миром может быть мир фантазии, литературы, искусства. И козлотуры, и отъезжанты там вполне на своем месте...

Что же касается поиска названий для новых понятий, то заметим: человек может обозначить их не только с помощью «классических» словосочетаний (типа *компьютерный взломщик, воздушный коридор, белый шум*) или словообразования (*подстрочникист, фронталка, чернуха* и т.п.), но и с помощью иных средств. В частности, сейчас для нас представляет интерес один довольно оригинальный способ, также имеющий отношение к языковой игре.

Речь идет о соединении слов, одинаковых по своей грамматической (частеречной) характеристике, например: *папа-мама, огурцы-помидоры, хлеб-соль, соль-сахар, соль-спички, банки-бутылки, сад-огород, имя-отчество, печенья-варенья, варенья-соленья, пригорки-ручейки, пить-есть, читать-писать, пять-шесть, тридцать-сорок, туда-сюда, худо-бедно* и т.п. Формально перед нами тоже сочетания слов, иногда более устойчивые (*папа-мама, хлеб-соль*), иногда более свободные, случайные (*соль-спички, пригорки-ручейки*), но в любом случае какие-то странные, своеобразные. Связь между частями этих сочетаний выражена только их соположением: они просто «прилепляются» друг к другу, причем среди них не удастся обнаружить ни главного, ни зависимого слова. Данные конструкции напоминают нам определительные словосочетания с приложением (*ковер-самолет, дом-музей*) и в то же время похожи на сложные слова (*премьер-министр, северо-запад*). Самое же интересное — то, что их значение не совпадает ни со значением каждого отдельно взятого слова, ни с их суммой. Говоря по-другому, семантика таких конструкций не образуется механическим сложением семантики их частей.

К примеру, если мы говорим: «Осторожно, ты себе руки-ноги переломашь!», то в понятие, стоящее за сочетанием *руки-ноги*, входит, скажем, и шея! *Руки-ноги* это ведь не «руки + ноги», а вообще «части тела»! Если мы слышим в разговоре хозяек «А соль-перец добавьте по вкусу», то это значит, что добавить можно не только буквально соль и перец, но и всякие другие специи:

гвоздику, корицу, лавровый лист... Если мы ищем в гостях штопор, то можем спросить: «Где тут у вас вилки-ложки?», имея в виду разную столовую утварь, посуду. Стало быть, значение такого словосочетания не только не равно сумме его частей, оно оказывается каким-то размытым, расплывчатым, приблизительным. Вот еще примеры. Мальчика спрашивают: «У тебя папа-мама дома?» — и хотя *папа-мама* это в прямом смысле «родители», в вопросе слышится более широкое: «Есть кто из старших (взрослых)?» Или если вы попросите взвесить пять-шесть яблок, то, наверное, не удивитесь, если вам положат на весы семь штук: ничего страшного... Получается, что таким образом выражаются особые — более нечеткие, более «мягкие», чем обычно, — понятия; человек создает для себя удобное средство выражения приблизительности. Нельзя сказать, что это новое явление в русском языке (в фольклоре уже давно встречаются и *гуси-лебеди*, и *печки-лавочки*, и *елки-палки*), но на современном этапе оно становится очень популярным.

И, как это обычно бывает, языковая игра, подобно увеличительному стеклу, усиливает эту тенденцию, выпячивает особенности данных словосочетаний, прежде всего их смысловую приблизительность. Вот пример, современная частушка:

«На собрании была,
руки-ноги подняла,
а за что голосовала, —
ничего не поняла».

Голосуют обычно, поднимая руки. Героиня же частушки, поднимая «руки-ноги», хочет этим сказать, что она заранее и со всем согласна. Сочетание *руки-ноги* расширяет здесь свое значение до максимума, до абсурда — до объема «все, что угодно».

Обыгрываться может и та свобода, с которой слова (прежде всего существительные) входят в подобные конструкции, комбинируются друг с другом. Скажем, понятие «иностранец» можно выразить в тексте с помощью сочетания *немец-американец*, а можно — *швед-француз* или *бельгиец-голландец*...

Вот подходящий пример:

«Ежели бельгийца-голландца послать в русский сортир — он возмутится и сочтет, что над ним издеваются» (В. Сысоев. «Утка на зимней даче, или За вами следят»).

Понятно, что эта вариативность составных названий, свобода комбинирования их частей как нельзя лучше отвечает принципу игры. Да и экспрессия, образность у таких сочетаний несравненно выше, чем у официальных, казенных наименований, ср., с одной стороны, какие-нибудь *печенки-селезенки*, а с другой — «внутренние органы», *книжки-тетрадки* и — «школьные принадлежности», *петрушка-морковка* и — «огородная зелень»... И опять возникает вопрос: случайно ли тяготение языка к этим конструкциям? Не связано ли оно с распространением в русском языке других средств выражения приблизительности, нечеткости (*где-то, какой-то, вроде, типа, как будто*...)? Не свидетельствует ли это о каких-то изменениях в общих принципах наименования? Может быть, человеку просто надоели, приелись точные определения (ради которых столько веков старалась наука), а языковой эксперимент дарует ему желанную свободу действий?

Интересны в данном плане и примеры игры с синтаксическими моделями. Те образцы построения высказываний, которые существуют (и функционируют) у нас в голове, рассчитаны, как мы уже знаем, на заполнение определенной лексикой: для одних позиций подходят слова со значением «живое существо», для других — со значением «предмет», для третьих — «природная сила», для четвертых — «отвлеченное понятие» и т.д. Поэтому примеры вроде уже приводившихся *Одиночество ест со сковородки* или *Мылу трудно стирать (в жесткой воде)* воспринимаются слушающим как языковая игра, наверняка скрывающая за собой какой-то особый смысл.

Впрочем, случаи несоответствия лексического значения слова занимаемой им синтаксической позиции могут приводить и к другому результату: недоумению или недопониманию адресата. Вот иллюстрация из художественного текста — председатель колхоза сетует:

«— Мне иногда бабой жать выгоднее, чем комбайном.
Бабой жать! Каково?!

— Как это — бабой? — удивился Воловенко. — Что, в МТС комбайнов мало?

— Да так — вручную. Ей, бабе то ись, запасной детали не требуется...» (Ю. Щеглов. «Поездка в степь»).

Та же ситуация неполного понимания может возникнуть, если какое-то слово незнакомо слушающему: его значение тогда «подгоняется» под опознанную синтаксическую позицию. Пример: мальчик читает стихи:

«И занимают бивуаки
Доныне мирные поля,
И, как от бешеной собаки,
От вас избавится земля!

Что такое “бивуаки”, я не знал, но я представил себе, что это такие рослые, отборные солдаты в какой-то особой, строгой форме. Они всюду выходят на поля...» (В. Шефнер. «Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде»).

Однако если брать данное явление в целом, то игра с синтаксическими моделями и составляющими их синтаксическими позициями приводит еще к одному эффекту, неожиданному для самого говорящего. А именно: она расшатывает, смягчает лексические условия употребления синтаксических моделей, модифицирует механизм взаимодействия лексики и синтаксиса как составных частей языка, подготавливает носителя языка к восприятию иной действительности. Так, если человек допускает, что тяжело может быть не только живому существу, но и, скажем, ножу (режущему твердый материал) или полке (перегруженной книгами), или допускает, что провожать прохожего может не только приятель, но и, положим, забор или аллея деревьев, это значит, что он готов к восприятию поэзии. В противном же случае ему будет затруднительно читать такие строки, как:

«Тягучий вздох, ныряя звоном тощим,
Целует клюв нахохленной совы»

(С. Есенин. «О красном вечере задумалась дорога...»).

«Едва ль до нас заре
Сквозь чашу дотянуться»
(Б. Пастернак. «По грибы»).

«Жаль юношу Илюшу Лапшина,
Его война убила»
(Д. Самойлов. «Памяти юноши»).

«И генерал-майор Панфилов
Ложится сам за пулемет.
И в штабе писарю чернила
Уже легенда подает»
(Я. Козловский. «Москва 1941 года»).

«Кораблям не спится в порту.
Им снятся моря, им снятся ветра»
(И. Кашежева. «Опять плывут куда-то корабли...»).

Весьма характерны в данном плане и приводившиеся ранее случаи хиазма, синтаксических перевертышей. Казалось бы, ну чего от них особенного ожидать: безобидная и традиционная словесная забава! Конечно, нередко они остроумны, рассчитаны на яркий комический (или вообще художественный) эффект, например: *Следует есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть* (афоризм, восходящий к Сократу); *Лечится даром — это даром лечиться; Лучше эскимо без палочки, чем палочка без эскимо* и т.п. И все же зачастую перед нами просто жонглирование словами, отработанный и почти приевшийся риторический прием...

Однако если такая игра регулярно приводит к перевертыванию отношений между сущностями, то это, наверное, не проходит бесследно для наших представлений о мире. Сравним следующие примеры, в основе которых лежат буквальные или слегка видоизмененные цитаты из различных литературных источников.

«Человек не выбирает эпоху. — Эпоха выбирает человека».

«Франц любил вещи, но вещи не любили Франца».

«Герой ищет награду, а награда ищет героя».

«Политики хоронят закон, закон хоронит политиков».

«Правительство не владеет ситуацией, ситуация владеет правительством».

«Человек убивает время. — Время убивает человека».
«Мы строим дорогу. — Дорога строит нас».
«Мы толкуем прошлое. — Прошлое толкует нас».
«Мы выбираем язык. — Язык выбирает нас».
«Мы пишем книги. — Книги пишут нас».
«Не я вышагиваю стихи. — Стихи вышагивают меня».
«Не я покидаю Россию, Россия покидает меня».

При всем кажущемся разнообразии эти примеры в чем-то однотипны.

Везде во второй части высказывания нарушен некоторый привычный порядок вещей, при котором человек является активной движущей силой, субъектом действия. Тут, при измененном взгляде на мир, «действующим лицом» становятся предметы и отвлеченные понятия. И дело не только в том, что перевертывание отношений приводит нас к маленьким открытиям: мы вдруг узнаем, что время способно убивать, а вещи могут кого-то любить или не любить... Когда такие «отношения наоборот» становятся привычными для нашего сознания (а многие подобные примеры вроде *Награда ищет героя* или *Стены замка видели многих знаменитых людей* уже не вызывают у нас удивления; это, можно сказать, мертвые метафоры), то это значит, что наши речемыслительные стереотипы расшатаны, что на смену одним образцам построения высказываний приходят другие. Фактически на наших глазах формируются новые модели отражения действительности, возможно, более «мягкие» или более обобщенные по сравнению с традиционными. А начинался этот процесс, в общем-то, с механической игры словами...

Поэтому роль языка в познавательной и мыслительной деятельности человека трудно переоценить. Язык не только обслуживает ежедневные потребности человеческого ума, он также ведет мысль за собой, торит ей дорогу, предусматривая — «на всякий случай» — всевозможные, даже нереальные ситуации. Своими постоянными сдвигами и вариациями — в том числе изменением лексических значений, словообразовательными новшествами, синтаксическими трансформациями — язык гарантирует мысли возможность движения «вперед» и «в стороны» — в поиске иных реальностей. Именно в этом заключается смысл языко-

вого творчества, непрекращающегося словесного эксперимента, который, быть может, и не дает сиюминутных результатов, но призван обеспечить духовную гармонию человека в его сложных взаимоотношениях с окружающим миром.

Но, занимаясь нашими фантастическими сюжетами («что было бы, если бы...»), мы как-то упустили из виду обычного носителя языка: а как он видит все это? В частности, как он воспринимает остранные, «полунеправильные» высказывания, созданные «в порядке эксперимента»? Не приводит ли обычного человека игра с языком в такое состояние, в котором он уже не в силах понять, что «правильно», а что «неправильно», что «может быть», а что уж «совсем невозможно»? Или носитель языка все же сохраняет способность трезво оценивать речевые факты с позиций заложенных в нем идеальных представлений о языковой системе?

Отвечая на эти вопросы, стоит прежде всего напомнить, что языковая игра — это не какие-то элитарные «штучки», не развлечение высоколобых снобов, не придумки писателей и философов. Это повседневная речевая реальность обычного человека. Шутки и каламбуры, речевое кривлянье и словотворчество, «расширенное» толкование слов и более свободное, чем следовало бы, обращение с правилами грамматики — все это нормально сопровождает функционирование языка. Просто человек обычно не замечает у себя речевых отклонений, не фиксирует на них свое внимание. Вспомним слова Л.В. Щербы: «Неужели я мог так сказать?» — вот естественная реакция говорящего на предъявленные ему записи его собственной речи. Что же касается оценки человеком «отрицательного языкового материала» в речи других, то это вопрос сложный. Конечно, есть люди толерантные, терпеливые к чужому поведению, в том числе речевому, и есть люди, нетерпимые к любым отклонениям. Они считают: разреши сегодня всем говорить, как им хочется, — они завтра будут на голове ходить! Но ведь должна же существовать какая-то «усредненная», более или менее объективная точка зрения? Или ее нет?

Для того чтобы получить более полное представление о том, как человек относится к речевым отклонениям, расскажем об одном специально проведенном психолингвистическом экспери-

менте. Из различных художественных и публицистических текстов на русском языке были выбраны 30 цитат. Это были самые что ни на есть настоящие, реальные высказывания, вырванные из авторского повествования или из речи персонажей, но условием для их отбора было то, чтобы в примере содержалась какая-то странность, неправильность, отклонение. Иногда это была чуть заметная шероховатость, легкая языковая небрежность (например: *Ему не хватило каких-нибудь пять лет*). Иногда же отклонение прямо-таки било в глаза, заставляя читателя вернуться к началу фразы: так ли он все понял? (Вот такое, к примеру, высказывание: *Из сестер стрелять нельзя*. Некоторые из примеров, кстати, уже знакомы читателю: они фигурировали в предыдущих главах.) Надо сказать, что авторами цитат были вполне солидные, признанные писатели и поэты: А. Толстой и И. Ильф, Н. Олейников и И. Бродский, Э. Радзинский и В. Токарева, М. Жванецкий и Г. Остер... Среди источников нашего иллюстративного материала были также газеты «Известия» и «Комсомольская правда», журнал «Огонек» и еженедельник «Аргументы и факты»... Некоторые цитаты пришлось, с учетом условий нашего эксперимента, слегка адаптировать (сократить или упростить), но большинство из них сохранило свой оригинальный вид.

И вот список данных примеров (без указания на авторство и источник) был предложен 100 «экспертам», в роли которых выступали студенты-первокурсники филологического факультета университета. Задание для всех было одинаково: оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале следующие предложения с точки зрения их правильности/неправильности (возможности/невозможности):

- 5 — нормальная фраза, так и надо сказать;
- 4 — почти нормальная фраза (допустимая в некоторых условиях);
- 3 — затрудняюсь определить: можно так сказать или нельзя;
- 2 — почти невозможная фраза: вряд ли так можно сказать;
- 1 — так сказать совершенно нельзя, так по-русски не говорят.

И далее шли сами примеры. Мы приведем их здесь, только после каждого примера сразу добавим ту среднюю оценку, которую он получил в ответах испытуемых.

Трава чистила ботинки	2,27
Солнце слепит паркет	1,87
Вулкан опушку пересек	2,07
Вулкан закрывает базу	3,08
Пьеса закрыла студию	1,82
События принимают решения	1,55
Игоря она вспахала и засеяла	1,51
Лай чреват собакой	1,84
Свинью накрыло сумерками	1,76
Не мойте деньги собаками	1,28
У поцелуев высохли туфли	1,31
На мотоцикле шить нельзя	3,53
Из сестер стрелять нельзя	1,55
Всем было счастье	3,04
«Руслану» отказали двигатели	2,88
Кирпичу негде упасть	3,78
Человек человеку совет, способ и инструмент	3,32
Всю книгу скрывается от властей	2,26
В какую рань меня принесло!	3,79
Тут не столько работают, сколько плохо	2,08
Этим работам нечего со- и противопоставить	2,84
Все лампочки перегоремши	2,39
Ему не хватило каких-нибудь пять лет	3,72
Всю поездку я об этом галжу	3,77
Конец лета бархатен для отдыха	2,21
Воздух влажен и тепел	2,76
Чем рама золотее, тем дороже	2,61
Важно проблему не заговорить	2,59
Держава огитарена наперевес	1,81
Макс совсем издрожался	2,49

Конечно, деятельность нашего «эксперта» отличалась от деятельности читателя в обычных условиях восприятия текста. Прежде всего, у фраз здесь полностью отсутствовал контекст. А именно в своем «родном» окружении такие предложения воспринимались бы совсем по-другому. Скажем, получивший самую низкую оценку пример *Не мойте деньги собаками* по своему происхождению — заголовок статьи в «Московских новостях», в которой речь шла об отмывании преступных денег через общества собаководов. Все сразу становится на свои места...

В то же время можно предположить, что на «эксперта» — будущего филолога воздействовала и некая «магия печатного слова». Ведь откуда-то, думал он, эта фраза взята? Кому-то она пришла в голову? В каких-то условиях она возможна? Но разве все эти условия предусмотреть?

Понятно, что каждый пример воспринимался разными испытуемыми по-разному: кто-то ставил ему более высокую оценку, кто-то — более низкую. Для того чтобы эти колебания уравновесить, нейтрализовать, и была подсчитана средняя оценка по каждому высказыванию. Делалось это просто: общая сумма баллов, «заработанных» примером в ответах, делилась на количество ответов (последних было, как правило, 100). Какие же выводы можно сделать из полученных цифр?

Прежде всего, подтверждается старая истина, что деление языковых фактов на «правильные» и «неправильные» очень грубо; оно не соответствует ощущениям носителя языка. Скорее следовало бы говорить о том, что существует разная степень правильности/неправильности (отмеченности/неотмеченности, возможности/невозможности) языковых фактов (М.И. Белецкий, И.И. Ревзин и др.).

Далее, обратим внимание на то, что ни одно предложение не получило в эксперименте всех максимальных оценок («пятерок») или всех минимальных («единиц»). Разброс средних оценок по примерам составляет от 3,79 («наиболее приемлемое» высказывание) до 1,28 («наименее возможное»). Это значит, что носители языка (если считать наших «экспертов» правомочными представителями таковых) относятся к отклонениям от нормы достаточно строго и критично (что объяснимо, если вспомнить, по какому принципу отбирались примеры), но вместе с тем ни одному высказыванию не было полностью отказано в «праве на существование».

Представляет интерес также количественное распределение оценок в общей массе ответов. В общей сложности испытуемые поставили 272 пятерки, 662 четверки, 306 троек, 597 двоек и 1128 единиц. То, что пятерок оказалось мало, — это опять-таки понятно: материал не давал оснований для высшего балла. Даже высказы-

вание, казавшееся испытуемому совершенно нормальным, находилось в окружении своих явно «испорченных» соседей, и это бросало на него некую тень подозрения... Но интересно, что в ответах очень мало и троек (соответствующих критерию «затрудняюсь определить: можно так сказать или нельзя?»). Это значит, что носитель языка чувствует себя довольно уверенно в своей языковой компетенции и выносит обвинительный или оправдательный «приговор» без особых колебаний. (Может быть, это потому, что у него за плечами средняя школа с ее категоричностью оценок?)

Наконец, следует сказать несколько слов о связи речевых отклонений (неправильностей) с языковой игрой. Прямой зависимости здесь, очевидно, нет. Потому что неправильности в речи могут возникать и без всякого игрового посыла — просто, скажем, в силу недостаточного языкового опыта, малограмотности говорящего, каких-то помех, затрудняющих речевой акт, и т.п. Но, с другой стороны, ведь языковая игра очень часто (чтобы не сказать — как правило) предполагает то или иное отклонение от нормы, а это означает неправильность, не так ли?

На практике же выясняется, что высказывания, «сделанные» с явной игровой целью, обнаруживаются как среди примеров, получивших высшие средние оценки в нашем эксперименте, так и среди примеров с самыми низкими средними баллами. О чем это говорит? Только о том, что языковая игра может включать в себя и более сильное, явное, грубое отступление от нормы, и более мягкое, «деликатное», незаметное.

Но важно и другое. Языковая игра и языковая ошибка (отклонение, неправильность, аномалия) имеют в своей природе много общего, у них единые корни: «они порождаются одним и тем же механизмом и по структуре являются близнецами» (Л.Н. Мурзин). И там и там мы имеем дело с нарушением границ классов, установленных в языке, с неправомерным расширением законов комбинаторики, с выбором «чужой», неподходящей единицы... Хорошо известно, что один и тот же факт речи может появиться в результате ошибки, обмолвки, незнания правил, а может быть предметом языковой игры — ср. примеры типа *я галжу, человеки, интертрепация, более лучший* и т.п. В чем же принципиальное

различие между языковой игрой и неправильностью? Главным образом — в осознанности первой и неосознанности, непреднамеренности второй. Затевая языковую игру, говорящий прогнозирует определенный эффект от нее; допуская речевую ошибку, человек делает это непреднамеренно (если он «ошибается» умышленно, то это уже игра!). Однако и это противопоставление не дает достаточно строгого основания для разграничения, потому что языковая игра, как мы могли убедиться, характеризуется разной степенью осознанности. В частности, здесь имеет место и рефлексивная деятельность: бывает, что человек механически передразнивает собеседника, «дурачится», балуется с языковыми единицами, переставляя или наращивая какие-то элементы, и т.д. Поэтому когда сегодня ученые пытаются как-то расклассифицировать, «разнести по полочкам» разные проявления данного феномена — например, острословие и балагурство (Е.А. Земская, М.В. Китайгородская и др.) — или отграничить языковую игру от «наивного» экспериментирования с языковым материалом (Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев), то они всегда вынуждены оговариваться: границы эти условны, нечетки, неявны...

Действительно, языковая игра, как мы ее себе представляем, — это объемный, сложный, многоплановый феномен. Высвобождая творческий потенциал носителя языка, языковая игра приносит ему эстетическое удовлетворение и одновременно дает выход его разрушительным и созидательным инстинктам (в этом она сродни детскому озорству, а может быть, и юношескому вандализму). Кроме того, языковая игра предоставляет говорящему эффективную возможность отрегулировать отношения с собеседником и продемонстрировать всем степень своей творческой свободы. Поэтому неудивительно, что в ее сферу входит и изысканный литературный прием-троп, и общеупотребительная шутка, и низменное «кривлянье». Но если ранее мы говорили об игре на границах языка, то в последней главе подошли, пожалуй, к области «запредельного» — сфере фантазии и фантастики.

В самом деле, человек живет не только в мире сковородок и подушек, но также в мире полетов во сне и наяву, в сфере грез и воспоминаний, литературных образов и идеологических конструкций. «Мир культуры упорядочен, — говорит знаменитый фи-

лософ и писатель Умберто Эко, — но это вовсе не значит, что он материален» («Lector in fabula»). И этот второй мир, вторая действительность, создаваемая в значительной степени средствами языка, составляет постоянную конкуренцию миру первому — собранию реальных вещей и отношений. Более того, иногда виртуальная действительность оттесняет реальную на задний план, становится для человека самодостаточной. Когда это бывает? В многочисленных и разнообразных ситуациях, часть из которых стоит перечислить: литературное творчество, психотерапевтическое воздействие на пациента (гипноз, кодирование, зомбирование и т.п.), манипулирование общественным мнением (в частности, через рекламные слоганы и клипы), религиозные медитации, заведомая («беспардонная») ложь, «новояз» в тоталитарном обществе, даже появившийся сравнительно недавно секс по телефону... Все это — сфера фанталингвистики, использования языка не по его прямому — коммуникативному — назначению, а в некоторых иных, особых целях.

Когда мы, рассуждая в той же своей книге У. Эко, читаем «Красную Шапочку», нас не удивляет замкнутость, ограниченность этого мира (там существуют всего лишь Красная Шапочка, ее бабушка, волк и дровосеки), так же как не смущают нас и некоторые его особенности: то, что волк может говорить, а бабушка и внучка остаются в живых после того, как они были проглочены волком. Таковы условия данного жанра, и мы заранее с ними согласны. В этом смысле правомерно утверждение, что создание очередного художественного текста есть творение очередного мира.

Какое же место отводится во всем этом языковой игре? Она способна играть роль ступеньки при переходе к иному — виртуальному — миру, сигнализировать окружающим и самому говорящему, что правила поведения изменились, произошел как бы переход ситуации в иное качество. Главный герой уже упоминавшегося романа Евгения Замятина «Мы» так говорит о себе: «Я не способен на шутки — во всякую шутку неявной функцией входит ложь». Действительно, шутка в некотором смысле — уход от реальности, от фактографического отображения действительности; это сигнал, предупреждающий о границе другого мира. Неудивительно, что есть люди, не приемлющие шуток...

Но для большинства людей шутка, особенно создаваемая языковыми средствами, и вообще языковая игра знаменует собой состояние душевной раскрепощенности, отрыва от приземленной реальности. И этим она ценна. Словесная игра внутренне обусловлена всей выразительной мощью языка, его эстетическим потенциалом. Ну спрашивается, кто заставляет героиню романа Ф.М. Достоевского, только что сказавшую о себе: «Я вот дура с сердцем без ума», тут же добавить: «А ты дура с умом без сердца»? В значительной степени это делает язык, предлагающий говорящему готовые тактические ходы: комплексы способов и средств построения текста. (Синтаксический перевертыш, как мы уже знаем, — один из таких ходов.)

«Самовитость» языка, его замкнутость на себе обнаруживается в речи на каждом шагу — и тогда, когда мы пользуемся готовыми фразами («Не родись красивой, а родись счастливой», «Что в лоб, что по лбу», «В Греции все есть», «Мало вам не покажется» и т.п.), и тогда, когда выбор какого-то отдельного элемента предопределяется его сочетаемостью. К примеру, какие ассоциации вызывает у нас слово *квартал*? Пожалуй, среди самых частых и естественных — прилагательное *квартальный*. А то, в свою очередь, «тянет» за собой выражение *квартальный надзиратель*. Оно, правда, принадлежит истории, но прочно засело у нас в памяти.

И вот в конкретном случае говорящий (писатель), рассказывающий о жизни в блокадном Ленинграде, как бы неожиданно для самого себя выходит на сочетание *квартальный надзиратель* (не вполне мотивированное описываемой ситуацией); получается, что его заставляет это сделать язык. Процитируем:

«Путиловский завод, в прошлом паровозостроительный, разросся в целый город тяжелого машиностроения. В нем были свои улицы, кварталы, возможно, и квартальные надзиратели. Немецкая артиллерия и начала поквартально изо дня в день, методически садить...» (А. Даров «Блокада»).

Подобных примеров можно привести множество. И сплошь и рядом человек, «идуший на поводу» у языка, вступает в царство языковой игры. Скажем, слыша в дружеской компании вопрос:

«Ну как твой муж?», мы вдруг ловим себя на том, что нам так и хочется добавить: «объелся груш», а произнося слово *дядя*, мы не можем отделаться от ассоциаций с продолжением: «самых честных правил». Примерно это и происходит в стихотворении Игоря Иртеньева «Летающий орел»; здесь слова выстраиваются в такую ассоциативную цепочку: *брат — дядя — самых честных правил*:

«В пути не ведая преград,
Летит вперед,
На солнце глядя.
Он солнца — брат
И ветра — брат,
А самых честных правил — дядя...»

Значит, через совокупность уже созданных и усвоенных говорящим текстов язык влияет на него, в значительной степени определяет его речевое поведение. И в этом свете языковая игра обнаруживает свою двойственную природу. С одной стороны, она верная спутница языка, его «агент», проводник его идеологии. С другой — это возможность для человека обрести дополнительную степень личной свободы, выйти за пределы общепринятого и шаблонного. Играя словами, обычный носитель языка приближается к тому эффекту, которого достигает писатель или поэт своим литературным творчеством; он, как уже говорилось, создает иной, новый мир. Поэтому мы и завершим эту главу цитатой, заключающей в себе поэтический призыв к словесной свободе и экспериментированию:

«Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и cedру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва...»

ИСТОРИЯ И УРОКИ ОДНОЙ ЗАБАВЫ

Наконец настала пора рассказать об одной языковой игре, к распространению которой автор данной книги имеет непосредственное отношение. Речь пойдет об «Этимологическом словаре». Сначала — немного совсем свежей истории.

Затея «Этимологического словаря» уходит своими корнями в студенческую жизнь 1960-х годов и, в частности, в глубь такого интересного и почти не исследованного феномена, как стенная газета. Надо сказать, что стенгазета, во всяком случае в вузах, играла в ту пору особенную роль: это был очаг свободомыслия и самостоятельного литературного творчества. И хотя пишущие машинки были на строгом учете, хотя редакторов и авторов идейно незрелых материалов время от времени таскали в партбюро, а номера газет с треском срывали и прятали (как «вещдоки») в шкаф, но где еще можно было проявить себя неугомонному и беспешабашному студенту? Самиздатовские тетрадки имели довольно узкий круг хождения, да и не располагали к веселью.

До появления живительного сквозняка КВНов оставалось еще несколько непростых лет. А сегодняшние компьютерные «приколы» и путешествия по Интернету показались бы тогда горячей фантазией...

Итак, стенгазета. В 1966 г. четверо студентов Ленинградского университета — М.А. Зубков, В.А. Карпов, Б.Ю. Норман и А.М. Спичка — выпускали очередной номер факультетской стенгазеты «Филолог». (А орган был солидный, на полкоридора, и, как тогда на факультете шутили, «газета от клозета до клозета».) И вот в ночных бдениях была придумана новая печатная забава: потешный словарь. Название «Этимологический», можно сказать, было взято «с потолка». Больше всего оно походило на привычное филологу слово «этимологический», но с характерной «очепяткой», напоминающей факты неправильного, искаженного произношения (вроде «энтот» вместо *этот*, «ндрав» вместо *прав* и т.п.). Кроме того, оно ассоциировалось с названием совсем другой науки, «из жизни насекомых», — энтомологии. Короче говоря, определение «этимологический» то ли ставило своей целью введение читателя в заблуждение, то ли само было плодом

сплошной путаницы, контаминации. (Впрочем, много лет спустя в солидной «Энциклопедии для детей» будет сказано, что это название — *этимологический словарь* — «как нельзя более точно выражает суть игры».) Поскольку же с самого начала было решено давать в словаре русские слова с заведомо ложным, неправильным толкованием, то и авторство ему приписывалось соответствующее — под заголовком было указано: «под редакцией лейбштатс-адъюнкт-приват-доцента Ф.-Р. Пакгаусса и бр. Эпрон». Далее шли плоды коллективного творчества вроде следующих: БЕЗДАРЬ — человек, которому ничего не подарили на день рождения; ВЕРТОПРАХ (старосл.) — пылесос; ДНИЩЕ — день за Полярным кругом; ЖРЕЦ — чревоугодник, гурман; ОТСЕБЯТИНА (разг.) — дверь, открывающаяся наружу; ПАПЬЕ-МАШЕ (франц.) — родители; СВИНЕЦ — самец свиньи; СТРИЖ — парикмахер, и т.д. и т.п.

И что же? Словарь выполнил свою развлекательную функцию, идея, что называется, пошла в массы, а авторы «этимологий» занялись своими насущными делами (как-никак, надо было заканчивать университет) и почти забыли о своем детище. Но затем судьбе было угодно, чтобы двое из составителей словаря переехали в Белоруссию, в Минск, и здесь уже стали профессионально заниматься лингвистикой. В 1970 г. в Белорусском университете проводилась Всесоюзная научная конференция «Актуальные проблемы лексикологии». И к этому случаю минские составители «Этимологического словаря», хранившие, кстати, верность стенной печати, решили потряхнуть стариной и выпустить специальный номер стенгазеты. В нем нашли свое место и значительные выдержки из словаря. Каково же было удивление «этимологов», когда на следующий день они увидели, что в коридоре у стенда постоянно толпится народ и ученые мужи старательно переписывают в свои блокнотики их завиральные слово-толкования (не всегда при этом улыбаясь!). По-видимому, забава содержала в себе и какой-то серьезный смысл. А позже один старший коллега подошел к составителям и сердобольно произнес: «Что ж это вы, ребята, делаете? Ведь от этого — прямая дорога в шизофрению. Психи о-очень любят такое ковыряние в словах...»

Но так или иначе словарь обрел свою профессиональную аудиторию. Более того, тогда же, на конференции в Минске, к автору данной книги подошла профессор М.И. Черемисина из Новосибирска и сказала: «Знаете что, а ведь это стоит опубликовать. Давайте напечатаем ваш “Словарь” у нас в Новосибирске, у нас выходят такие сборники — “Вопросы языка и литературы”. Хотите?» Сказано — сделано. В Новосибирск оперативно ушла бандероль с текстом словаря и кратким комментарием к нему, а через некоторое время оттуда был получен ответ: «Все в порядке. Ответственный редактор сборника проф. К.А. Тимофеев одобрил ваш словарь, он пойдет в печать среди прочих научных материалов. Ждите». Авторы обрадовались и приготовились было пожинать лавры, как вдруг — новое сообщение, уже в миноре: «Цензура ваш словарь не пропускает. Главлит нашел в нем крамолу. Что будем делать?» Ну, что делать, что делать — против лома нет приема... Спасло словарь смешное обстоятельство: то, что сборник должен был издаваться на ротапинтере, и весь текст уже был перепечатан на машинке в готовом для воспроизведения виде. А «Этимологический словарь», как на грех, был заверстан в середине книги. Выкинуть-то его недолго, это каких-нибудь десять страниц, но придется перепечатывать по меньшей мере нумерацию страниц, да еще оглавление... И издателям сборника удалось прийти к соломоновой договоренности с Главлитом: словарь печатать, но негодные в нем слова заклеить белыми полосками.

Так в 1970 г. вариант «Этимологического словаря» вышел в свет, и в нем были откровенные цензурные «окна». В общей сложности от ножниц и клея пострадало несколько десятков слов. Любопытно, кстати, в чем же именно бдительное око усмотрело идеологическую диверсию? Во-первых, из словаря были выкинуты слова, в самой своей основе (в прямом значении) содержавшие нечто «недостаточно хорошее», не отвечающее идеалам социализма, например: ВЗЯТКА, ДОХОДЯГА, НАЛОЖНИЦА, НУДИСТ, СТУКАЧ и др. Во-вторых, исключению подверглись вполне безобидные лексемы, которым, однако, в словаре приписывались «нехорошие» толкования: БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ, БРОШКА, КАСТРЮЛЯ, ПОЛОВИК, ПОМЕРАНЕЦ и т.п. Наконец, в-третьих, «опасными» были признаны и такие случаи, когда и само

слово (в настоящем своем значении), и его толкование были сами по себе безобидны, но, соединяясь друг с другом, они высекали искру вредоносного намека: ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ, СОМНЕНИЕ, СТАТИСТ, ТРЕЗВОН, ХИМЕРА... (Толкования всех этих слов можно найти ниже, в публикуемом тексте «Этимологического словаря».)

В целом же бочку меда — чувство удовлетворенности от осуществленной затеи — не могла испортить ложка цензурного дегтя. Но авторам «Этимологического словаря» этой публикации было мало.

Они считали (и не без оснований), что их детище — не околону научное трюкачество, а массовая (чтоб не сказать — всенародная) игра, активизирующая языковой потенциал человека. В этом убеждал и опыт молодых минских коллег, которые, «заразившись» идеей словаря, в меру своих сил и способностей не давали засохнуть «этимологическому» поиску: на разных этапах к данным занятиям подключались Л.А. Подольский, А.М. Калюта и др. Итак, решено было искать дорогу к широкому читателю.

Первой откликнулась белорусская молодежная газета «Знамя юности». В 1971 г. она в своем отделе сатиры и юмора «Пятница» опубликовала с полсотни «этимологий». Послан был словарь и в редакцию московского журнала «Русская речь». Но оттуда пришел отказ, фактически — отписка: «На наш взгляд, “Этимологический словарь” вряд ли представляет интерес для массового читателя научно-популярного журнала». Ну уж извините! Словарь можно было бы упрекнуть в чем угодно, но как раз в массовости-то ему не откажешь! Видно, товарищи из «Русской речи» просто перебдели. Зато откликнулась «Литературная газета», да еще как! В пяти номерах за 1972 г. она опубликовала довольно большие выдержки из словаря, правда, назвав его «Толковым этимологическим (?) словарем», или сокращенно — ТЭС. За саму идею ТЭС составители были удостоены премии «Золотой теленок» за 1972 г. Это была, так сказать, вершина славы. Но настоящая жизнь словаря с этого только начиналась! В редакции газет и журналов хлынул поток продолжений и подражаний. Казалось, разбуженный игровой инстинкт носителя языка только и ждал подобного повода. «Литературка» вынуждена была несколь-

ко раз объявлять о закрытии рубрики, а письма все шли и шли... Подборки «этимологий» в том или ином виде появлялись в «Крокодиле» и «Комсомольской правде», ленинградской «Смене» и пермской «Звезде», сочинской «Черноморской здравнице» и русскоязычной периодике Израиля.

А минский еженедельник «Літаратура і мастацтва» стал публиковать аналогичный словарь на белорусском языке... Уследить за всеми этими публикациями было просто невозможно, это была своего рода эпидемия.

И надо признаться: «первоавторы» словаря к сему отношения уже не имели. В газетно-журнальных публикациях они больше не участвовали — за исключением разве что специальной странички в ленинградском сатирическом журнале «Шут» (1991, № 1), который, к сожалению, скончался, едва успев родиться, да еще одной подборки в газете «Знамя юности» за 1993 год. Зато оригинальный «авторский» вариант «Этимологического словаря», вместе с необходимым филологическим комментарием, был включен в научно-популярную книжку: *Б.Ю. Норман. Язык: знакомый незнакомец* (Минск, 1987). Эта публикация до настоящего дня была и наиболее полной.

Следует сказать, что за всю историю своего машинописного и печатного существования «Этимологический словарь» неоднократно менял свой состав и характер. И дело не только в объеме словаря, в том, сколько десятков или сотен лексем он в себя включал, но и в принципах их отбора и толкования. Можно было бы отбирать и толковать слова по принципу: «лишь бы было необычно», не так, как на самом деле. А можно придерживаться при этом критерия словообразовательного правдоподобия: чтобы было похоже на правду. Писатель Юрий Трифонов вспоминал, как другой большой мастер русского слова, К.Г. Паустовский, разбирая в своем литературном семинаре повесть молодого писателя, сказал: «Знаете, почему мы все смеялись? Нет, не потому, что это смешно. Потому что правдиво...» Правдоподобие — одно из слагаемых успеха «этимологии»: желательно, чтобы ложное толкование было похоже на настоящее, чтобы оно максимально соответствовало данному слову. (Примерами такого подхода могут служить, скажем, лексемы ВЫГОН — *увольнение* или ДОМОСТРОЙ — *комбинат сборного железобетона*.) Подобные «энти-

мологии» представляют наибольшую ценность для лингвиста, потому что они позволяют проследить действие словообразовательных процессов. Но любопытно, что в многочисленных подражаниях словарю, опубликованных в периодике и звучавших со сцены, принцип правдоподобия выдерживался далеко не всегда. По-видимому, носителя языка это устраивало: ему было достаточно, чтобы толкование просто не соответствовало действительности и заключало в себе некоторую загадку, «пищу для ума». Таковы, в частности, «этимологии», построенные по принципу шарады, типа ВАМПИР — *официант*, КОРТОЧКИ — *соревнования по теннису* и т.п. В общем-то, и такой подход представляет интерес для филолога, тем более что он значительно расширяет базу «этимологизирования»: объем словаря заметно возрастает.

В данном случае, для настоящего издания, стремясь дать читателю по возможности более полное представление об этой разновидности языковой игры, мы пошли на определенный компромисс. А именно: придавая первостепенное значение критерию словообразовательного правдоподобия, мы тем не менее включили в словарь и явно завиральные, «фантазийные» толкования, в том числе такие, которые иначе как избытком лингвистического задора и озорства у составителей не объяснишь (например: ВЕРТЕЛ — *крутил*, КУПИДОН — *продайденр*, ЭТАНОЛ (опеч.) — *эталон* и т.п.).

Кстати, на начальном этапе существования словаря многие «этимологии» снабжались текстовыми иллюстрациями-цитатами (словарь так словарь!). Причем иллюстрации чаще всего подбирались вполне реальные, что должно было по-своему свидетельствовать о присутствии этого вида языковой игры в массовом языковом сознании. Скажем, на «этимологию» СТРИЖ — *парикмахер* приводилась такая цитата из стихотворения Арсения Тарковского «Утро в Вене»:

«С насмешливым свистом стрижи
Стригут комаров-ротозеев».

К толкованию ЖРЕЦ — *чревоугодник, обжора* иллюстрацией служила анонимная эпиграмма, имевшая хождение еще в позапрошлом веке:

«Попы издревле доказали
Излишество утроб своих:
Они всегда так много жрали,
Что прозвали жрецами их».

В некоторых случаях составители словаря не брезговали и маленькими подтасовками, когда слово в цитате давало повод к иному, «ненастоящему» пониманию. Так, толкование АНЕМОН — *малокровный, тщедушный человек* «подтверждалось» строками из стихотворения Бориса Пастернака «Ты в ветре, веткой пробуешь...»:

«Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон».

Кстати, нет ничего удивительного в том, что именно поэзии «досталось» от составителей словаря больше всего: поэты сами давали к тому повод, создавая свои словесные виртуальные миры и позволяя слову бóльшую, чем обычно, свободу действий.

Но, войдя в лексикографический азарт, авторы «Этимологического словаря» позволяли себе (иногда!) и вовсе недопустимые выходки: они придумывали для «этимологий» искусственные, насквозь пародийные контексты, вроде того, что приводился на слово УШАНКА — *женщина с крупными ушами*:

«— Ваша дочь такая ушанка!
— Увы, князь, всё в руце Господней...» (М. Мерзский. «Жизнеописание Степана Курьгина, эсквайра»).

Так ненастоящее, фантастическое слово рождало несуществующий, фантастический текст — вот она, виртуальная реальность языка... Правда, позже, повзрослев, составители от такого рода лингвистического хулиганства отказались.

А тем временем «Этимологический словарь», задуманный как невинная словесная забава, стал обрастать научным весом. Как у вымышленного подпоручика Кижее, у него складывалась

своя биография. На словарь появились ссылки в работах известных ученых (А.А. Реформатского, Л.В. Сахарного, Ф.А. Литвина, А.Е. Супруна и др.).

В 1972 г., совершенно неожиданно для составителей, в немецком «Журнале преподавания русского языка» вышла статья Д. Герхардта с симптоматичным названием «Russisch wie es nicht im Wörterbuch steht» («Русский язык, которого нет в словаре»). Гамбургский профессор не только добросовестно... перевел «Этимологический словарь» на немецкий язык, но и снабдил перевод подробным научным комментарием. Игра при этом приобрела солидность, но, честно говоря, утратила значительную часть своей веселости и озорства. Со временем выдержки из словаря стали включаться в учебники и учебные пособия (например, в «Основы психолингвистики» И.Н. Горелова и К.Ф. Седова). Отдельную статью ему отвела «Энциклопедия для детей» (М., 1999. Т. 10). Но самым любопытным стало появление публикаций, специально посвященных тем или иным аспектам «Этимологического словаря». Так, И.Б. Иткин обратил внимание на использованную в нем систему словарных помет, а Т.В. Попова проанализировала участие глаголов в создании «этимологий»... (названия этих и других работ можно найти в помещенной в конце книги библиографии).

А вообще говоря, ничего удивительного в шальном успехе «Этимологического словаря» нет. И авторы-составители не склонны переоценивать свои заслуги в создании нового вида языковой игры. Дело в том, что основы такой словесной забавы заложены глубоко в народном сознании и давно используются в общении, главным образом с целью создания комического эффекта. Авторам просто удалось материализовать идею, которая носилась в воздухе, и представить ее в наглядном и систематизированном виде. Многие шутки и каламбуры, прибаутки и анекдоты, как мы видели, основываются на разложении слова на элементы и складывании из этих элементов иной, нежели данная, «картинки». А предпосылкой для такой умственной работы служит текстовое сближение различных, но формально схожих слов (достаточно вспомнить приводившиеся выше примеры шуток типа «художник от слова худо»). Речевое «столкновение» схо-

жих между собой слов может производиться и непосредственно в форме шутливых толкований, встречающихся в речевом обиходе: *графин* — муж графини; *жрец* — тот, кто много жрет; *экстаз* — таз, бывший в употреблении; *гаванна* — совмещенный санузел; *антилопа* — лекарство от ожирения и т.п.

Владимир Познер в своих «Воспоминаниях о Горьком» рассказывает, что великий русский писатель любил в кругу своих друзей и гостей устраивать словесные состязания и забавы. Вот Горький «внезапно прерывает трапезу и с мечтательным меланхолическим видом начинает барабанить пальцами по столу. Один за другим все присутствующие замолкают и следят за ним украдкой: какую еще новую шутку он готовит? Но даже самые недоверчивые видят: Алексей Максимович совершенно серьезен, настолько, что даже перестает барабанить по столу и начинает покручивать усы. Наконец он говорит: «Знаете ли вы, что банк — муж банки?»»

Так возникает игра в «замужества»: чай — муж чайки, пух — муж пушки, полк — муж полки, ток — муж точки, нож — муж ножки... Теперь уже несколько дней у всех наморщенные лбы, отсутствующие взгляды, все безмолвно шевелят губами: сосредоточенно отыскивают новые словосочетания» (между прочим, этот пример с уважительным комментарием приводит академик В.В. Виноградов в своей книге «Проблемы русской стилистики»).

Другая, не менее характерная иллюстрация к сказанному. Окружение Владимира Маяковского (по воспоминаниям Лили Брик) придумало игру в фисты. Фисты — члены особого сообщества, особого мира, где всё называется словами, включающими в себя слог *фис* (или подобный ему), например: *фисгармония* — собрание Фистов; *софисты* — соревнующиеся фисты; *фестон* — правила фистовского тона; *гафиз* — гадкая физиономия; *фимшам* — ерунда и т.п. Для участников эта игра была своего рода паролем, знаком принадлежности к общему кругу. Получалось, что совершенно случайная языковая деталь (наличие слога *фис* в слове) служило достаточным поводом для формирования особой (мы бы сегодня сказали — виртуальной) реальности, со своим набором элементов и отношений между ними!

Но подобные вымышленные толкования распространены не только в интеллектуальной, артистической среде — они находят

свое место и в массовом, народном общении. Наряду с классическими и, можно сказать, уже приевшимися случаями типа *свинец* — *самец свиньи*, в речевом обиходе появляются свежие примеры псевдотолкований, несущие в себе обычно ироническую окраску. Таковы словоупотребления *нужник* — «нужный человек» (распространившееся не без участия пьесы С. Михалкова «Пена»), *подснежник* — «труп, обнаруживаемый весной» и др.

Фактически это — «этимологии». Если же говорить более обще, то приведенные примеры подпадают под определение явления семантизации. Семантизация — это приписывание слову некоторого значения. Но одно дело — когда в ходе речевой деятельности семантизируется незнакомое или малознакомое слово. Данный процесс естествен при освоении взрослым человеком новых для него названий: опознаются входящие в них элементы, протягиваются ниточки связей к другим лексемам... Еще естественнее он для детской речи. Ребенок ежедневно сталкивается с массой новых слов; он должен как-то их соотнести, «увязать» со словами, уже имеющимися в его сознании. Так возникают толкования вроде *лодырь* — «человек, который делает лодки», *барышник* — «тот, кто ухаживает за барышнями», *спец* — «любитель поспать» и т.п. (немало подобных примеров приводит К.И. Чуковский в своей книге «От двух до пяти»).

Другое дело — семантизация в условиях языковой игры. Здесь она заведомо, сознательно нацелена на альтернативное толкование: важно, чтобы формируемое значение принципиально отличалось от настоящего, известного. Как же именно складывается это псевдозначение?

Если с формальной точки зрения «этимологизирование» — это разновидность с е м а н т и з а ц и и, то с содержательной стороны оно максимально сближается с описанным выше явлением народной этимологии. Напомним: этот термин относится к ситуациям, когда человек определяет происхождение слова (точнее, его словообразовательную историю: какой признак лежит в основе названия?), опираясь на случайное формальное сходство с другим словом. Например: почему подушка называется подушкой? Потому, что она «под ухом». С аналогичным процессом мы имеем дело и в «этимологиях» типа *жрец* — «тот, кто много

жрет», или *днище* — «долгий день». Поэтому можно, несколько огрубляя, определить «этимологизирование» как языковую игру, в которой народная этимология принимает форму семантизации.

«Этимологический словарь» состоит в родстве с другими языковыми забавами, в основе которых лежит анализ и синтез формальной и содержательной сторон слова, — с уже упоминавшимися каламбурами и шарадами, с играми «Почему не говорят?» и «Что бы это значило?».

Естественно, «этимологии» — яркое средство в арсенале писателя, направленное на создание комического и вообще эстетического эффекта (в частности, оно используется для речевой характеристики персонажа). В том или ином виде «этимологии» встречаются в произведениях Н. Лескова, А. Чехова, С. Сергеева-Ценского, М. Горького, А. Аверченко, Н. Тэффи, О. Мандельштама, Е. Шварца и других мастеров слова. Прибегают к ним и современные юмористы: Э. Кроткий, Ф. Кривин, К. Мелихан, М. Владимов, Б. Брайнин и др. Вот несколько образцов «этимологий», отлитых в поэтическую форму:

«Пока не требует поэта
В чулане дремлющий словарь,
Он путает портвейн с портретом,
Календулу и календарь.
Без всяких справок, по-простецки,
Умом он собственным дошел,
Что ГУТТАПЕРЧА — по-немецки
Теперь, мол, значит, ХОРОШО.
К познаниям путь его недолог,
Он твердо верит, например,
Что РВАЧ — районный стоматолог,
ЗАБРАЛО — милиционер.
Экскурсоводша — ПОЯСНИЦА,
БРЕШЬ — это лгун, ПАСЬЯНС — футбол,
А ВСАДНИЦА в любой больнице
Вам тут же сделает укол.
Ввернуть он может в разговоре,
Что кто-то вывихнул КИСТЕНЬ,

Что ГРЕХОВОДНИК — муж на море,
Ну, а ПОМОЙКА — банный день»
(Б. Брайнин. «Соколиное слово»).

«Говорят, экс-президент —
Это бывший президент.
Говорят, экс-чемпион —
Это бывший чемпион.
И выходит, что экспресс
Означает — бывший пресс.
И выходит, что экстракт
Означает — бывший тракт.
И выходит, что эксперт —
Это некий бывший перт.
И выходит, что экстаз —
Это просто старый таз.
Да-с!»
(В. Рич. «Филологические стихи»).

«Цыганка рыцарю раз погадать хотела,
А тот воскликнул: “Полюби меня!”
Она закрылась шалью — ошалела,
А он опешил, то есть слез с коня»
(Ю. Тейх. «Цыганка и рыцарь»).

Любопытно, что при всей «национальности» этой игры (имеется в виду, что она очень трудно переводится на другие языки) общий ее принцип интернационален. Более того, во многих языках, литературах, смеховых культурах существуют свои, и достаточно давние, традиции «этимологизирования». В частности, эта игра хорошо знакома носителям польского языка. В литературном творчестве, афористике, частной переписке крупнейших польских прозаиков, поэтов, юмористов — Константы Ильдефонс Галчиньского, Юлиана Тувима, Станислава Ежи Леца, Славомира Мрожека и др. — встречаются толкования слов, очень похожие на те, что приводились выше. Попробуем дать несколько польских иллюстраций с переводом на русский язык. *Trawiata* (название известной оперы) — *opera dla jaroszków* («опера для вегетарианцев»). *Obsesja* (слово это по-польски значит «навязчивая мысль, наваждение») — *sesja nad rzeką Ob* («сессия над рекой

Обь»). *Inklinacja* (буквально «склонность, симпатия») — *wbicie klina* («вбивание клина»). *Rolnik* (буквально «земледелец») — *aktor* («актер»). *Tortura* («пытка, истязание») — *jedzenie tortu* («поедание торта»).

Данута Буттлер, автор интереснейшей монографии «*Polski dowcip językowy*» («Польский языковой юмор»), посвятила подобным псевдотолкованиям несколько страниц своей книги. Исследовательница называет эту разновидность языковой игры адидеацией, или шутливым переосмыслением слова. Но интересно, что такие «адидеации», чрезвычайно распространенные в польской культуре первой половины XX века, сегодня, по мнению Д. Буттлер, уже не пользуются большой популярностью: игра свое «отжила», исчерпала себя. Возможно, это свидетельство того, что и формы комизма в литературе, и чувство юмора у рядового носителя языка исторически изменчивы: вчера в ходу были одни шутки, сегодня — другие. Но, кажется, «этимологии» для русского языкового сознания сегодня — самое «то», они вполне соответствуют внутренней потребности носителя языка.

Что же привлекает в «Этимологическом словаре» филологов?

Этому вопросу стоит посвятить несколько следующих страниц, которые, может быть, будут малоинтересны для широкого читателя, — тогда он может их пропустить. Хотя, возможно, они окажутся для него небесполезными, особенно если описанная затея его, читателя, захватила и ему захочется самому попробовать свои силы в жанре псевдотолкований: словарь ведь безграничен! Итак, открываем «школу молодого этимолога».

Прежде всего, лингвистическая ценность «этимологий», как уже говорилось, заключается в их словообразовательном правдоподобии. Представленные в словаре шутливые толкования имеют под собой определенную психолингвистическую базу: они объективно отражают продуктивность словообразовательных моделей в сознании человека. Иначе говоря, если читатель легко «клюет» на «этимологию», если она его занимает, веселит, то это значит с большой степенью вероятности, что у него в голове «работает» соответствующий структурный образец, по которому должен распространить, экстраполировать известную ему модель на новый языковой материал: виртуальные единицы.

Скажем, в одной из предыдущих глав шла речь о продуктивности в современном русском языке словообразовательной модели с суффиксом *-абель-*: она создает многочисленные новые слова со значением «пригодный, подходящий, целесообразный для чего-либо» (*операбельный, читабельный, диссертабельный, избирабельный, публикабельный* и т.п.). На этом фоне совершенно естественно выглядит лексема **ДИРИЖАБЕЛЬНЫЙ** — пригодный для дирижирования.

Точно так же активизирующиеся в современной русской речи образования с суффиксом *-аж*, обозначающие «количество, измерение чего-либо» (*тоннаж, литраж, строкаж, рубляж...*) позволили появиться «этимологиям» вроде **МИРАЖ** — количество мирных соглашений за период или **МУЛЯЖ** — количество мулов на единицу населения. Происходит своего рода верификация модели на искусственном, даже «запредельном» материале, ее проверка на «прочность» и «растяжимость» в сознании носителя языка.

Искусственные толкования выглядят подчас совершенно естественными — настолько естественными, что, углубившись в «этимологический» поиск, человек, бывает, утрачивает чувство реальности. Ему так и хочется спросить: а что, эти значения действительно выдуманы? Или какие-то из них все-таки существуют? Вот, скажем, **БЕСКОЗЫРКА** — игра без козырей, или **СТИХАРЬ** — поэтический сборник?.. И хотя на такие вопросы можно было бы ответить шутливым же афоризмом: «В действительности все обстоит совсем не так, как на самом деле», — следует признать, что носитель языка не так уж далек от истины. Дело в том, что многие «этимологии» существуют как реальные слова, но за пределами литературной нормы. Это значит, что словообразовательная тенденция, не найдя себе признания в «официальном», кодифицированном варианте языка, все же воплотилась в какой-то иной ипостаси. В частности, в русской разговорной речи действительно встречаются слова *бескозырка* со значением «игра без козырей» и *полочка* со значением «ничья», в диалектах есть слова вроде *едкий* «съедобный» или *давка* «взбучка», в жаргоне зафиксировано *нарком* «поставщик наркотиков» и т.п. Многообразные примеры, подтверждающие жизненность (или закон-

ность?) «этимологий», можно найти также в авторском употреблении. Приведем три иллюстрации.

«Вы не можете себе вообразить все козни западников: уж действительно западники, т.е. так и расставляют западни» (из письма славянофила А.И. Кошелева к А.Н. Попову; А.П. Чехов приводит эту цитату среди «исторических каламбуров»).

«Помню наши разговоры о Данте. Он был восторженный дантист, если можно так выразиться, — считал, что Данте недооценивают...» (из письма биолога и философа А.А. Любищева к П.Г. Светлову).

«Иногда, конечно, старшие сотрудники ставят перед младшими задачу.

У Игоря Васильевича Курчатова был даже такой термин — “озадачить”. «Я вызываю, — говорил он, — и “озадачиваю”».

Но, как правило, такое “озадачивание” происходит редко» (Литературная газета. 1971. 6 января).

В сущности, «этимологизирование» как разновидность семантизации — довольно знакомая и даже привычная для рядового носителя языка деятельность.

В своей речевой практике, и за пределами игровых ситуаций, он то и дело вынужден синтезировать значение слова, «складывать» его из элементов, полученных предварительно путем анализа других слов. Вот, положим, читатель встречает в газете не совсем понятное ему слово *фундатор*. И если контекст не проясняет это новообразование в достаточной степени, то что остается делать носителю языка? Он находит в данном слове элемент *фунд*- (такой же, как в *фундамент*, *фундаментальный*, а может быть, также и в *фонд*, *фонды* и т.п.) и элемент *-(а)тор* (такой же, как в *авиатор*, *реформатор*, *новатор* и т.п.). В целом, получается, *фундатор* означает что-то вроде «основатель», «тот, кто закладывает основы»... Похожей деятельностью, только с игровым подтекстом, занят и «этимолог». Правда, значение слова не всегда сводится к простой сумме значений его составляющих; да и сами составляющие не всегда так уж легко вычлняются. (В русском языкознании есть целый ряд работ, специально посвященных «анализирующей» и «синтезирующей» деятельности носи-

теля языка в том, что касается слова, — это исследования М.В. Панова, Е.А. Земской, И.Г. Милославского и др.) Но «приблизительность» словообразовательных значений не мешает «этимологизированию». Скорее наоборот, здесь это плюс: значимые части слов получают большую свободу в своих отношениях друг с другом и в своем участии в составе целого. И тем самым несерьезные толкования «Этимологического словаря» по-своему помогают понять те серьезные и сложные механизмы, которые обеспечивают функционирование языка.

Вот мы читаем в словаре: **НОЧНИК** — дневник, который ведут ночью. Смешно? Да. И очень похоже на правду. Читатель, кстати, может без большого труда продолжить ряд псевдотолкований, например: **УТРЕННИК** — будильник (или, допустим, петух). **ДНЕВНИК** — студент дневной формы обучения (между прочим, в вузовском жаргоне такая лексема действительно существует!) и т.д. Понятно, что слова *утренник*, *дневник*, *вечерник*, *ночник* образованы с формальной стороны одинаково: берется название части суток (например, *утро*), от него образуется прилагательное (*утренний*), а от того, в свою очередь, новое существительное (*утренник*). Но значения-то у них у всех разные! *Утренник* — праздник (концерт) для детей, *дневник* — особая тетрадь для регулярных записей, *вечерник* — студент, занимающийся по вечерам, *ночник* — слабая лампа для ночного освещения... Интересно, а насколько человек вообще чувствует в составе данных слов сему¹ «часть суток»? Л.В. Сахарный проводил специальный психолингвистический эксперимент. Он предложил упомянутые четыре слова испытуемым-школьникам и попросил описать их значения. Оказалось, что в ответах на слово *вечерник* очень часто встречалось слово *вечер*; в то время как в ответах на слово *утренник* лексема *утро* попадалась несравненно реже. Отсюда вытекал вывод: чем активнее употребляется слово, чем оно нам «знакомее», тем меньше мы обращаем внимание на то, из каких элементов оно состоит. И наоборот: «чем хуже мы знаем наименование, тем чаще обращаемся к его структуре». Фактически мы это уже знаем.

¹ *Сема* — минимальный компонент значения слова.

Но для нас интересно и другое. Можно ли сказать, что *утренник*, *дневник*, *вечерник*, *ночник* — все эти слова образованы по одной словообразовательной модели, по одному и тому же образцу? Вроде бы да. Но что тогда значит суффикс *-ник*? «Событие, которое происходит в определенную часть суток»? «Предмет, который связан с определенной частью суток»? «Человек, который занимается чем-то в определенную пору суток»?.. Нет, конечно, разумнее было бы определить его значение более широко, например, так: «Нечто, имеющее отношение к определенной части суток». Язык в данном случае демонстрирует свою экономность.

В самом деле, представим себе виртуальный мир, в котором существуют студенты, занимающиеся в разное время суток, — кто утром, кто днем, кто вечером, кто ночью. И существуют специальные лампы, предназначенные для того, чтобы светить в разное время суток. И существуют праздники-концерты, которые проводятся в разное время суток — утром, днем, вечером... Тогда бы мы имели основания составить примерно такую таблицу виртуальных названий с суффиксом *-ник*.

часть суток	праздник	тетрадь	студент	лампа
утро	утренник	—	—	—
день	—	дневник	—	—
вечер	—	—	вечерник	—
ночь	—	—	—	ночник

Но в нашей земной русскоязычной реальности заполненными оказываются только четыре клеточки данной матрицы, остальные просто не востребованы жизнью. Может быть, они пригодились бы при описании иных миров? У нас же нет специальных ламп для утреннего или вечернего освещения, а дневник, который ведут по ночам, — это все равно дневник (поэтому мы и назвали наш «Этимологический словарь» «кладбищем нереализованных возможностей»). И чтобы избежать непроизводительного «мотовства» и работы «вхолостую», словообразовательная модель вынуждена «укрупняться» — как в данном случае, она

объединяет в себе более мелкие, частные значения. Можно сказать и по-другому: словообразовательная модель поддерживает свою формальную регулярность и продуктивность за счет расширения своего мотивирующего признака, т.е. фактически ценой нарушения регулярности семантической. Это один из выводов, на которые наводят размышления над «этимологиями».

Что же касается носителя языка, то он в конкретных условиях анализа и синтеза словообразовательной структуры опирается на подсказку практического опыта, как своего личного, так и коллективного. Задаваясь вопросом: «Что бы это слово могло значить?», он проецирует его на реальные потребности общества. Вот как пишет об этом И.Г. Милославский в своей книге «Вопросы словообразовательного синтеза»: «Опора на реалии, обозначенные в языке, позволяет в ряде случаев делать разумные предположения о дополнительных конкретных значениях, возникающих при словопроизводстве. *Птичник* — это предмет, имеющий какое-то отношение к птицам. Но какой предмет может иметь отношение к птицам? Не орудие, но лицо или место. А если лицо, то его отношение к птицам может заключаться в уходе за ними, в продаже их, в любви к ним, в обработке птичьего мяса и т.д. Очевидно, что уход является наиболее существенной стороной в отношениях между птицами и человеком. Отсюда и еще один, кроме значения лица, дополнительный конкретный элемент смысла. А если в слове *птичник* возникает дополнительное конкретное значение места, то это может быть место, где разводят птиц, продают их, готовят из них пищу и т.д. Очевидно, наибольшее по сравнению со всеми другими мыслимыми возможностями значение для реальной жизни места разведения птиц».

Критерий «разумной реальности» в конструировании значений можно было бы проиллюстрировать и примерами из нашего «Этимологического словаря». Многие его толкования были бы вполне вероятны, если бы не были... совершенно невероятны. Или скажем так: если бы жизнь была устроена совершенно иначе. Вот, к примеру, «этимология» ДИСК-ЖОКЕЙ — наездник, увлекающийся метанием диска. Теоретически человек с таким сочетанием качеств вполне бы мог существовать. Однако даже если бы

он существовал в реальности, это еще не достаточное основание для введения в язык специального слова: слишком редко, уникально само явление. Точно так же толкования БРИДЖИ — брюки для игры в бридж (ср. ГОЛЬФЫ), РЯСКА — небольшая ряса, СЕРНИК — загон для серн и др. могли бы иметь место в настоящем словаре, если бы для них были основания в реальной жизни. Таким образом, «этимологизирование» не в последнюю очередь обусловлено наличием или отсутствием (распространенностью или редкостью) каких-то явлений в окружающей нас действительности.

«Этимологии» неожиданным образом проливают свет и на семантическую структуру производного слова. Вот, к примеру, две обычные русские лексемы: *кругляк* и *горячка*. Казалось бы, уж чего проще приписать им шуточные псевдотолкования типа: КРУГЛЯК — мяч, ГОРЯЧКА — горячая вода. Но — как бы это сказать? — получается слишком прозрачно, неинтересно, несмешно. Подобных «этимологий» может быть масса, хоть пруд пруди, но стоит ли включать их в словарь?

И возможно, причина их неудачности кроется не столько в толкованиях, сколько в значениях самих слов? Внутреннее строение слова *кругляк* слишком просто, чтобы быть предметом игры. Вообще-то *кругляк* значит «бревно» или «круглый камень», но словообразовательно это просто «нечто круглое». И понятно, что, сводя семантику слова *мяч* к признаку «круглости», мы ее обедняем: ведь *мяч* — это еще и «игра», и «упругий», и «прыгать», и «бить (пинать)»... Попробуйте-ка придумать для слова *кругляк* смешное толкование — это очень трудно!

Не случайно, кстати, самые частые, самые повторяющиеся слова в «этимологических» псевдотолкованиях — это «муж», «жена», «самец», «самка», «большой», «маленький» (СВИНЕЦ — самец свиньи, БАНК — муж банки, ПЛЮХА — большая плюшка, СТОПКА — маленькая стопа и т.п.). Они действительно за-ключают в себе наиболее регулярные словообразовательные отношения, но эти отношения «слишком» регулярны, чтобы быть интересными, и потому они невыигрышны для наших целей.

Еще примеры. Есть, скажем, такое слово *травести*. При всей его формальной странности, или причудливости (это заимствование из французского), его вполне можно было бы подвергнуть «этимологизации»: так и напрашивается связь с *трава*. Но как? Какое другое существительное содержало бы в себе в качестве основной, центральной семы элемент «трава»? ТРАВЕСТИ — лужайка? коса? грабли? коза? Нет, все плохо. «Этимология» не получается, потому что нет слова, которое бы прочно, «монополярно» ассоциировалось с травой. Точно так же плохо «этимологизируются» лексемы БАДЬЯН, ДОМЕН, ЦЕХИН — очевидна их связь соответственно с *бадья*, *дом*, *цех*, но что именно они могли бы обозначать, связанное с этими явлениями? Нет «кучной», устойчивой ассоциации...

Мы видим, что материал «Этимологического словаря» определенным образом переключается с данными ассоциативного словаря русского языка. Для многих слов существуют (вполне серьезные) списки ассоциаций, полученных путем психолингвистического эксперимента. Приведем для примера начало двух статей из «Словаря ассоциативных норм русского языка» под редакцией А.А. Леонтьева. (Цифры после слов обозначают частоту реакций испытуемых.)

ДОМ — здание 14, новый 13, родной 10, семья 9, квартира, сарай 8, красивый, мой 7, большой, высокий 6, изба, светлый, хороший 5, наш, очаг, свой, хижина 4... и т.д.

ТОВАРИЩ — друг 100, верный 18, хороший 14, дорогой 7, мой 6, по несчастью 5, близкий, враг, друзья, надежный, недруг 3, большой, далекий, детства, дорога, нужный, подруга, скромный, школьный 2... и т.д.

Ассоциативный словарь отражает всю систему смысловых связей, которыми слово в сознании человека связано с другими словами. Некоторые из этих умственных реакций имеют массовый, устойчивый, стереотипный характер (например, *дом* — *здание* или *дом* — *родной*; другие же являются индивидуальными, случайными, единичными (таковы, к примеру, *дом* — *птица* или *дом* — *идет*, располагающиеся в самом конце ассоциативного списка). Причем, как это следует уже из двух приведенных примеров, у одних лексем ассоциации имеют более «кучный» харак-

тер: они концентрируются вокруг одного-двух слов; у других же они разбросаны, распределены между многими словами. «Этимология» в идеале должна «нащупать» массовую и по возможности более концентрированную, более центральную ассоциацию. Скажем, для заглавного слова ВЕЩУНЬЯ толкование «мещанка» явно лучше, чем, допустим, «гардеробщица» (потому что связь *вещи — мещанство* прочнее, чем *вещи — гардероб*). Точно так же для БЕДУИН лучше псевдотолкование «неудачник, несчастливый человек», чем, положим, «погорелец»; для ОКУНЬ лучше «купель», чем, допустим, «ванна»...

Вообще же материал «Этимологического словаря» ценен для филолога еще и тем, что имеет выход на самые различные категории лексикологии. Он заставляет задуматься о природе слов, совпадающих или близких по своей форме (омонимов и паронимов), — достаточно обратить внимание на такие лексемы в словаре, как ВЕТЕРАН и ВЕТЕРИНАР, КАРГО, НЕПАЛЕЦ, ТРЮМО, ТУК и др. Он дает пищу для размышлений о внутренней форме слова и народной этимологии — см. специально: ГНУС, ДАЧА, КОВАРСТВО, УШЛЫЙ, ФУРАЖКА, ЦЕЛОВАЛЬНИК и др. Его толкования, как мы видели, проливают свет на некоторые закономерности процесса семантизации...

Пожалуй, идеальный исходный материал для «этимологий» — это так называемые агнонимы: слова, плохо известные носителю языка. Не то чтобы он их совсем не знал — он их слышал, встречал где-то, но они у него хранятся на самой периферии, «задворках» словарного запаса. Вот именно такое «полузнание» и дает основание для различных, в том числе игровых, шутливых манипуляций со словом. Что такое, скажем, недавно упоминавшаяся *вещунья*? Что-то вроде колдуньи, что ли... Хотя вот у Крылова в басне — «вещунья с похвал вскружилась голова», там вещунья — ворона?.. А что такое *померанец*? Какое-то дерево, что ли... А *бортник*? Что-то из древнерусской жизни, какая-то профессия, наверное... (Это всё очень близко к тем лексическим фантомам, о которых у нас шла речь ранее.) И вот тут-то — свято место пусто не бывает — на место настоящего, но, увы, отсутствующего в сознании носителя языка значения нахально напрашивается «этимология».

Вместе с тем — это тоже стоит отметить — нет смысла «этимологизировать» слова, совершенно незнакомые носителю языка. Бывает так, что какие-то узкоспециальные термины или вообще редкие лексемы так и просятся в «Этимологический словарь». Вот, скажем, есть такой лингвистический термин: *гипербатон*. Ну, чем не основа для «этимологии»: ГИПЕРБАТОН — длинная булка? Или есть такой род трав: *слуногон*. Прекрасное было бы псевдотолкование: «поэт-лирик». Или — *мряка* (есть такое диалектное слово, обозначающее густой туман). Так и просится в словарь: МРЯКА — эпидемия. Или вот еще: *притворяшки* (есть такое семейство жуков). Как мило выглядело бы, например, толкование: ПРИТВОРЯШКИ — актрисы ТЮЗа... И все же всем этим «этимологиям» чего-то не хватает, они остаются в каком-то смысле неполноценными. Читатель, ознакомившись с ними, не столько позабавится, сколько удивится: да неужели такие слова действительно существуют? Правда, следует признаться: десяток-другой узкоспециальных терминов все же вошел в публикуемый ниже вариант словаря (см.: ГЕТЕРОДИН, ЛОЖЕМЕНТ, ЛОРДОЗ, МОРФЕМА, МИКРОТОМ, ПАССИК, ПЕРИСЕЛЕНИЙ, СОЛЛЮКС, ТАКСИС и др.). И все же это скорее исключение, чем правило. А правило таково: «этимологизированию» подлежат слова, хотя бы поверхностно знакомые массовому носителю языка. Именно тогда шутливое толкование достигает наибольшего эффекта: оно приносит с собой озорство переодевания, радость карнавала!

«Этимологический словарь» по своей сути глубоко пародичен. Это словарь-пересмешник. И именно поэтому он представляет особый интерес для лексикографов — людей, профессионально занимающихся составлением словарей. Все то, чего «не должно быть» в настоящем толковом словаре, тут есть. Можно сказать, что это своего рода антисловарь, содержащий многочисленные предостережения для начинающего (и не только начинающего) лексикографа: как не надо делать. Какие же типичные недостатки словарей выпячиваются и высмеиваются в кривом зеркале «Этимологического словаря»?

Прежде всего — недостаточная системность в описании лексики. Это значит — каждое слово описывается здесь изолирован-

но, само по себе, без учета других слов и других толкований. Скажем, ВАРВАР объясняется как «переваренное варенье», а рядом ВАРВАРИЗМ — как «дикость». Ср. также толкования слов ДЕННИЦА и ТАБЕЛЬЩИЦА, КЛУБНИКА и КЛУБНИЧНЫЙ, МАРАЛ и ПАЧКУН, МАРКИЗ и МАРКИЗЕТ, СПИЦА и СПИЧКА...

Далее, типичным лексикографическим «проколом» является так называемый круг в толковании, когда одна лексема объясняется через другую, а та, в свою очередь, возвращает читателя к первой: круг замыкается. Примером могут служить встречающиеся в словарях определения, построенные по принципу: *дом* — здание... *здание* — дом... В «Этимологическом словаре» такие «круги» узаконены, они вводятся специально, с провокационной целью, ср.: ВЕРТИХВОСТКА — трясогузка, ТРЯСОГУЗКА — вертихвостка. Или: НУЖНИК — то же, что ТРЕБНИК. ТРЕБНИК — то же, что НУЖНИК. Еще пример: РВАЧЕСТВО — см. РВЕНИЕ. РВЕНИЕ — см. РВАЧЕСТВО. Тем самым читателю — носителю языка предлагается как бы дополнительное задание, игра усложняется: надо найти в значении двух слов нечто, что бы их объединяло...

Само собой разумеется, в настоящем слове нельзя отправлять читателя «в никуда»: отсылать к другой незнакомой лексеме, которая не имеет в словаре своего объяснения. Это значило бы объяснять одно неизвестное через другое. В «Этимологическом» же словаре и этот запрет снят: здесь встречаются толкования типа: БАРКАС — то же, что КАРБАС (но что такое КАРБАС, не объясняется); СИКОМОР — яд для сикофанта; СУТАНА — подружка сутенера и т.п. Пусть читатель поломает голову!

«Этимологический словарь» переиначивает, выворачивает наизнанку и другие принципы лексикографии. В обычном толковом словаре считается естественным, если толкование производится с помощью лексемы, образованной от того же корня (основы), что и заглавное слово, ср.: *вечерка* — газета, выходящая по вечерам; *велосипедист* — человек, едущий на велосипеде, и т.п. Здесь же, в «Этимологическом словаре», такие толкования избегаются. Не то чтобы они были некорректными (какая уж там корректность — все перевернуто с ног на голову!), просто они

слишком прозрачны и потому недостаточно интересны для читателя. Поскольку «этимология» по самой своей природе содержит в себе своего рода загадку, то глупо было бы подсказывать носителю языка ее решение; наоборот, толкование должно быть слегка «зашифровано». Поэтому «этимология» СКЛАДЕНЬ — складной нож плоха, лучше: перочинный нож. Точно так же БРАЖКА — артель по изготовлению настенных светильников (не бра!); ОШАЛЕТЬ — купить в магазине пуховый платок (не шаль!); ПАКЕТБОТ — коробка для обуви (НЕ ПАКЕТ С БОТАМИ!); УХАЖЕР — любитель рыбного супа (не ухи!); ХОЛЕРИК — инфекционный больной (не больной холерой!) и т.д. Получается, что, осваивая «этимологии», читатель одновременно активизирует, оживляет заложенные в его сознании системные лексические связи, в том числе синонимические и перифрастические¹.

Насквозь пародийна система присловных помет «Этимологического словаря». В принципе — в настоящих словарях — такие сокращенные пояснения призваны помочь носителю языка в употреблении слова, они должны обозначить его стилистическую характеристику, иногда — происхождение и т.п. Перечень помет, естественно, должен быть строго ограничен и хорошо продуман. Здесь же, в «Этимологическом словаре», мало того, что пометы появляются, «когда хотят», так они еще и принципиально хаотичны по своему содержанию и функциям. Иногда они относятся к заглавному слову, иногда — к самому толкованию. Наряду с «узаконенными», общеупотребительными пояснениями типа «разг.», «нар.», «иностр.», «поэт.», «сокр.», «неодобр.», в «Этимологическом словаре» встречаются пометы типа «сельскохоз.», «телев.», «автомоб.», «футб.», «солд.», «общепит.», «железнодорож.», «уличн.», «банн.», «физкульт.», «служебн.» и даже «отцовск.», «амурн.», «завистл.» и т.п. Причем некоторые из них довольно часты, регулярны, а некоторые упоминаются на протяжении словаря всего раз или два. Это, конечно, тоже скрытый намек на несовершенство отдельных настоящих лексиконов. «Вершину» же

¹ *Перифраза* — описательное (многословное) определение или название.

пренебрежительного отношения к интересам читателя можно усмотреть в случаях, когда помета-сокращение даже не несет однозначной информации, т.е. ее можно истолковать двояко. Что такое, скажем, «уст.» — «устаревшее»? «устное»? Что такое «евр.» — «еврейское»? «европейское»? Что такое «бр.» при слове РЕВЮ — «бранное»? «британское»? «бредовое»? Или просто намек на междометие *бр-р-р?*

Встречаются здесь и более мелкие нарушения лексикографических правил. Так, обычный толковый словарь не включает в себя имен собственных: их нельзя истолковать, их можно только соотнести с денотатом (предметом). Тут же, в «Этимологическом словаре», мы находим, например: АНТИНОЙ, ГАИТИ, КАЛИСТРАТ, МАКСИМИЛИАН, ОСИП, РЕВЕККА, САЛОНИКИ, СТЕПАНИДА... Или еще: обычный словарь базируется на какой-либо одной (как правило, письменной) форме языка. Здесь же мы встречаем как «этимологии», основанные явно на письменной форме слова (ГОНЧАЯ, ЛОСЬОН, ПОЛЧИЩЕ и т.п.), так и толкования, основанные на устной форме (АБЛАУТ, КАМАРИЛЬЯ, НИРВАНА и т.п.). Но все это, конечно, мелочи по сравнению с массой абсолютно «неправильных», фантазийных толкований шарадного типа (см. ВАМПИР, ДОБРЯК, ЕГОЗА, КОМПОСТ, НЕОН, РОЗМАРИН, СУГРОБ, ЧЕШУЯ...), а также с плодами фонетических «открытий» составителей словаря (см. ВОХРА, ДРЕЛЬ, ЖЕСТЬ...) или с включением в словарь заведомых «опечаток» (см. ЛАНДО, СТРУНА, ЭТАНОЛ...). Все-таки словарь был задуман прежде всего как развлечение.

Однако при своем «шутейном» характере «Этимологический словарь» дает повод для очень серьезных размышлений. Некоторых теоретических аспектов данной игры мы уже касались. А вот еще один: это участие грамматических значений в процессе семантизации слова и его употребления. Обычно человек относится к грамматике с некоторым пренебрежением и досадой: экая школярская премудрость, схоластика, портящая людям нервы! В самом деле, мы ведь, пользуясь словами, следим за их лексическими значениями, а грамматические стараемся не замечать, не так ли? Что с того, что слово *дом* — существительное мужского рода, что оно имеет форму множественного числа *дома* и может выступать в разных падежах? Дом — он дом и есть...

Но «Этимологический словарь» показывает: нет, носитель языка не безразличен к грамматическим значениям — во всяком случае, к тем, которые называют классификационными (это постоянные для слова категории — такие, как род у существительных или вид у глаголов). Он их ощущает; они не просто, как бесшумные тени, сопровождают лексические значения, но поддерживают их. Обнаруживается же это в словаре довольно неожиданным образом. Оказывается, что при «этимологизации» существительных приходится учитывать их грамматический род. Желательно, чтобы опорное слово в толковании («правой» части «этимологии») принадлежало к тому же роду, к которому относится заглавное слово («левая часть») — тогда толкование становится более правдоподобным.

Вот пример. Представим себе, что мы собираемся «этимологизовать» слово *отточие* (вообще-то обозначающее ряд точек и близкое по смыслу к слову *многоточие*). При этом мы хотим воспользоваться формальным сходством этого существительного с глаголом *отточить*. Что тогда может означать отточие? Все, что угодно: «нож», «клинок», «пика», «копье», «топор», «лезвие», «бритва» и т.п. — лишь бы это было острое орудие. Конечно, мы вольны выбирать любое толкование из данного ряда. Но при прочих равных условиях предпочтение стоит отдать существительному среднего рода. И мы выбираем: ОТТОЧИЕ — лезвие.

Точно так же, «этимологизируя» лексему СУПИН (это термин грамматики) и «нащупывая» подходящее толкование, связанное с *супом*, — «кастрюля», «котелок», «поварешка», «столовая тарелка», «первое блюдо», «набор специй для супа» и т.д., — мы скорее всего остановим свой выбор на последнем. И, не исключено, свою роль в этом сыграет и значение мужского рода. По тем же причинам, как нам кажется, слово ЗАЗУБРИНА лучше «этимологизируется» как «трудная тема», а не, скажем, как «трудное правило» или «трудный вопрос к экзамену»; слово ПИЛОН — как «лес-кругляк», а не как «бревно» или «ножовка» (толкование «пиломатериал», как мы помним, запрещается другим правилом)...

Конечно, «согласование» в роде между заглавным словом и его толкованием — не обязательное условие игры. Однако то, что

данный критерий подспудно присутствует в сознании носителя языка, лучше всего подтверждается «энтимологиями» типа ГРАФИН — муж графини, ПАНДУС — самец панды, ПАНЕЛЬ — жена пана, СВИНЕЦ — самец свиньи и т.п. Тут род существительного в левой части безоговорочно определяет род существительного в правой части; более того, можно сказать — в духе предыдущей «фанталингвистической» главы, — что здесь род рождает пол. А если говорить серьезно, то мы становимся свидетелями того, как при расшатанном и перевернутом, «искаженном» лексическом значении грамматическое значение берет на себя некоторые стабилизирующие функции: должно же хоть что-то сохраниться незыблемым!

Еще показательнее в этом плане примеры с грамматическим числом. У нас уже шла ранее речь о существительных, которые употребляются исключительно или преимущественно в форме множественного числа, — их называют латинским термином *pluralia tantum*, что означает «только множественные». Множественное число для этих слов становится такой же постоянной (классификационной) характеристикой, как для других, «обычных», существительных — род. Это значит, оно столь же прочно срастается с лексическим значением. И если такое существительное приходится «энтимологизировать», то опорное слово в его толковании (т.е. в правой части) тоже, как правило, должно стоять во множественном числе. Примеры из «Энтимологического словаря»: ПЕРИЛА — чернила для авторучек (если и правая часть «энтимологии» представляет собой *pluralia tantum*, как в данном случае, то еще лучше!); ПЛЕВЕЛЫ — слюни; ПОДДАВКИ — регулярные пьянки; САЛОЧКИ — шкварки и т.п.

Наконец, категория глагольного вида. Она тоже глубоко врастает в лексическое значение, и при «энтимологизировании» эта связь выходит наружу.

Само собой разумеется, глагол, являющийся опорным словом толкования, стоит в том же виде (совершенном или несовершенном), что и заглавное слово. Но влияние вида на процесс семантизации лексемы прослеживается и на других фактах. Вот, например, глаголам совершенного вида с суффиксом *-ну-* в русском

языке свойственно значение однократности или мгновенности действия. И «Энтимологический словарь» эту тему улавливает, даже подчеркивает в своих толкованиях при помощи специальных слов, ср.: БУРКНУТЬ — пробурить небольшую скважину; ПИКНУТЬ — один раз ткнуть пикой и т.п.

Ну а теперь попробуем подняться над конкретными примерами и подытожить: на чем же основан комический эффект «Энтимологического словаря» и его заразительная сила?

На самом принципе перевертывания, переодевания, карнавала? В общем-то да, но этого недостаточно: мы знаем, что мало придать слову просто другое значение, чтобы оно стало смешным.

На принципе словообразовательного правдоподобия? Да, это важно. Но сам по себе этот принцип тоже недостаточен. Мы знаем, что толкования типа КРУГЛЯК — мяч или КРОВОСОС — комар не вызывают у читателя особых эмоций: они неинтересны.

На учете внутренней семантической структуры слова, соотношения отдельных сем в его составе, в том числе сем грамматических? Да, и это важно, но опять-таки...

Пожалуй, самые удачные «энтимологии» получаются тогда, когда псевдотолкование в чем-то соотносится с настоящим, истинным значением слова. Вот тогда игра обретает особый подтекст, интеллектуальную глубину: значение выдуманное сталкивается со значением настоящим — и это столкновение высекает искру эстетического эффекта, оправдывающего «энтимологическое» озорство.

Пусть примером нам послужит «энтимология» АУТОДАФЕ — авторынок. Словообразовательно она довольно слаба: если *ауто-* еще можно соотнести с *авто-*, то что значит *-дафе*? Может быть, если какая-то связь с *давать*? И в каких еще русских словах такая «морфема» встречается? Но — во искупление словообразовательной неточности — есть в данном слове некий дополнительный намек. Дело в том, что в прямом, настоящем значении слова *аутодафе* — «казнь по приговору инквизиции» — содержится сема «мучения, ужас». И носитель языка может спроецировать эту сему на псевдотолкование «авторынок»; возникает переключка значений... Читатель может сам проанализировать комизм та-

ких «этимологий», как БЕЗГРАМОТНОСТЬ, БЕСПЕЧНОСТЬ, ВДОВА, ДИСТРОФИК, ЖИВОПИСЬ, ЗАПАДНЯ, ЗОЛОТАРЬ, НУВОРИШ, ПЕШКА, СТОИК, ТЕМЕНЬ, ТРАНСАГЕНТСТВО, УГРОЗЫСК, ФАТАЛИСТКА, и многих других. Везде псевдотолкование обогащается какой-то дополнительной семой, «наводимой» со стороны заглавного слова. Можно сказать, что между левой и правой частью «этимологии» происходит химическая реакция, результатом которой является некое новое качество: юмор. Данный — эстетический — аспект «Этимологического словаря», ставящий его в ряд наиболее остроумных языковых игр, имеет непосредственное отношение к теории комического.

На практике же (это мы возвращаемся к рекомендациям «школы молодого этимолога») кухня языковой игры очень сложна. Здесь сталкиваются и взаимодействуют различные принципы, и нередко бывает так, что приходится поступиться одним из них, чтобы «угодить» другому. Поэтому и «этимологии» получаются разные: одни — смешные, другие — поучительные в языковом отношении, третьи — «просто так»... Вот несколько конкретных примеров.

Допустим, мы собираемся включить в наш словарь существительное ЛЕПТА. Данное слово малоизвестно носителям языка — фактически мы знаем его только по выражению *внести свою лепту*. Но что такое лепта? Вклад? Доля? Участие? Какая-то работа? Неизвестно. И для наших целей это хорошо. Агноним (плохо знакомое слово) готов к игровому «означиванию», он как бы сам жаждет семантизации. И вот тут очень кстати подворачивается его форма, так недву-смысленно напоминающая о глаголе *лепить* и всем, что с ним связано. Итак, ищем псевдотолкование именно среди этих слов. ЛЕПТА — глина? пластилин? изваяние? скульптура? снежная баба? барельеф? работа скульптора?.. Толкование «глина» отпадает сразу, потому что в семантической структуре данного слова сема «лепить» занимает не центральное место: да, из глины лепят, но глина — это также и природное сырье, и строительный материал... Иными словами, нужной нам «кучной» ассоциации с *лепить* здесь нет. Значительно лучше в данном пла-

не толкование «пластилин»: уж он-то используется именно для лепки. Но *пластилин* — существительное мужского рода, это несколько мешает. «Скульптура»? В принципе можно, хотя скульптуры, как известно, не только лепят — их также высекают из камня или вырезают из дерева... У толкований «изваяние», «барельеф» — тот же недостаток, что и у «скульптура», а кроме того, «неподходящий» в данном случае грамматический род. Неплохо толкование «снежная баба». Но, пожалуй, лучшее из предложенных — это «работа скульптора». Хотя скульптор опять-таки не только лепит, но зато в данном определении присутствует сема процессуальности (работа!), которая выигрышно напоминает о глаголе *лепить* (скульптор вносит свою лепту...).

Другой пример: слово ПОКЛЕП, употребляемое в словосочетании *возводить поклеп*. Тоже нечастое в русском языке слово (это хорошо!). Значит оно что-то вроде «ложное обвинение», «незаслуженная критика», «клевета, напраслина». Если попытаться его «этимологизировать», то грех было бы не воспользоваться его формальным сходством с глаголом *клепать* и соответствующими производными: *клепка*, *клепало* и т.п. При этом *поклеп* оказывается словообразовательно очень «прозрачным»: он легко укладывается в модель отглагольных существительных с префиксом *по-* и нулевым суффиксом, ср.: *бежать* — *побег*, *летать* — *полет*, *молоть* — *помол*... И в этом ряду прекрасно смотрится пара *клепать* — *поклеп*. Итак, ищем толкование среди слов и выражений, связанных с процессом клепки: ПОКЛЕП — молоток? стук молотка? бак? бочка? производство бочек? корпус судна? соединение деталей при помощи заклепок? сборка посредством молотка? И опять: у каждого претендента на псевдотолкование найдутся свои плюсы и минусы. Одни варианты недостаточно прочно ассоциируются с клепкой (например, *бак* или *бочка*), другим мешает средний или женский род опорного слова (*производство*, *соединение*, *сборка*), в третьих повторяется корневая морфема заглавного слова (*заклепка*), что, как мы помним, тоже нежелательно... В итоге мы выберем какое-нибудь «процесс соединения деталей посредством молотка» или сконструируем еще более смешное «бочкопроизводный процесс», где, во-первых, присутствует пародийный канцеляризм *бочкопроизводный*, а во-вторых,

просвечивает связь с устойчивым выражением *катить бочку*, т.е. «жаловаться, наговаривать, клеветать, возводить напраслину» — вот она, долгожданная смычка настоящего и искусственного значений, левой и правой части «этимологии»!

Третий пример: слово БРЫЖЕЙКА. Вообще-то это анатомический термин (плохо знакомый среднестатистическому носителю языка). А для наших «этимологических» целей очень даже подходит его сходство со словами *брызгать*, *брызги* (в других формах глагола появляется необходимое нам «ж»: *брызжу*, *брызжет*...). Что же связывается у нас в сознании с брызганьем, разбрызгиванием? Шланг, душ, пульверизатор, парикмахерская, одеколон, распыскиватель, капли воды, струя жидкости, лейка, водосточная труба, шипение... Сравнивая, взвешивая разные варианты по уже знакомым нам правилам, мы скорее всего остановим свой выбор на толковании «лейка»: хотя здесь сема «брызгать» представлена не так ярко, как, скажем, в вариантах «пульверизатор» или «распыскиватель», но все же ярче, чем в «водосточная труба» или «парикмахерская», да к тому же тут присутствует желательная для нас сема женского рода... Получается, мы опять приходим к определенному компромиссу, основанному на учете разных аспектов семантики слова.

«Музыку я разъял, как труп», — говорит пушкинский Сальери, и эта фраза напоминает нам о сущности наших усилий. От того, что мы пытаемся «изнутри» проанализировать строение «этимологий», заглянуть в кухню данной разновидности языковой игры, она, конечно, не становится смешнее. Зато при этом высвечиваются ее филологические аспекты: мы лучше узнаем сложное устройство слова и правила его функционирования, мы начинаем понимать, как рождается комический эффект, мы даже можем, если угодно, его планировать. Таким образом, копаясь в природе шуточных псевдотолкований, в тонкостях «этимологических разысканий», мы приходим к полезным выводам и серьезным открытиям. Конечно, интерпретация «Этимологического словаря» столь же бесконечна, как и сам словарь. И если читателя не пугает уход в эту «иную действительность», в мир словесной фантазии и языкового карнавала, то нам с ним по пути. Да здравствует Ее Величество игра!

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

АББАТИСА — поклонница ансамбля «АББА»
АБЛАУТ — собачий питомник
АБОРДАЖ — количество аборт за отчетный период
АВАНТЮРИСТ — юрист на авансцене (в том числе в политике)
АВИЕТКА — 1. пролетка; 2. почтовая открытка «авиа»
АВТОГЕН (биол.) — самовоспроизводящийся ген
АВТОЖИР — машинное масло
АВТОКЕФАЛИЯ — цистерна рыбхоза
АГАСФЕР — область согласия
АГРИППИНА — микстура
АЖУР — кружево; ВСЕ В АЖУРЕ — кружевное белье
АКАДЕМЗАДОЛЖЕННИК (студ.) — промотавшийся академик
АКРОСТИХ — поэма, занимающая большую площадь
АЛЛЕГОРИЯ — альпинизм
АЛЛОПАТ (мед.) — телефонный маньяк
АЛЛОПАТИЯ — нелюбовь к Алле
АЛКАШ (древнерусск.) — алчущий
АЛТАРЬ — житель Алтая, то же АЛТЕЙ
АЛЬМАНАХ — аль послушник
АНАЛОГОВЫЙ — не облагаемый налогом
АНЕМОН — малокровный, тщедушный человек
АНТИЛОПА — гербалайф, жиросжигающее средство
АНТИНОЙ — оптимист, ср. НОЙ
АНТИПАТИЯ (шахм.) — игра на выигрыш
АНТИПОД (грамм.) — над
АНТИСТАТИК (научн.) — динамик
АНТОЛОГИЯ — история создания самолетов в КБ Антонова
АНТРЕКОТ (фр.) — кот, живущий в передней
АПАТИТ (мед.) — безразличие, утрата интереса к жизни
АПАТИЧНЫЙ — богатый апатитом
АПАТИЯ (шахм.) — см. АНТИПАТИЯ
АРАБЕСКА — дочка араба
АРБАЛЕТ — 1. машина времени; 2. (вост.) аэроплан
АРЕАЛЬНЫЙ (лингв.) — нереальный
АРИЕЦ — действующее лицо в опере
АРИТМИЯ (литературовед.) — верлибр, ср. АРИФМЕТИКА
АРИФМЕТИКА (литературовед.) — белый стих
АРТИШОК (мед.) — нервное потрясение у артиллеристов

АРХИВАРИУС — шеф-повар
АРХИВОЛЬТ — ток высокого напряжения
АРХИТРАВ — сильный яд
АСКОРБИНКА — кличка, обидное прозвище
АСПИД — секс по телефону
АСТРОЛОГИЯ — раздел ботаники: разведение астр
АУКЦИОН — прогулка по лесу
АУТОДАФЕ (иностр.) — авторынок
АЭРОБИКА — раздел биологии, занимающийся аэробными бактериями
АЭРОЗОЛЬ — мозоль, натертая в самолете
АЭРОПЛАН — план из воздуха, несбыточный проект

БАБАХАТЬ (разг.) — восхищаться женщиной
БАБУИН — женолюб
БАГРЕЦ — небольшой багор, ср. КРАНЕЦ и т.п.
БАДЬЯН — чан
БАЗИЛИК — заведующий базой
БАЙ (просторечн.) — нянь
БАЙКА (вост.) — жена бая
БАЙКЕР (неол.) — рассказчик баек
БАКАЛАВР — продавец в бакалейной лавке
БАКЕНБАРД — бакенщик, сочиняющий песни
БАЛБЕС — 1. распорядитель танцев; 2. диск-жокей
БАЛДАХИН — китайский болванчик, ср. ДУРМАН
БАЛЛАДА (школьн.) — ведомость с отметками
БАЛЛАСТ — праздник подводного плавания
БАЛЛИСТИКА — система оценок в школе
БАЛОВАТЬ — посещать балы
БАЛЬЗАМ — личный секретарь Бальзака
БАЛЮСТРАДА — концерт с танцами, вечер отдыха
БАНАЛЬНОСТЬ — наличие бананов в торговой сети, ср. ХАЛАТНОСТЬ
БАНДАЖ (милиц.) — количество преступных группировок
БАНДЕРИЛЬО (иностр.) — мафиозо
БАНДЕРОЛЬ (театр.) — ампула преступника
БАНДУРА — женщина — член преступной группировки
БАНКЕТКА (неодобр.) — завсегдатайка вечеринок
БАРАБАНЩИК — официант при сауне
БАРАБАШКА — 1. сын барабанщика; 2. (татарск.) шеф бара, ср. БАРОС

БАРАНКА — овца
БАРБИТУРАТ — поклонник куклы Барби
БАРБОС — хозяин бара, ср. БАРХАН
БАРКАРОЛА — шляпка с мотором
БАРКАС — то же, что КАРБАС
БАРОГРАММА — счет в питейном заведении
БАРОГРАФ — двойной аристократический титул
БАРОКАМЕРА — отдельный кабинет в баре
БАРСУК — название бара с плохой репутацией
БАРХАН (вост.) — хозяин бара, ср. БАРАБАШКА, БАРБОС
БАРЩИНА — избыток питейных заведений
БАРЫГА — официант за стойкой
БАРЫНЯ — заведующая баром
БАРЫШНИК — кавалер, ухажер
БАСКИ (сокр.) — игроки в баскетбол
БАТАЛИЯ — возглас худеющей женщины
БАТИСФЕРА — 1. область вмешательства отца в семейные дела;
2. отчий дом
БЕГОНИЯ (спорт.) — дорожка на стадионе
БЕДОКУР — хорек
БЕДОКУРИТЬ (бытов.) — закуривать в тяжелую минуту
БЕДУИН — неудачник, несчастливый человек
БЕЗБРАЧИЕ — качественная работа
БЕЗВИННЫЙ — безалкогольный
БЕЗВКУСИЦА — диетическая пища
БЕЗГОЛОВЩИНА — нулевая ничья
БЕЗГРАМОТНЫЙ — окончивший школу без похвальной грамоты
БЕЗДАРЬ — гость без подарка
БЕЗДЕЛУШКА — 1. ленивая женщина; 2. безработная
БЕЗДНА — битая посуда
БЕЗЗАЩИТНЫЙ — профессор, не имеющий докторской степени
БЕЗМЕН (иностр.) — отказ участвовать в чем-либо
БЕЗОБРАЗИЕ (литературовед.) — лирическое произведение без вымышленного героя
БЕЗОБРАЗНИК (поповск.) — атеист
БЕЛОК — самец белки
БЕЛЬВЕДЕР (иностр.) — ведро для кипячения белья
БЕЛЬДЮГА — ругательство
БЕРЕТ — взяточник
БЕРИ-БЕРИ (нар.) — хватай, пока дают

БЕСЕДКА (педаг.) — небольшой нравоучительный разговор
БЕСКОЗЫРКА — игра без козырей
БЕСКОНЕЧНОСТЬ — результат ампутации
БЕСПЕЧНОСТЬ (техн.) — отсутствие в квартире печи, центральное отопление
БЕСПОЧВЕННЫЙ — Вельзевул
БЕССМЕРТНИК — 1. Вечный Жид; 2. дьявол, обреченный на уничтожение
БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ (атеист.) — бес-активист, ср. разновидности бесов: БЕСПОКОЙНЫЙ, БЕСПОРОЧНЫЙ, БЕСПОРЯДОЧНЫЙ, БЕСЧУВСТВЕННЫЙ и др.
БЕСТИАРИЙ — 1. альбом лучших песен; 2. выставка достижений
БЕСТОЛОЧЬ (общеизв.) — то, что остается от человека, после того, как из него выходит толк
БИВАК — 1. драчун; 2. ринг
БИГУДИ (иностр.) — 1. стереофоническая система; 2. дуэт саксофонов
БИСКВИТ — выступление на бис
БИТНИК — игрок в городки
БЛИЗИР (сокр.) — близорукий человек, очкарик
БЛИЗНЕЦ — сосед по лестничной площадке, ср. ЗАСТЕНОК
БЛИНДАЖ — блинная
БЛЮВАЛ — перепой
БОБИНА (ед.) — фасолина, семя боба
БОБЫЛЬ — оставшийся на бобах
БОГДЫХАН — тренер по дыхательной гимнастике
БОГЕМА — единица измерения религиозности
БОГЕМИСТИКА — религиозно-мистическое учение
БОДЯГА — см. РОГАТКА
БОЙКИЙ — хрупкий (о посуде)
БОЙКОТ — домашнее животное бой-бабы
БОЛВАНКА — глупая женщина
БОЛОНКА — жительница Болоньи (Италия)
БОЛТАНКА (простореч.) — беседа
БОЛТОВНЯ — гайка
БОМБАЖ (воен.) — количество бомб, сброшенных на объект
БОННА — жительница Бонна (Германия)
БОРЗОПИСЕЦ (старослав.) — лазерный принтер
БОРМАШИНА — лесовоз
БОРМОТУХА — 1. знахарка; 2. молитва

БОРТНИК (древнерусск.) — бортпроводник
БОЯРЫШНИК — сторонник феодальной власти на Руси
БРАЖКА — артель по производству настенных светильников
БРАКОДЕЛ (общеизв.) — работник загса
БРАКОНЬЕРЫ — молодожены
БРАТСТВО — взяточничество, коррупция
БРЕДЕНЬ — 1. странник, турист; 2. шизофреник
БРЕШЬ — грубая ложь
БРИГАДА — название пиратского корабля
БРИДЖИ — брюки для игры в бридж, ср. ГОЛЬФЫ
БРИЗ (наст.) — бюро рационализаций и изобретений
БРИТВА (нац.) — англичанка, ср. ДЖОНКА
БРИЧКА (малоросс.) — парикмахерская
БРОЖЕНИЕ (разг.) — переход вброд
БРОНЕПОЕЗД — поезд, на который все места забронированы
БРОШКА — мать-одиночка, покинутая жена
БРЫЖЕЙКА — лейка
БРЫЖИ — 1. брызги дождя; 2. жидкие дрожжи
БРЮКВА (единичн.) — штанина
БРЮНЕТ (шутл.) — человек без штанов
БУЕРАК — большой буер
БУЗИНА (детск.) — шалунья, непоседа
БУКАШКА — 1. (уменьш.) маленькая буква; 2. (разг.) букинистический магазин
БУКВАЛИСТ (типогр.) — единица измерения объема страницы в печатных знаках
БУЛЛИТ (сокр.) — бульварное чтиво
БУЛЬВАР (сокр.) — бульон, доведенный до кипения
БУЛЬДОЗЕР — капельница
БУМАЖНИК (разг.) — бюрократ
БУРДЮК — человек, пьющий плохое вино
БУРЕЛОМ — испортившиеся старинные часы
БУРКНУТЬ — 1. надеть (и сразу снять) бурку; 2. пробурить небольшую скважину
БУРЛЕСК (иностр.) — нечто шумное и сверкающее
БУХАНКА (жарг.) — алкоголичка
БУХГАЛТЕРИЯ — прозводство взрывчатых веществ
БЫЛИНКА (фольк.) — небольшая сага, сказаньице
БЮРЕТКА — секретарша

ВАЗОМОТОРНЫЙ (автомоб.) — относящийся к «Жигулям»
ВАКХАНАЛИЯ — провал диссертации в ВАКе
ВАЛЕЖНИК (ласк.) — ребенок, начинающий ходить
ВАЛИДОЛ — свержение режима
ВАЛУН — человек, нетвердо стоящий на ногах, то же ШАТУН
ВАМПИР — 1. хлебосольный человек; 2. официант
ВАРВАР (сокр.) — переваренное варенье
ВАРВАРИЗМ — дикость
ВАРЕНИК — ученик повара
ВАРИАЦИЯ (кухон.) — приготовление пищи
ВАРЬЕТЕ — кухня
ВАСИЛИСК — Василий — любитель одалиск
ВАТЕРПАС — пас в водном поло
ВДОВА (аббрев.) — Всесоюзное Добровольное Общество Велосипедистов и Автолюбителей
ВЕЗЕНИЕ — транспортировка
ВЕЗДЕХОД — 1. турист; 2. проныра
ВЕЗУВИЙ — удачливый человек
ВЕЛИКОДУШИЕ (офиц.) — многолюдность
ВЕЛИКОЛЕПИЕ (архитект.) — обилие лепных украшений
ВЕЛЮР — начальник
ВЕРАНДА — неуклюжая девушка по имени Вера
ВЕРБНЫЙ (англ.) — глагольный
ВЕРБОВАТЬ (бурсацк.) — пороть вербой
ВЕРЕСК — пронзительный визг
ВЕРНИСАЖ — трубочист
ВЕРНОПОДДАННЫЙ (футб.) — точный, прицельный (об ударе)
ВЕРНЯК — примерный муж
ВЕРОНАЛ — проверка наличности
ВЕРСТАК — километровый столбик
ВЕРТЕЛ — крутил
ВЕРТИХВОСТ — флюгер
ВЕРТИХВОСТКА — трясогузка
ВЕРТОПРАХ (старослав.) — 1. пылесос; 2. вертолет после катастрофы
ВЕРХОГЛЯД — 1. астроном; 2. часовой на вышке
ВЕРХОТУРА — самка горного козла
ВЕСЕЛЬЕ — гребная регата
ВЕСЕЛЬЧАК — гребец
ВЕСНУШКА — проталина
ВЕСТАЛКА — 1. дикторша телевидения; 2. гостя с Запада

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТ — телефон в вестибюле
ВETERАН — флюгер
ВETERИНАР — метеоролог
ВЕТОШЬ (собр.) — право запрета
ВЕТРОГОН — парусник
ВЕТРОГОННЫЙ — вентиляторный
ВЕТРЯНКА (неодобр.) — легкомысленная девушка
ВЕЧНОЗЕЛЕНый — конвертируемый (о долларе)
ВЕЩАТЬ — становиться мещанином
ВЕЩУНЬЯ — 1. мещанка; 2. дикторша телевидения, ср. ВЕСТАЛКА
ВЗАИМОВЫРУЧКА — выручка, взятая займы
ВЗВЕСЬ — контрольная закупка
ВЗОР — внезапный крик
ВИВАРИЙ — тост, здравица
ВИЗИРЬ — 1. чиновник из ОВИРа; 2. геодезист
ВИЛЯТЬ — работать вилами
ВИНОГРАД (утопич.) — город — мечта пьяниц
ВИНОДЕЛ — нарушитель порядка
ВИНЬЕТКА (иностр.) — рюмка
ВИСОКОСНЫЙ (парикмах.) — о стрижке с косыми висками
ВИТАЛЬНЫЙ — имеющий отношение к Виталию
ВКАЛЫВАТЬ — работать медсестрой
ВЛАГАЛИЩЕ — ножны
ВМЕНЯЕМОСТЬ (отцовск., горд.) — наследование ребенком отцовских качеств
ВОДИТЕЛЬ — ороситель
ВОЖДЕЛЕНИЕ (книжн.) — охота руководить
ВОЗОБНОВИТЬ (научн.) — отремонтировать телегу
ВОКОДЕР (научн.) — вырви-глаз
ВОЛНУШКА (разг.) — мелодрама
ВОЛОКНО (уличн.) — способ транспортировки пьяного
ВОЛОКОННЫЙ — гужевой
ВОЛОКУША — ухажер
ВОЛОСТЬ — шерсть
ВОЛОЧИТЬСЯ — идти за волами
ВОЛЫНИТЬ — 1. играть на волынке; 2. жить на Волыни
ВОЛЬЕР (фр.) — освободитель
ВОЛЬТАЖ (цирк.) — трюкачество
ВОЛЬТЕРЬЯНЕЦ — усердный электрик
ВОРВАНЬ (вульг.) — шпана

ВОРОБЕЙ — сотрудник ОБХСС
ВОРОТИЛА — швейцар, сторож при входе
ВОСТОРГ (сокр.) — Среднеазиатское торговое управление
ВОХРА (белор.) — охрана
ВРАНЬЕ — рано утром
ВРЕМЕНИК — часовой мастер
ВСАДНИК — дошкольник
ВСЕЛЕННАЯ — очень ленивая
ВСЕВЫШНИЙ — верхолаз
ВСЕНОЩНАЯ (шутл.) — преферанс
ВСЕЯДНЫЙ — содержащий отравляющие вещества
ВУЛКАНИЗАТОР — геолог, изучающий Курилы
ВЫБОРГ — избирательный участок
ВЫВЕРТ (травматол.) — вывих
ВЫВОДОК — заключеннице
ВЫВОЛОЧКА (домашн.) — вывернутая наволочка
ВЫГОН — увольнение
ВЫДВИЖЕНЕЦ — ящик стола
ВЫЖИГА — электроинструмент для работы по дереву
ВЫЖИМКИ — плавки
ВЫКУП — разовое мытье ребенка
ВЫПЬ — единица потребления алкогольных напитков
ВЫРЕЗКА (разг.) — декольте
ВЫРОДОК — новорожденный
ВЫСОКОМЕРИЕ (мед.) — измерение роста
ВЫСОКОРОДИЕ (социол.) — демографический взрыв
ВЫСТАВКА (футб.) — удаление с поля
ВЫХЛОП — единичный аплодисмент
ВЫХОДЕЦ (театр.) — маленькая бессловесная роль
ВЫХОЛАЩИВАТЬ — превращать в холостяков, разводить

ГАВРИК — житель Гавра (Франция)
ГАДЛИВЫЙ — любящий погадать
ГАЗЕТА — 1. карета, запряженная газелью; 2. ракета с газовым двигателем
ГАЗОН — выхлопная труба
ГАИТИ — страна ГАИ
ГАЛИМАТЬЯ — теща, Галина мама
ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ — цены в «Макдональдсе»
ГАСТРИТ (амер.) — улица площадью 1 га

ГАШЕТКА — 1. гашеная известь; 2. почтовая марка с клеймом
ГАШИШ — незасеянный гектар
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР (росс.) — А. Лебедь
ГЕРБАРИЙ — коллекция геральдических знаков
ГЕРОИН — муж матери-героини
ГЕТЕРОДИН — бедный сутенер
ГИДАЛЬГО — старший гид
ГИДРА — экскурсоводша
ГИДРОЛОГИЯ — наука о гидрах
ГИМНАСТ — одописец
ГИРОСКОП — коллекционер гирь
ГЛАВБУХ — командир батареи
ГЛАДИАТОР (проф.) — работник банно-прачечного комбината
ГЛАЗЕТ — то же, что ЗЕНКЕР
ГЛАЗИРОВАТЬ — осматривать
ГЛАЗУНЬЯ — большеюкая девушка
ГЛЯНЕЦ — внешний вид
ГНУС — отвращение
ГОЛЕНИЩЕ (нар.) — совершенно голо
ГОЛЕНЬ — 1. нищий, оборванец; 2. результативный нападающий
ГОЛОВЕШКА (спорт.) — одиннадцатиметровая отметка
ГОЛОВИЗНА — башковитость
ГОЛОВОЛОМКА — драка
ГОЛОВОТЯП — палач, экзекутор
ГОЛОГРАФИЯ — эротическая фотопродукция
ГОЛОЛЕДИЦА (англ.) — женская баня
ГОЛОЦЕН (научн.) — себестоимость
ГОЛУБЕЦ (фамильярн.) — гомосексуалист
ГОЛУБЧИК — маленький голубец
ГОЛУБЯТНЯ (разг.) — клуб гомосексуалистов
ГОЛЫТЬБА (футб.) — результативный матч
ГОНКУР — брачные игры петухов
ГОНЧАЯ — чаепитие
ГОПНИК — исполнитель украинских народных танцев
ГОП-СТОП — финал украинской народной пляски
ГОРБУША (ласк.) — верблюд
ГОРЕМЫКА — альпинист
ГОРЛИЦА — бутылка
ГОРЛОПАН (ненаучн.) — руководитель хора
ГОРНОВОЙ (пионер.) — трубач

ГОРНОСТАЙ — орел
ГОСПОЖНАДЗОР (сокр.) — присмотр за барышнями
ГОТОВАЛЬНЯ — подготовительные курсы
ГРАБЛИ (жарг.) — воровской инструмент
ГРАВИТАЦИЯ (научн.) — посыпание дорожек гравием
ГРАДИРНЯ — гроза с градом
ГРАММЕМА (лингв.) — аптека
ГРАММОФОН — минимальная единица звука
ГРАФИК — несовершеннолетний граф
ГРАФИН (общеизв.) — муж графини
ГРАФОМАН — соискатель графского титула
ГРЕХОВОДНИК — проштрафившийся работник водного транспорта
ГРИВЕННИК (неодобр.) — хиппи
ГРИЗЕТКА (фр.) — любительница монпасье
ГРИЗЛИ (множ.) — сухари
ГРОБ (сокр., общеизв.) — гражданская оборона
ГРУЗИЛО (портов.) — такелажник
ГРЯДА (возвыш.) — будущее
ГУЛИ-ГУЛИ (междом.) — неверные мужья
ГУЛЯШ — кутила
ГУМНО (аббрев.) — городское управление Министерства народного образования
ГУМУС (лат.) — универмаг
ГУСАР — птичник, работник гусиной фермы
ГУТТАПЕРЧА (нем., простор.) — сейчас хорошо

ДАВКА — порция
ДАВНО (существ.) — жмых
ДАНТИСТ (литературовед.) — исследователь творчества Данте Алигьери
ДАТСКИЙ — приуроченный к торжественной дате (датская премия и т.п.)
ДАЧА (юр.) — взятка
ДВОРЯНКА — порода дворовых собак; СТОЛБОВАЯ ДВОРЯНКА — дворянка, привязанная к столбу
ДЕДУКЦИЯ — старческое ворчание
ДЕКАДЕНТ — участник какой-либо декады
ДЕКЛАССИРОВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ — ученик, выгнанный из класса
ДЕКЛИНАЦИЯ (научн.) — извлечение клина

ДЕМОНСТРАЦИЯ (чернокнижн.) — изгнание монстров
ДЕННИЦА — табельщица
ДЕНЬЖОНКИ (праздн.) — Восьмое марта
ДЕПОРТАЦИЯ (научн.) — снятие штанов
ДЕРН — короткий рывок
ДЕРЮГА (руг.) — зубной врач
ДЕФЛОРАЦИЯ — уборка цветов (на кладбище и т.п.)
ДЖИНСЫ (англ.) — чета джиннов
ДЖОНКА (разг.) — англичанка, ср. БРИТВА
ДИКТАТОР — учитель, проводящий диктант
ДИНАМОМАШИНА — автобус спортобщества «Динамо»
ДНИЩЕ — день за Полярным кругом
ДИПЛОДОК (сокр.) — дипломатический документ
ДИРИЖАБЕЛЬНЫЙ (муз.) — пригодный для дирижирования
ДИСКАНТ (спорт.) — метатель диска
ДИСК-ЖОКЕЙ — наездник, увлекающийся метанием диска
ДИСТРОФИК (литературов.) — стихотворение из двух строф
ДОБРЯК — мгновение перед падением
ДОГОВОР — человек, крадущий породистых собак
ДОЖДЕВАНИЕ — ожидание
ДОЖДИНКА — последняя минута перед свиданием
ДОЖИНКИ (укр.) — пароль: «к супруге»
ДОЙНА — молочная корова
ДОКТРИНА — дочь доктора
ДОЛГОЖИТЕЛЬ — живущий в долг
ДОЛГОЛЕТИЕ (метеорол.) — сухая, теплая осень
ДОЛГОТА (юр.) — неплатежеспособность
ДОЛОМИТ (мед.-обих.) — ревматизм
ДОМОВОЙ — управдом; ср. ВОДЯНОЙ — слесарь-сантехник
ДОМОСТРОЙ — комбинат сборного железобетона
ДОПИНГ (англ.) — причастие от *допить, допить*
ДОРОЖИТЬ (трансп.) — ездить, путешествовать
ДОСАДА — 1. дополнительная посадка деревьев; 2. ясли
ДОФИН (аббрев.) — доктор филологических наук
ДОХОДЯГА (просторечн.) — 1. победитель соревнования по спортивной ходьбе; 2. кооператор
ДРАГА (старосл.) — ценность
ДРАГОМАН — близкий человек, родственник
ДРАКОН (юр.) — дебошир, хулиган
ДРАНКА (разг.) — порка, ср. ДРАТВА

ДРАТВА (поэт.) — порка, ср. ДРАНКА
ДРЕЛЬ (акуст.) — звонкая трель
ДРОЖКИ — мурашки по коже
ДУБИЛЬНЫЙ — дубово-дебильный
ДУБЛОН — кожух из овчины
ДУЛО (арх.) — уста, ротовое отверстие
ДУМКА — промелькнувшая мысль
ДУРМАН (нем.) — глупый человек, ср. БАЛДАХИН
ДУХАНЩИК — участник духового ансамбля
ДУХОВКА (разг.) — духовная семинария
ДУШЕВАЯ — потусторонний мир
ДУШЕПРИКАЗЧИК — Господь Бог
ДУЭНЬЯ — участница дуэта
ДЫРОКОЛ — инспектор ГАИ
ДЫШЛО (физкульт.) — легкие
ДЮЖИНА — мощь

ЕГОЗА — согласие 3-го лица: «он не против»
ЕДВА — процесс поглощения пищи
ЕДИНОУТРОБНЫЙ (мед.) — имеющий один желудочек (о сердце)
ЕДИНСТВО — чревоугодие
ЕДКИЙ — съедобный
ЕЖЕВИКА (общеизв.) — жена ежа
ЕЖЕМЕСЯЧНИК (ленингр.) — месячник журнала «Ёж»
ЕКТЕНЬЯ — икота
ЕЛЕЙНЫЙ — хвойный
ЕЛЬ — столовая
ЕЛЬНИК — рот

ЖАБО — болото
ЖАДЕИТ (научн.) — жмот
ЖАЛОВАНЬЕ — петиция
ЖАЛЮЗИ — слезы
ЖАРГОН — аспирин
ЖАР-ПТИЦА — курица на вертеле
ЖАТВА (дипломат.) — обмен рукопожатиями
ЖГУТИК — мальчик со спичками
ЖЕЛАТИН (грамм.) — оптатив, желательное наклонение
ЖЕЛОБОК — подрастающий жлоб
ЖЕЛТУХА (женск.) — искусственная блондинка

ЖЕНЬШЕНЬ (кит.) — Международный женский день
ЖЕРЕБЬЕВКА — выведение породистых лошадей
ЖЕРТВА — обжорство, обильная еда, ср. ЖРЕЦ
ЖЕСТЬ — мягкий жест
ЖЕСТЯНЩИК — мим
ЖИВОПИСЬ — 1. татуировка; 2. рукопись, противоположность машинописи
ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЙ (книжн.) — быстро дрожащий
ЖИГА — крапива
ЖИГАН — костровой, то же (иностр.) ЖИГОЛО
ЖИРОВКА — путевка в санаторий
ЖМЫХ — см. УЖИМКИ
ЖРЕЦ — чревоугодник, обжора; ЯЗЫЧЕСКИЙ ЖРЕЦ — полиглот
ЖУРИТЬ — судить конкурс
ЖУРНАЛИСТ — лист из журнала

ЗАБОРИСТЫЙ — относящийся к забору (например, забористая надпись)
ЗАБОТА — очередь в обувной отдел, ср. ЗАВОДКА, ЗАКВАСКА и др.
ЗАБРАЛО — 1. машина спецмедслужбы; 2. супруга в день полочки
ЗАВАЛИНКА — 1. (студ.) экзаменационная сессия; 2. (геогр.) — Пизанская башня
ЗАВАРУХА — крепкий чай
ЗАВЕРБОВАТЬ — запороть вербой
ЗАВИДУЩИЙ — зав, не имеющий персональной машины, в отличие от ЗАВЕДУЮЩЕГО
ЗАВОДИЛА — 1. директор предприятия; 2. шофер
ЗАВОДКА — очередь в винный магазин
ЗАГОЛОВОК — затылок
ЗАГОРОДКА — 1. дача, резиденция; 2. турпоход
ЗАДАЧА — 1. оплата загородного дома; 2. задняя часть передачи
ЗАЗНАЙСТВО — знание, выходящее за пределы школьной программы
ЗАЗНОБА (мед.) — лихорадка
ЗАЗУБРИНА (студ.) — непонятная тема
ЗАЙМИЩЕ — большой заём
ЗАКАЛИВАНИЕ — заговаривание органическими удобрениями
ЗАКВАСКА — очередь за квасом
ЗАКЛАДКА — доносчица
ЗАКЛЮЧАТЬ — запирать (дверь)
ЗАКОЛКА — шпага

ЗАКРОЙЩИЦА — сторожиха
ЗАЛОЖНИК — филолог, занимающийся категорией залога
ЗАМАШКИ (спорт.) — движения метателя
ЗАМОРЫШ (ласк.) — иностранец
ЗАМОЧКА — замочная скважина
ЗАМША — заместительница директора
ЗАОЧНИЦА — девушка, которую любят за красивые глаза
ЗАПАДНЯ — 1. квартира с окнами на запад; 2. страна капиталистической Европы
ЗАПАНИБРАТА (польск.) — обращение к собеседнице: «за вашего брата»
ЗАПЛАТА — гонорар
ЗАПРАВИЛА — 1. шеф-повар; 2. работник АЗС
ЗАПУГИВАНИЕ — застегивание на все пуговицы
ЗАРИН — заход солнца
ЗАРИСОВАТЬ — засеять рисом
ЗАРУБКА (разг.) — заграница
ЗАСКОК — кратковременный визит
ЗАСЛОНКА (шахм.) — прикрытие слоном
ЗАСРАНЕЦ (сокр.) — заспинный ранец
ЗАСТЕНОК — сосед
ЗАСТОЛЬЕ (иностр.) — отдаленная местность
ЗАСТРЕЛЬЩИК — охотник
ЗАТРАПЕЗНЫЙ — обеденный
ЗАХРЕБЕТНИК (кавказск.) — живущий по ту сторону гор
ЗАЧИНЩИК (карьер.) — человек, гонящийся за чинами
ЗАЯВКА — очередь за сигаретами «Ява»
ЗЕМЛЯК — червяк
ЗЕНКЕР (евр.) — см. ГЛАЗЕТ
ЗЛАЧНЫЙ — зерновой
ЗОИЛ — истопник
ЗОЛОТАРЬ — высококвалифицированный ювелир
ЗРЕЛИЩЕ (уст.) — парник, оранжерея
ЗУБИЛО — врач-стоматолог
ЗЮЙДВЕСТКА — жительница района Юго-Запад
ЗЯБЛИК — см. МЕРЗАВЕЦ
ЗЯБЬ — дрожь

ИДИОМА — супруга идиота
ИДИОТ (сокр.) — иди отсюда!

ИЗВЕРГ — действующий вулкан
ИЗВЕСТНЯК (разг.) — популярный эстрадный певец
ИЗВЕСТЬ — популярность; ГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ — угасшая популярность
ИЗВРАЩЕНИЕ — выкручивание против часовой стрелки
ИЗГОЛОВЬЕ — устное народное творчество
ИЗДЕВКА (нар.) — замужество
ИЗЛУЧИНА — единица измерения радиации
ИЗМЫВАТЬСЯ (солд.) — мыться в бане
ИЗРЯДНЫЙ — выходящий из ряда вон
ИЗУВЕРСТВО — разочарование
ИНДЕЙКА (общеизв.) — жительница Индии
ИНДЮК (сокр.) — торговец-индивидуал
ИНЖЕНЮ — обнаженный инженер
ИНЖИР (сокр.) — толстый иностранец
ИНКУБАЦИЯ (матем.) — возведение в куб, ср. УТРИРОВАНИЕ
ИНОХОДЕЦ — путешествующий чужеземец, странник
ИНТЕРЛЮДИЯ — многонациональный коллектив
ИНТЕРПОЛ (сокр.) — интересное положение
ИНТЕРПОЛИРОВАТЬ — 1. служить в Интерполе; 2. приводить в интересное положение
ИНТЕРЬЕР — заграничный пес
ИСКРЕННОСТЬ (автомоб.) — зажигание
ИСКУСИТЕЛЬ — бешеный пес
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ (муз.) — ноты
ИСПРАВНИК — слесарь-сантехник

ЙОГУРТ — собрание йогов

КАБАК — созревший кабачок
КАБАЛИСТИКА — наука о крепостном праве
КАБЛОГРАММА — отпечаток каблука
КАДРИЛЬ (служ.) — перетасовка кадров в администрации
КАЗНАЧЕЙ — палач
КАКАТЬ — переспрашивать
КАЛАЧ — ассенизатор
КАЛЕБАСА — испорченная колбаса
КАЛИНА — закаленная сталь
КАЛИСТРАТ — страдающий поносом, ср. ПИСИСТРАТ

КАМАРИЛЬЯ — туча мошкеры
КАМАСУТРА — реклама пшеничной муки «Кама»
КАМЕРГЕР (уважит.) — тюремщик
КАМЕРТОН — тюремная азбука
КАМЕРУН — уголовник
КАНАЛЬЯ (собир.) — система оросительных сооружений
КАНДИБОБЕР — пушной зверек, кандидат в бобры
КАННИБАЛ — торжества после кинофестиваля в Каннах
КАНОНАДА — собрание канонов, кодекс
КАНТОВАТЬ (филос.) — рассматривать с позиций учения Канта (на-
пример: «не кантовать!»)
КАНТОНИСТ — житель Кантона (Китай)
КАПЕЛЛА (мед.) — пипетка, ср. БУЛЬДОЗЕР
КАПЕЛЬДИНЕР — помощник КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА
КАПЕЛЬМЕЙСТЕР (нем.) — провизор, аптекарь
КАПИЩЕ — сильно протекающий потолок
КАПРЕМОНТ — ремонт протекающей крыши
КАПУСТНИК (разг.) — 1. щи; 2. подкидыш
КАРАТИСТ — ювелир-оценщик, ср. ЗОЛОТАРЬ
КАРБОНАТ (лат.) — продукт угольного производства
КАРГО — карга неопределенного пола
КАРИАТИДА — женщина с карими глазами
КАРМА (портновск.) — незаконченный карман
КАРМАНЬОЛА — куртка с карманами
КАРМЕЛИТКА — девочка-сластена
КАРТЕЛЬ — бригада из четырех человек, ср. КАРТИНГ
КАРТИНГ (научн.) — подкидной дурак, ср. КАРТЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ — портфель для карт
КАРТУЗ — туз в картах
КАСКАДЕР — срыватель всех и всяческих касок
КАСТРЮЛЯ (ласк.) — скопец
КАТАВАСИЯ (яп.) — беспорядок, учиненный котом Васькой
КАТАЛИЗ — утренний туалет кота
КАЧАЛКА (разг.) — нянька
КАШЕЛЬ (диал.) — густая похлебка из крупы
КВАДРИГА — коврига квадратной формы
КВАЗИМОДО (иностр.) — псевдомодерн
КВАКЕР (иностр.) — самец лягушки
КВАС (фольк.) — визит
КИНОВАРЬ — киностудия «Беларусьфильм»

КИНОЛОГИЯ — наука о кино
КИСТЕНЬ — обладатель кисты
КИШЕЧНИК — многолюдный зал ожидания
КИШМИШ (тадж.) — мышь, брысь!
КЛАСС (старосл.) — колосс
КЛАССИК (шутл.) — писатель, окончивший несколько классов
КЛЕВО (нареч., рыболов.) — хорошо
КЛЕВО (сущ., кур.) — пшено
КЛЕЙМО — почтовая марка, ср. ГАШЕТКА
КЛЕТЧАТКА (школьн.) — тетрадь по арифметике
КЛИКА (литературовед.) — официальная кличка, псевдоним
КЛИШЕ — расширенные книзу брюки
КЛУБНИКА — уборщица в клубе
КЛУБНИЧНЫЙ — картофельный
КЛЮКВА — пьющая девица
КЛЮЧИЦА — замочная скважина, то же ЗАМОЧКА
КЛЮШКА (ласк.) — птица, курица, ср. КОКОТКА
КОАЛИЦИЯ — лига защиты медведей коала
КОВАРСТВО — кузнечное ремесло
КОВЕРКОТ — 1. акцент; 2. домашний кот, ср. БОЙКОТ
КОВРИГА — большой ковер
КОВЫЛЬ — ботинок фабрики «Скороход»
КОЖЕМЯКА (банн.) — массажист
КОЗОДОЙ — работник фермы мелкого рогатого скота
КОКНИ (англ.) — неуклюжий человек
КОКОТКА — курочка
КОКОШНИК — курятник
КОЛДОБИНА — волшебная сказка
КОЛЕНКОР — юный корреспондент (в коротких штанишках)
КОЛЕНО — расколотое полено
КОЛИКИ — 1. (мед.) уколы; 2. (сокр.) игра в крестики-нолики
КОЛЛАЖ — дневник двоечника
КОЛОБОК — шприц
КОЛОБРОДИТЬ — ходить вокруг и около
КОЛОВОРОТ (укр.) — возле дверей
КОЛОКОЛ — драка в деревне
КОЛОНОК — столбик
КОЛОТУН — боксер
КОЛУМБАРИЙ — географический институт
КОЛУН — фехтовальщик

КОЛЬЕ (собир.) — частокол
КОМИТЕНТ — член комитета
КОМПОСТ — пост № 1 перед Мавзолеем
КОМПОСТЕР — рабочий на закладке компоста
КОМПРОМИСС — скомпрометированная девушка
КОНЕК-ГОРБУНОК — помесь пони с верблюдом, ср. КОНЬЯК
КОНЕЧНОСТЬ — обязательность
КОНВЕРТОР — работник почты
КОНВЕРТИРУЕМЫЙ — уместаемый в конверт
КОНДРАШКА (пренебр.) — Кондрат
КОНСЕРВАТОР — работник плодоовощного комбината
КОНСЕРВАТОРИЯ — плодоовощной комбинат
КОНСТАНЦИЯ — конюшня
КОНТРАБАНДИСТ — боец отряда по борьбе с бандитизмом
КОНТРАМАРКА — евро
КОНФЕКЦИЯ (дорев.) — леденец на палочке
КОНЬЯК — сказочное существо: помесь лошади с диким быком
КООПЕРАТИВ — сослуживец по угрозыску
КОРЕЙКА — жительница Кореи
КОРЕШ — отросток
КОРИТЬ — болеть корью
КОРМИЛО (поэт.) — вымя
КОРМЧИЙ — повар; ВЕЛИКИЙ КОРМЧИЙ — шеф-повар
КОРНЕЙ — женьшень
КОРNET-A-ПИСТОН — вооруженный младший офицер
КОРОНАРНЫЙ — монархический
КОРОСТЕЛЬ — больной коростой
КОРОТАТЬ — сокращать
КОРПУНКТ — место, где корпят (над статьями)
КОРРЕКТУРА — вежливость
КОРРИДА — большой коридор
КОРТИК — небольшая площадка для тенниса
КОРТОЧКИ — соревнования по теннису
КОРЧИ — пни на лесоповале
КОРЯГА — девочка, больная корью, то же (ласк.) КОРЮШКА
КОСИНУС (сельскохоз.) — уборочная страда
КОСМОПОЛИТ — 1. политрук в отряде космонавтов; 2. лохматый митрополит
КОСТЕЛ — худой старик
КОСТЕРИТЬ — разводить костер

КОСТОЕДА — дворовая собака
КОСТЯНИКА — сухощавая старуха, то же КАСТЕЛЯНША
КОТИРОВКА — кошачья свадьба
КОШМА — кошмар, не имеющий конца
КРАБ (старослав.) — короб
КРАЛЯ (нар.) — королева
КРАНЕЦ — небольшой кран, ср. ШАНЕЦ, ПОГРЕБЕЦ и др.
КРАСНОБАЙ — бывший бай, а ныне трудящийся Востока
КРАСТЬСЯ — воровать у самого себя
КРАХМАЛ — небольшое поражение, неудача
КРАЮХА (нар.) — пропасть, обрыв
КРЕМИРОВАТЬ — украшать кремом
КРЕСТЕЦ — крестный отец
КРОВЕЛЬЩИК — гематолог
КРОВЛЯ — кровеносная система
КРОЛИК — гибрид крестика и нолика, оптический прицел
КРОЛЬ — большой кролик
КРОТОСТЬ — свойство крота
КРОХОБОР — небольшой сосновый лесок
КРУЧИНА — 1. пряжа из нескольких нитей; 2. (поэт.) — высокий обрыв, пропасть, ср. КРАЮХА
КРУШИНА — развалина
КРЮЧКОТВОР — работник фабрики рыболовных принадлежностей
КУБЫШКА — жена куба
КУКИШ — сын кукушки
КУЛЬБИТ (спорт.) — боксерская груша
КУМАЧ — большой охотник до кум
КУПИДОН (укр.) — продайднепр
КУПЮРА — пассажирка купе
КУРАЖ — куриный восторг
КУРАЖИТЬСЯ — лакомиться курагой
КУРВИМЕТР — 1. прибор для измерения испорченности; 2. сантиметр в публичных домах
КУРЕВО — похлебка из домашней птицы
КУРЕНИЕ (сельскохоз.) — разведение кур
КУРЕНЬ — 1. птичник; 2. курающий мужчина, ср. КУРОК
КУРЗАЛ — курительная комната
КУРИЛЬЩИК — житель Курил
КУРИЯ — птицеферма
КУРОК — курильщик

КУРОПАТКА — бешеная курица
КУРЯТНИК — вагон для курящих
КУСАЧКИ — блохи
КУСТАРЬ — садовник
КУТЬЯ — гулянка

ЛАВСАН (иностр.) — любовь к сыну
ЛАЗЕР — альпинист
ЛАЙНЕР — дворовый пес
ЛАКРИЦА — мокрица, блестящая от дождя
ЛАМПАС (морск.) — электрокомпас
ЛАНДО (опеч.) — хорошо, доворогились
ЛАНЦЕТНИК — хирург
ЛАСТИК (сем.) — нежный ребенок
ЛАСТИТЬСЯ (спорт.) — надевать подводное снаряжение
ЛАТУНЬ — штюпка
ЛАТЫНЬ — см. ЛАТУНЬ
ЛЕБЕДКА — самка лебедя
ЛЕВША (общеизв.) — самка льва
ЛЕГКОВУШКА (разг.) — девушка из группы риска
ЛЕДЕНЕЦ — мороз
ЛЕКАЛО (арх.) — врач
ЛЕПТА — работа скульптора
ЛЕСБИЯНКИ (множ.-собр.) — роща, в которой любил гулять В. Бианки
ЛЕСТНИЦА — подлиза
ЛЕТОПИСЕЦ — писатель, к которому вдохновение приходит летом
ЛИЗИНГ (научн.) — половое извращение, куннилингус
ЛИКБЕЗ (устар.) — безлик
ЛИКОВАТЬ (возвыщ.) — мордовать
ЛИНЬКА — самка линия
ЛИПА (техн.) — изоленга
ЛИСТОВКА (студ.) — наверстывание упущенного перед экзаменом
ЛИТВА — литературная братия, сообщество писателей
ЛИТОТА — отливка
ЛИХВА — удаль, бравада
ЛИХОИМЕЦ — человек с неудачным именем
ЛИХОМАНКА — некачественная манная крупа
ЛИХОРАДКА — злорадная женщина
ЛИЦЕЙ (прост.) — институт красоты

ЛИЦЕМЕР — антрополог
ЛИШАЙНИК — студент без стипендии
ЛОБЗИК (детск.) — поцелуй в лоб
ЛОБИО (груз.) — чело
ЛОБОГРЕЙКА — 1. тубетейка; 2. телогрейка на лоботрясе
ЛОБОК (ласк.) — лобное место
ЛОГОВАЗ — живущий в логове
ЛОГОТИП — тип с ЛогоВАЗа
ЛОДЫРЬ (детск.) — сторож на лодочной станции
ЛОЖА — кровать
ЛОЖЕМЕНТ — нары в отделении милиции
ЛОЖКА — маленькая неправда
ЛОМБАРД — отвергнутой общественностью поэт-песенник
ЛОМОВИК — представитель силовых структур
ЛОМОТА — некачественный прибор, механизм
ЛОПАРЬ — обжора
ЛОПАСТЬ (груб.) — рот
ЛОРДОЗ (англ.) — наследственная болезнь аристократов
ЛОРНЕТ — отсутствие врача-отоларинголога в поликлинике
ЛОСЬОН — лось-самец
ЛОТОК — игрок в лото
ЛОЩИНА — глянцева бумага
ЛУЖАЙКА — спортплощадка после дождя
ЛУКОМОРЬЕ — неурожай лука
ЛУПИТЬ — рассматривать под увеличительным стеклом
ЛЮДОЕД — клоп
ЛЮСТРАЦИЯ — иллюминация
ЛЮТИК — хищный зверек
ЛЮТНЯ (средневеков.) — злоба
ЛЯГУШКА (ласк.) — норовистая лошадь

МАДАПОЛАМ — мадам наполовину
МАЖОРДОМ — театр оперетты
МАЗЕР (спорт.) — неудачливый центр-форвард, см. МАЗЬ
МАЗУРИК (презрит.) — художник
МАЗУРКА — художница
МАЗЬ (спорт.) — серия промахов
МАЙОЛИКА — первомайская демонстрация
МАЙОРАТ — офицерство
МАЙОРКА — супруга майора

МАКАРОНИЗМ (итал.) — вермишелевый продукт
МАКИЯЖ — урожайность мака
МАКСИМИЛИАН — мультимиллиардер
МАКУШКА — булочка с маком
МАЛОДУШНЫЙ (парикмах.) — со слабым запахом (об одеколоне)
МАЛОЛИТРАЖКА — четвертинка
МАЛЯРИЯ (эпидем.) — побелочно-покрасочные работы
МАНЕРКА — жеманница, кокетливая женщина, ср. ФОРСУНКА
МАНИЛА — зазывала
МАРАЛ — пачкун
МАРИНАД — 1. прогулка по морю; 2. отделение маринистов Союза художников
МАРИХУАНА (калька с иностр.) — Ванина Маша
МАРКЕТИНГ — филателия
МАРКИЗ — филателист
МАРКИЗЕТ — отпрыск маркиза
МАРКИТАНТКА — специалистка по маркетингу
МАРОДЕР — начинающий филателист
МАРТЕЛЬ (фр.) — распутица, оттепель
МАСТИТЫЙ — переболевший маститом
МАСТОДОНТ — название зубной пасты
МАТЕРИК — ругательство, брань
МАТЬ-И-МАЧЕХА — фабула мыльной оперы
МАХОВИК — 1. регулировщик на перекрестке; 2. провожающий на вокзале
МАХОРКА — банное полотенце
МАЯТНИК — человек с угрызениями совести
МЕДИК (жителейск.) — любитель меда
МЕДИЧКА (ист.) — сторонница рода Медичи
МЕДРАБОТНИК — пчеловод
МЕЖДУРЕЧЬЕ (бюрократич.) — перерыв в заседании
МЕЛИОРАТОР (бюрократич.) — докладчик
МЕЛКИЙ ЧАСТИК (спорт.) — дриблинг
МЕЛКОТРАВЧАТЫЙ — коротко стриженный (о газоне)
МЕЛОДРАМА — отсутствие мела в разгар ремонтных работ
МЕЛОМАН (консерват.) — учитель, не признающий технических средств обучения
МЕНЕСТРЕЛЬ — человек, вызывающий огонь на себя
МЕНОПАУЗА (телев.) — пауза для смены рекламы
МЕНТИК (жарг.) — курсант школы МВД

МЕРЗАВЕЦ — см. ЗЯБЛИК
МЕРКАНТИЛЬНЫЙ — примерочный
МЕРЛУШКА (печальн.) — покойница
МЕСТНИЧЕСТВО — отмщение
МЕСТОИМЕНИЕ (железнодорож.) — плацкарта
МЕСЯЧНЫЕ (рег.) — оклад
МЕТАН — спортивный снаряд
МЕТЕЛИЦА — дворничиха
МЕТЕОРИЗМ — космический дождь
МЕТЕОРОЛОГИЯ — наука о метеорах, ср. КИНОЛОГИЯ, ТЕЛЕ-ОЛОГИЯ и др.
МЕТРЕССА — 1. женщина-машинист на метрополитене; 2. начальница службы точных мер и весов
МЕТРИКА — измерительная система
МЕТРОВЫЙ — имеющий отношение к метро (например, метровый интервал)
МЕТРОМАН (уст.) — человек, обожающий поездки на подземном транспорте
МЕТРОПОЛИЯ — сеть линий метро
МЕХАНИК — работник зверофермы
МЕШКОВИНА — задержка, промедление
МИГАЛКА — кокетка
МИГРЕНЬ — пора осенних перелетов
МИДИЯ — служащая МИДа
МИКРОБУС (лат.) — бактерия
МИКРОКОСМ — волос комара
МИКРОЛИТРАЖКА — шкалик, ср. МАЛОЛИТРАЖКА
МИКРОПОРКА (домашн.) — маленькая взбучка
МИКРОСКОП — небольшая толпа
МИКРОТОМ — миниатюрная книжка
МИМ — 1. прохожий; 2. (снайперск.) промах
МИМОЗА — начинающий стрелок
МИНДАЛЬНИЧАТЬ — лакомиться миндалем
МИНЕРВА (бран.) — плохая женщина, ср. БЕЛЬДЮГА
МИННЕЗИНГЕР — швейная машинка тети Мины
МИНОЙСКАТЕЛЬ — физиономист
МИНОНОСЕЦ — важное лицо
МИРАЖ (отчетн.) — количество мирных соглашений за период
МИРОЕД — человек, совершающий кругосветное путешествие
МИРОЗДАНИЕ (минск.) — здание кинотеатра «Мир»

МИРОН — парламентар
МНЕМОНИКА — тебе, Билл, тебе
МНЕНИЕ — действие по глаголу *мять* (мну, мнешь...)
МОДАЛЬНОСТЬ — следование моде, франтовство
МОДУЛЬ (иностр.) — франт, пиджак
МОЙВА — посудомоечная машина
МОКРИЦА (петербургск.) — осенняя погода
МОЛОКИ (мн.) — молокопродукты
МОЛОЧАЙ — чай по-английски (с молоком)
МОЛЧАНКА — пантомима
МОМЕНТ (сокр.) — московский милиционер
МОНОГРАММА — пластинка «моно»
МОНОМАХ (спорт.) — одно движение метателя
МОПС (аббрев.) — Министерство общественных путей сообщения
МОРГНУТЬ (однораз.) — попасть в морг
МОРДОВОРОТ — 1. брадобрей; 2. солдат в строю
МОРЗЯНКА — зимняя стужа
МОРМЫШКА — мышьяк
МОРОШКА — небольшая проблема, затруднение, хлопоты
МОРФЕМА (лингв.) — нечто усыпляющее
МОТОВСТВО — нитепрядильное производство
МОТЫГА (жарг.) — человек трудной судьбы
МОТЫЛЬ — 1. намотчик; 2. мотель в тылу
МОЧАЛКА (мед.-обих.) — лаборатория по приему анализов
МОЧКА (жарг.) — убийство, разборка
МОЩЕНИЕ — усиление, укрепление
МОЩИ — команда тяжелоатлетов
МРАКОБЕС — диавол в ночи
МУЖЕЛОЖСТВО (юр.) — измена мужу
МУЛЯЖ (азиатск.) — количество мулов на голову населения
МУРЛО — кот
МУССИРОВАТЬ — заниматься приготовлением муссов и желе
МУФТИЙ — изготовитель муфт, меховщик
МУШКЕТЕР — аппарат для удаления мушек на лице
МЫКАТЬ — говорить о себе во множественном числе
МЫТАРСТВО — прохождение таможенного контроля
МЫШЬЯК — матерый грызун
МЯСОПУСТ — студенческий рацион
МЯТЕЖ — переработка мяты

НАБАЛДАШНИК (бокс.) — точный удар
НАБОБ (венг.) — оставшийся ни с чем
НАВОДКА — пробка
НАВОСТРИТЬ (белор.) — наточить
НАВУХОДОНОСОП (белор.) — осведомитель, стукач
НАГЛЕЦ — см. ОГОЛЕЦ
НАГОВОР (милици.) — вор на пляже
НАГОНЯЙ (спорт.) — спурт
НАГОРЬЕ (собир.) — показания электросчетчика
НАДЕЖДА (женск.) — платье, то, что надевают на себя
НАДИР — состояние по глаголу НАДИРАТЬСЯ
НАДЛЕЖАЩИЙ — расположенный наверху, ср. ПОДЛЕЖАЩЕЕ
НАДОЕДЛИВЫЙ (детск.) — тот, кто ест по принуждению
НАДОМНИК — трубочист
НАДПИЛ (сущ.) — пригубленный напиток
НАДУВАТЕЛЬСТВО — изготовление воздушных шаров
НАЖИВКА (эконом.) — небольшая прибыль
НАЗВАННЫЙ — приглашенный (например, названный брат)
НАКЛАДНОСТЬ — соответствие накладной
НАЛИВ — обслуживание в баре; БЕЛЫЙ НАЛИВ — подача водки
НАЛИЧНИК — 1. бумажник, кошелек; 2. (эвфем.) намордник
НАЛИЦО (сущ.) — маска
НАЛОЖНИЦА — сборщица налогов
НАМАЗ — 1. (руг.) абстрактная картина; 2. слой масла на бутерброде;
3. макияж
НАМЕТ — накидка, покрывало
НАНКА — жительница Нанкина (Китай)
НАНОСНОЙ — находящийся на носу
НАПАРНИК — крышка на чайнике
НАПАСТЬ (сущ.) — атака
НАПЕРЕБОЙ (воен.) — рассчитанный на полное уничтожение
НАПЕРЕВЕС (торг.) — рассчитанный на излишний вес
НАПЕРСНИК (древнерусск.) — бюстгалтер
НАПЕРСТЯНКА — азартная игра
НАПОРТАЧИТЬ (нар.) —шить штанов
НАРВАЛ (сущ.) — фурункул
НАРЕЧИЕ — берег
НАРКОМ (сокр.) — наркоман
НАРЯДЧИК — модельер, кутюрье
НАСЛЕДИЕ — пятна на полу

НАСОС — радист спасательной службы
НАСТОЯТЕЛЬ — 1. настойчивый проситель; 2. человек, занимающийся изготовлением настоек
НАСТРОПАЛИТЬ (проф.) — обучить профессии стропаля
НАСУПИТЬСЯ (детск.) — наесться супа
НАТРИЙ — мозоль
НАУШНИКИ (женск.) — клипсы, ср. ПРИМОЧКИ
НАУШНИЧАТЬ — служить в радистах
НАХЛЕБНИК — живущий на минимальную зарплату
НАХЛОБУЧКА — шляпа, надвинутая до ушей
НАЯДА (женск.) — насытившаяся
НЕВАЛЯШКА — трезвенник
НЕВЕСТЬ — состояние новобрачной
НЕВИДАЛЬ (диал.) — темнота
НЕВИННЫЙ (торг.) — магазин «Мясо-молоко»
НЕВОД — затянувшийся ремонт водопровода
НЕВРАЛГИЯ (бытов.) — честность, порядочность
НЕВРОТИК — поцелуй в лобик
НЕГЛАСНЫЙ (лингв.) — согласный
НЕГОДНИЦА — бракованная деталь
НЕДЕЛЯ (физ.) — минимальная частица
НЕДОГАДЛИВЫЙ — страдающий запором, ср. КАЛИСТРАТ
НЕДОЛГА — кратковременная остановка, пауза
НЕДОНОСОК — расплесканное ведро
НЕДОРОД (мед.) — сохранение беременности
НЕДОУМЕНИЕ — незаконченное профтехобразование
НЕДОУМОК — человек, находящийся в состоянии недоумения
НЕЙТРИНО (итал.) — нейтральная полоса
НЕКЛЕН — дуб
НЕКРОПОЛЬ — г. Немиров, место рождения Н.А. Некрасова
НЕЛАДЫ — расстроенный аккордеон
НЕЛЕПИЦА — некачественный пластилин
НЕЛИКВИД — помилованный
НЕЛЮДИМЫЙ (косм.) — беспилотный
НЕМЕЗИДА — 1. женщина, в характере которой отсутствует мстительность; 2. утратившая дар речи
НЕНАГЛЯДНЫЙ (филос.) — абстрактный
НЕОЛИТ (сокр.) — современная литература
НЕОН (детект.) — ошибка в следственном делопроизводстве
НЕОТВЯЗНЫЙ — находящийся на цепи (о собаке)

НЕПАЛЕЦ — кулак
НЕПОДДАЮЩИЙСЯ — трезвенник
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ — живущий не по средствам
НЕПУТЕВЫЙ — отдыхающий «диким» способом, без путевки
НЕРАДИВЫЙ — не имеющий радио
НЕРАЗБЕРИХА — систематическая коррупция
НЕРВЮРА — 1. нервная система; 2. взлохмаченная шевелюра; 3. впечатлительная дамочка
НЕРЯХА — тонкое, одухотворенное лицо
НЕСБЫТОЧНЫЙ — не имеющий сбыта
НЕСНОСНЫЙ — не знающий сноса (об обуви)
НЕСУШКА (ежедневн.) — женщина с авоськой
НЕТЕЛЬ — не имеющий телевизора
НЕТОПЫРЬ — малыш, только учащийся ходить
НЕУСТОЙКА — покачивающаяся женщина
НЕЯСЫТЬ (студ.) — непонятная цитата, темное место
НИРВАНА — девственница
НИТРАТЫ — сэкономленные средства
НОВОКАИН — Каин XVIII
НОВОТЕЛЬНЫЙ — относящийся к современным отелям
НОГАЕЦ — футболист
НОЖНЫ (псковск.) — обувь
НОЙ — нытик, зануда, в противоположность АНТИНОЮ
НОТАБЕНЕ (иностр.) — хорошая музыка
НОТАЦИЯ — громкая нота
НОЧНИК — 1. сторож; 2. дневник, который ведут ночью
НУВОРИШ (иностр.) — ну, ворюга!
НУДИСТ (конфер.) — скучный докладчик
НУЖНИК — то же, что ТРЕБНИК
НУКЛОН — среднее между наклоном и уклоном
НУТРИЯ — утроба
НЮАНС — стриптизный ансамбль

ОБАГРИТЬ (противопож.) — оснастить баграми
ОБВИНЯТЬ (преступ.) — спаивать
ОБЕД — основа побед
ОБЕДНЯ — столовая
ОБЕЗЛИЧКА (бухг.) — выплата средств путем перевода на счет
ОБЕЛИСК (космет.) — осветляющее средство
ОБЕСКРОВЛЕННЫЙ — лишившийся крыши, бездомный

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ — высшая степень нищеты: отключение отопления в доме
ОБЕССУДИТЬ (юр.) — лишить ссуды (ср. просьбу: «Не обессудь!»)
ОБЖИМКИ — объятия
ОБЛАЖАТЬСЯ — подвергнуться налогообложению
ОБЛЕПИХА — 1. мокрая рубаха; 2. самоклеящаяся пленка
ОБЛИЦОВКА — деятельность, противоположная ОБЕЗЛИЧКЕ
ОБЛОЖКА (разг.) — пьяная ругань
ОБЛУЧОК (фамильярн.) — рентгеновский аппарат
ОБМАНКА — небольшая ложь
ОБМАНЩИК (семейн.) — ребенок, вымазавшийся манной кашей
ОБМОЛОЧЕННЫЙ — облитый молоком (или молоками)
ОБОГАЩЕНИЕ — приобщение к религии
ОБОДРИТЫ (собр.) — награжденные похвальной грамотой
ОБОЙНЫЙ (просторечн.) — совместный, ср. ОБЬ
ОБОЛТУС (лат.) — винтовое соединение
ОБОРВЫШ — отрывной календарь
ОБОРЗЕТЬ — заняться разведением борзых собак
ОБОРОТЕНЬ — 1. перелицованный пиджак; 2. (лингв.) — обратный словарь
ОБРАЗИНА — большая картина, художественное полотно
ОБРЕМЕНЕНИЕ — применение поясов безопасности на автомобилях
ОБРУЧЕНИЕ — надевание обручей на бочку
ОБЪЕМ (просторечн.) — биографическое описание: «про него»
ОБЬ — супружеская чета
ОВЧАРНЯ — собачий питомник
ОГНЕВКА (артилл.) — позиция для стрельбы
ОГОЛТЕЛО — нагишом
ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ (фразеол.) — самогонный аппарат
ОГОРОШИТЬ — угостить гороховым супом
ОДЕР — замечание, внушение, выговор
ОДНОКАШНИК — сидящий на кашевой диете
ОДНОКОЛКА — разовый шприц
ОДР — то же, что ОДЕР
ОЗАДАЧИТЬ — поставить перед подчиненным задачу
ОКАРИНА — девушка с карими глазами, ср. КАРИАТИДА
ОКОЛОТОК — 1. кедр с шишками; 2. (геол.) обломок
ОКОЛЬШ — бык на привязи
ОКУНЬ — купель

ОКУРОК (торг.) — цыпленок низшей категории
ОЛЕАНДР (сокр.) — дарственная надпись: Оле от Андрея
ОПАЛ — 1. ожог; 2. увядший цветок
ОПАХАЛО (устар.) — см. ОРАЛО
ОПЕКАТЬ — печь, равномерно поворачивая разными сторонами
ОПЕРЕТКА (театр.) — подлокотник у кресла
ОПЕРИРОВАТЬ (проф.) — сочинять оперы
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ — заведующий постановочной частью оперы
ОПЕШИТЬ — оказаться вытолкнутым из автобуса
ОПИСЬ — детская неожиданность
ОПОЛЗЕНЬ (нехор.) — пресмыкающееся
ОПОРКИ — костыли
ОПРАШИВАТЬ (старослав.) — опылять
ОПРОСТАТЬСЯ — сделаться проще
ОПТ (аббрев.) — облицеторг
ОПТИК — мелкий опт
ОРАЛО (устар.) — см. ОПАХАЛО
ОРАЛЬНЫЙ — 1. пахотный; 2. крикливый, сопровождаемый криком (например: оральный секс)
ОРАТОР — 1. (устар.) пахарь; 2. (совр.) младенец
ОРГАНИСТ — анатом
ОРГИЯ (сокр.) — организация, ср. РАЦИЯ
ОРИЕНТАЛИСТ — пеший турист
ОРУДОВАТЬ (устар.) — служить в ОРУДе
ОСАННА — правильная осанка, хорошая выправка
ОСЕЛОК (ласкат.) — маленький ишак
ОСЕНИТЬ — обеспечить кормами на зиму
ОСИНА — крупная оса
ОСИП (нариц.) — простуженный, больной ОРЗ
ОСОЗНАНИЕ (энтомол.) — изучение жизни перепончатокрылых
ОСОЛОВЕТЬ — запеть соловьем
ОСТЕПЕНИТЬСЯ (общеизв.) — защитить диссертацию на соискание ученой степени
ОСТРИЦА — женщина с чувством юмора, любительница пошутить
ОСТРОГ (морск.) — гарпун
ОТБОЙ (кулин.) — процесс приготовления антрекотов
ОТВЕРТКА — 1. (адм.) уклонение от выполнения служебных обязанностей; 2. (студ.) ответ не по существу
ОТДУШИНА — подарок от всего сердца

ОТЗОВИСТ — аукционер
ОТКРОВЕНИЕ (средневеков.) — кровопускание
ОТМОРОЗОК — оттаявшая туша
ОТОРВА — 1. квитанция; 2. пуговица на одной нитке
ОТРАСЛЬ — щетина на щеках
ОТРЕЗ — отрицательный ответ
ОТСЕБЯТИНА — дверь, открывающаяся наружу
ОТТОМАНКА (разг.) — Турецкая империя периода XVI—XIX вв.
ОТТОЧИЕ — лезвие
ОТХОДЧИВЫЙ — противоположность ДОХОДЧИВОМУ
ОТЧЕТЛИВЫЙ — бюрократический
ОФИГЕТЬ — купить свежих фиг, ср. ОШАЛЕТЬ, ОБОРЗЕТЬ и т.п.
ОХРА (сокр.) — охрана, ср. ВОХРА
ОЦЕПЕНЕТЬ (мед.) — заразиться свинным цепнем
ОЧЕНЬ (поэт.) — пучеглазие
ОЧКИ (солд.-множ.) — туалет
ОШАЛЕТЬ — купить в магазине пуховый платок, ср. ОФИГЕТЬ и т.п.
ОШАРАШИТЬ — охватить услугами частной фирмы
ОШИВАТЬСЯ — проводить время в ателье мод

ПАДИШАХ (полит.) — государственный переворот на Востоке
ПАДЬ (сокр.) — падшая женщина
ПАЙКА — канифоль
ПАЙ-МАЛЬЧИК — 1. новый член жилищного кооператива; 2. молодой акционер; 3. ученик лудильщика
ПАЙЩИК — лудильщик
ПАКЕТБОТ (иностр.) — коробка для обуви
ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ (мед.) — санобработка палат
ПАЛЕВЫЙ — гаревый
ПАЛИТРА (воен.) — пушка
ПАЛИЦА (древнерусск.) — спичка
ПАМПАСЫ — памперсы для генералов
ПАМПУШКА (сокр.-моск.) — встреча у памятника Пушкину
ПАНБАРХАТ (импорт.) — вельвет из Польши
ПАНДУС — самец панды
ПАНЕЛЬ — жена пана
ПАНИБРАТ (польск.) — шурин (например: держаться запанибрата)
ПАНИКАДИЛО (польск.) — курящая дама
ПАНОПТИКУМ — 1. (польск.) господин окулист; 2. (греч.) всевидящий

ПАНСИОНАТ — объединение сионистов
ПАПАЗОЛ (семейн.) — сердитый отец
ПАПЬЕ-МАШЕ (фр.) — родители
ПАРАМЕТР — двести сантиметров
ПАРАНОИК — любитель попарить кости в бане
ПАРАПСИХОЛОГИЯ (студ.) — двойка по психологии
ПАРАФРАЗА — небольшой рассказ, миниатюра
ПАРВЕНЮ (иностр.) — авеню с паровым отоплением
ПАРЕНЬ — любитель попариться
ПАРИЛКА (разг.) — дельтаплан
ПАРИТЬСЯ — сочетаться браком
ПАРИЯ — банщица
ПАРКА — баня
ПАРОВОЗ (калька с иностр.) — тандем
ПАРОХОД (собр.) — прогулки влюбленных
ПАРТЕР — школьник
ПАРУБОК — пень
ПАСКУДА (южноамер.-футб.) — игрок, отдавший неточный пас
ПАСПОРТУ (искаж.) — пашпарт
ПАССИК — пассивный гомик
ПАССИЯ (футб.) — передача мяча
ПАТОКА — вялотекущая шахматная партия
ПАТРОНАЖ — пулеметная лента. ПАТРОНАЖНАЯ СЕСТРА — Анка-пулеметчица
ПАХ (сельскохоз.) — один ход трактора
ПАХАН — бригадир трактористов
ПАХОТА — боль в паху
ПАЧКУН (проф.) — упаковщик
ПЕДИК (ласкат.) — студент пединститута (в отличие от МЕДИКА)
ПЕЛЕНГ — новорожденный
ПЕНАЛЬТИ — школьные принадлежности
ПЕНЕЛОПА — личинка жука-древоточца
ПЕНИСТЫЙ (лат.) — очень плохой
ПЕНОСТИРОЛ — стиральный порошок
ПЕНТАГОН — самогон пятикратной очистки
ПЕНЬ — средство для бритвы
ПЕНЬЕ (собр.) — лесная вырубка
ПЕНЬЮАР — спиленный баобаб на юге Африки
ПЕПЛУМ — Везувий
ПЕРВАЧ — победитель в соревновании, ударник

ПЕРВОРОДСТВО (поэт.-акуш.) — первые роды
ПЕРЕБОРКА (спорт.) — реванш на ковре
ПЕРЕБОРЩИТЬ (укр.) — съесть слишком много первого
ПЕРЕБРОДИТЬ — перейти на другую сторону реки
ПЕРЕВИРАТЬ (строит.) — поднимать выше, чем надо
ПЕРЕДВИЖНИК — чемодан на колесиках
ПЕРЕНОСИЦА (проф.) — подсобная работница
ПЕРЕПАЛКА — палка с излишествами (например, елка)
ПЕРЕПЕЛ — победитель конкурса песни (ПЕРЕПОЯ)
ПЕРЕПОЙ — конкурс вокалистов
ПЕРЕЧЕНЬ — блюдо кавказской кухни, ср. ПЕРЧАТКА
ПЕРЕЧНИЦА — любительница перечить (а иногда и насолить), ср.
СТАРАЯ ПЕРЕЧНИЦА
ПЕРЕШЕЕК — удавка
ПЕРИЛА — чернила для авторучек
ПЕРИПЕТИЯ (опечат.) — перепития
ПЕРИСЕЛЕНИЙ (научн.) — мигрант
ПЕРЛОВКА (разг.) — коллекция перлов
ПЕРОЧИСТКА — синичка
ПЕРСИ — персидский язык, ср. ФАРСИ
ПЕРСИК — маленький иранец
ПЕРСОНАЖ — количество участников банкета
ПЕРТУРБАЦИЯ — турбовинтовая авиация
ПЕРУН — гусь
ПЕРЧАТКА — 1. сосудик для специй; 2. водка, настоянная на перце
ПЕСКАРЬ — старатель, золотоискатель
ПЕШКА (обидн.) — 1. учительница пения; 2. начальник, не имеющий
служебной автомашины, ср. ЗАВИДУЩИЙ
ПЕШНЯ — тропинка
ПИГАЛИЦА (фр.) — девочка с Плас Пигаль
ПИЖОН (научн.) — среднестатистическое (3,14) количество потен-
циальных жен на одного холостяка
ПИКНИК (ист.) — всадник, вооруженный копьем
ПИКНИЧКА — любительница пикников
ПИКНУТЬ (рыцарск.) — один раз ткнуть пикой
ПИЛОН — лес-кругляк
ПИНЕТКИ — женский футбол
ПИНОККИО (футб.) — легкий пас
ПИПИФАКС — попискивающий факс
ПИРОГА — выпечка продолговатой формы

ПИРОТЕХНИК — тамада, организатор банкетов
ПИСЕЦ — грудное дитя
ПИТОН — алкоголик
ПИЩАЛЬ — 1. пастушья дудка; 2. (студ.) столовка
ПИЯВКА — холостяцкая квартира математика
ПЛАНЕРКА — спортсменка, занимающаяся авиапланеризмом
ПЛАТОК (служ.) — день полочки
ПЛАТОН — сторонник бестелесной любви
ПЛАТФОРМА (швейн.) — модель платья
ПЛЕВА — слона, ср. ПЛЕВЕЛЫ
ПЛЕВЕЛЫ (мн.) — слюни. ОТДЕЛЯТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ — по-
лоскать рот от зубной пасты
ПЛЕНУМ (лат.) — неволя
ПЛЕТЕНЬ — лапоть
ПЛОВЕЦ — любитель плова
ПЛОМБА (сокр.) — пластиковая бомба
ПЛОМБИР — стоматолог, ср. ЗУБИЛО, ДЕРЮГА
ПЛОСКОГУБЦЫ (африк.) — европейцы
ПЛЮХА — большая плюшка
ПЛЮШКА (разг.) — бархатная скатерть
ПЛЮЩИТЬ — обвивать плющом
ПОБЕГУШКИ (спорт.) — бег на короткие дистанции
ПОБОРНИК — налоговый инспектор
ПОВЕСА — висельник
ПОВЕСТКА (лит.) — новелла
ПОВОЙНИК — солдат, вернувшийся с войны
ПОВОЛОКА — повеса, волокита
ПОГОДКИ (множ.) — осадки
ПОГОНЩИК — кадровый военный
ПОГОРЕЛЕЦ (спорт.) — альпинист
ПОГОСТ — визит родных
ПОГРЕБЕЦ — 1. маленький погреб; 2. кладбищенский работник
ПОДАРОЧНЫЙ — подворотный
ПОДВОДКА — закуска
ПОДВОДНИК — возчик
ПОДВОРОТНЯ (нар.) — галстук
ПОДДАВКИ (множ.) — регулярные пьянки
ПОДДЕВКА — насмешка
ПОДЕНКА — женщина, которой платят по количеству отработанных
дней

ПОДЖАРЫЙ — пригорелый
ПОДЖИЛКА — соседка с нижнего этажа
ПОДЗОР — надзор снизу, подглядывание
ПОДКИДЫШ — акробат; ср.: ПОДКИДНОЙ ДУРАК — ампула клоуна-акробата
ПОДЛЕЖАЩЕЕ — нечто, лежащее под чем-то
ПОДЛЕЩИК — рыба со скверным характером
ПОДНАДЗОРНЫЙ — смотрящий ниже и выше других
ПОДОБОСТРАСТИЕ (калька с древнегреч.) — флирт, имитация сильного чувства
ПОДОНОК — 1. (хим.) осадок; 2. (зоол.) краб
ПОДОРОЖНИК — путешественник, ср. БРЕДЕНЬ
ПОДСПОРЬЕ — 1. обсуждение проблемы в кулуарах; 2. (конфер.) секционные заседания
ПОДСУМОК (яп.) — начинающий борец сумо
ПОДТЯЖКИ (гимнаст.) — упражнения на перекладине
ПОЖНЯ — кисть руки
ПОЗВОНОЧНЫЙ — блатной; ср.: ПОЗВОНОЧНИК (общеизв.) — студент, принятый в вуз по звонку сверху
ПОЗЕМКА — наземная линия метро
ПОЗОРИЩЕ (русс.) — драмтеатр
ПОЙЛО (муз.) — сольфеджио, вокальное упражнение
ПОЙМА (охотн.) — ловушка
ПОКАЗАТЕЛЬ — гид
ПОКАЗУХА — посещение участкового врача
ПОКЛЕП — бочкопроизводный процесс
ПОКЛОННИЦА — богомолка
ПОКРЫВАЛО (быт.) — матерщинник
ПОКУПКА — легкое омовение
ПОЛЗУНКИ (воен.) — саперы
ПОЛИГЛОТ — обжора, чревоугодник, то же ЖРЕЦ
ПОЛИШИНЕЛЬ (иностр.) — пальто с подстежкой
ПОЛНОМОЧИЕ (мед.) — переполнение мочевого пузыря
ПОЛОВИК (разг.) — врач-сексолог
ПОЛОВИНА ПЕРВОГО — супруга премьер-министра
ПОЛОВИЦА — женщина-сексолог, ср. ПОЛОВИК
ПОЛОВНИК — 1. специалист по натиранию полов; 2. пассажир, пользующийся правом льготного проезда
ПОЛОВОДЬЕ — разврат
ПОЛОВОЗРЕЛЫЙ — зрелый на 50%

ПОЛОНИЗМ (устар.) — пленение, взятие в полон
ПОЛОЧКА (шахм.) — ничья
ПОЛУДА — нерешительность, сомнение
ПОЛУУСТАВ — 1. (солд.) собрание инструкций; 2. (деесп.) притомившись
ПОЛУШКА (ласкат.) — 1/2 уха
ПОЛЧИЩЕ — моющее средство для линолеума
ПОЛЫНЬЯ — вермут
ПОМЕРАНЕЦ (мед.) — тяжелобольной
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО — варка варенья; ТИХОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО — варка варенья на медленном огне
ПОМОЙКА — мытье в коммунальной бане
ПОМОЧИ — памперсы
ПОМПАДУР — женское торжество, конкурс красавиц
ПОМРЕЖ (мед.) — ассистент хирурга
ПОНОС (литературовед.) — ругательная статья
ПОПАДЬЯ (спорт.) — результативная баскетболистка
ПОП-АРТ — искусство, создаваемое не руками, а другими частями тела
ПОПЕРЕЧНИК (шутл.) — непослушный ребенок
ПОП-МУЗЫКА — хорал
ПОПОЛЗНОВЕНИЕ — движение ребенка
ПОПСА (собр.) — духовенство
ПОПУГАЙ (финанс.) — ревизор
ПОПУТЧИК — соучастник в путче
ПОРЕБРИК — удар в боксе
ПОРОСЕНОК — любитель бега по утрам
ПОРТАЧ — брючник
ПОРТИК — маленький порт
ПОРТСИГАР — Гавана
ПОРТЬЕРА — женщина-портъе
ПОРТЯНКА — 1. бракованная деталь; 2. работница порта, ср. (фразеол.) ДРУГ ПОРТЯНКА
ПОРУЧЕНЕЦ — небольшой поручень
ПОРУЧНИ — свидетели на свадьбе
ПОСАДНИК (разг.) — прокурор
ПОСОБНИК — безработный, живущий на пособие
ПОСРЕДНИК (начальн.) — принимающий по средам
ПОСТАВЕЦ (торг.) — тот, кто поставляет товары
ПОСТАМЕНТ — постовой милиционер, ср. ПОЗУМЕНТ — милиционер-регулирующий

ПОСТИЖЕР — фанатик диет
ПОСТИТЬСЯ (воен.) — исполнять обязанности часового
ПОСТРЕЛ — полигон, тир
ПОСТСОВЕТСКИЙ — советский пост
ПОТОП — пеший туризм
ПОТСДАМ — пот, который стекает с дамы
ПОТУГИ — занятия штангистов
ПОШЛИНА — сальность
ПОШЛОСТЬ — похождение
ПОЯСНИЦА — женщина-экскурсовод, см. ГИДРА
ПРАВОВЕРНЫЙ — наверняка правый
ПРАЗДНОШАТАЮЩИЙСЯ (быт.) — человек, идущий с праздничного ужина
ПРАЩА — оружие пращур
ПРАЩУР — древний ящер
ПРЕВОСХОДНЫЙ — предрассветный
ПРЕДВЗЯТЫЙ — 1. выписанный по каталогу (о товаре), оплаченный предварительно
ПРЕДВКУШЕНИЕ — выпивка
ПРЕДПОСЫЛКА — почтовое извещение
ПРЕДТЕЧА — 1. (библ.) скопление облаков перед дождем; 2. (хоз.) аварийное состояние водопровода
ПРЕИМУЩЕСТВО (быт.) — лишние вещи
ПРЕИСПОДНЯЯ — рубашка, которая ближе к телу
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ (старослав.) — слишком хорошее дело
ПРЕЛЮДИЯ — 1. человекообразная обезьяна; 2. доисторическая эпоха
ПРЕПОДОБИЕ — высокая степень сходства
ПРЕРОГАТИВА — перспектива приобрести рога
ПРЕСВИТЕР — джемпер
ПРЕСС-ПАПЬЕ (иностр.) — давление со стороны отца
ПРИБАУТКА — утка с прибавочной стоимостью
ПРИБЕЖИЩЕ — финиш, ср. УБЕЖИЩЕ
ПРИБОЙ — секундант
ПРИВРАТНИК — мелкий лгун
ПРИГОРОШНЯ — принцесса из сказки Андерсена
ПРИГУБИТЬ — 1. приблизить к губам, поцеловать; 2. не совсем погубить, оставить в живых
ПРИЕМ (просторечн.) — при ком-то
ПРИКАЗЧИК — командир

ПРИМАТ — любитель «Примы»
ПРИМОЧКА — серьга
ПРИМУС (лат.) — передовик, ударник
ПРИПАРКА — автостоянка (например: «Что мертвому припарки?»)
ПРИПАРКОВАТЬ (лечебн.) — уморить компрессами
ПРИРОДНЫЙ — присутствующий при родах
ПРИСЛОНЯТЬСЯ (детск.) — притворяться слоном
ПРИСНО — во время сна
ПРИСТАНИЩЕ — навязчивый кавалер
ПРИХОЖАНИН — посетитель приемной
ПРИЧУДА — ассистентка иллюзиониста
ПРОБА (хим.) — большая пробка
ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА (устар.) — химическая лаборатория
ПРОБОЧНИК (винодел.) — дегустатор
ПРОВИНЦИЯ — мелкое правонарушение
ПРОЖЕКТЕР — осветитель
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ — игрок-неудачник
ПРОЙДОХА — встречный
ПРОКАЗНИК (мед.-обих.) — лепрозорий
ПРОКОП — туннель
ПРОКРАСТЬСЯ — провороваться
ПРОКТОЛОГ (научн.) — специалист, от которого большой прок
ПРОЛЕТАРИЙ — аэроплан
ПРОЛЕТКА — неудача
ПРОМЕЖНОСТЬ (учительск.) — форточка между занятиями
ПРОМЕНАД (древнегреч.) — эпос о Менадах
ПРОМОЗГЛЫЙ — свержушенный
ПРОПИСЬ (аптечн.) — рецепт
ПРОПОЙЦА — 1. вокалист; 2. запевала
ПРОПОЛИС (лат.) — сорняк, удалять
ПРОРВА (нар.) — антоним к НИРВАНА
ПРОСВЕЩЕНИЕ — рентгеновское обследование
ПРОСТОДУШНО — жарко
ПРОСТРЕЛ (мед.) — сквозное ранение
ПРОСТЫНЬ (просторечн.) — насморк
ПРОТЕКЦИЯ (научн.) — заливание соседей
ПРОТЕСТ (психол.) — описание эксперимента
ПРОТИВЕНЬ — 1. мерзавец, гадкий тип; 2. встречный ветер
ПРОХВОСТ (нар.) — сказка про лисицу, ловившую рыбу в проруби
ПРОХИНДЕЙ — специалист по языку хинди

ПРОЧНЫЙ — изгнанный
ПРОЩЕЛЫГА — 1. амнистированный; 2. просто лжец
ПУДЕЛЬ (спорт.) — 16-килограммовая гирия; ср. ПУДИНГ
ПУДИНГ — первенство по поднятию тяжестей
ПУЛЯРКА — игра, заключающаяся в метании шариков в мишень
ПУРГЕН — буран
ПУСТЕЛЫГА — неумная, болтливая женщина
ПУСТОЗВОН — каникулы в школе
ПУСТЫРНИК — приемщик стеклотары, см. ПУСТЫРЬ
ПУСТЫРЬ — опорожненная бутылка
ПУТАНИЦА (иностр.) — девица легкого поведения, ср. РАСПУТИЦА
ПУТИНА — большая дорога
ПУЧИНА — несварение желудка
ПУШКА — пуховая подушка
ПУЩА — 1. (юр.) справка об освобождении; 2. (ист.) вольная

РАБОЛЕПИЕ (искусствовед.) — изваяния, найденные при раскопках Древнего Рима
РАДИКАЛ — 1. человек, который старается ради какого-то пустяка; 2. слабительное
РАДИСТ (филос.) — оптимист, человек, который всему рад
РАЕК — 1. малогабаритная квартира для молодоженов; 2. (разг.) обращение к девушке по имени Рая
РАЕШНИК — 1. девичник; 2. праздник на небесах
РАЗБОЙ (русс.-англ.) — первый парень на ранчо
РАЗВЕЗЛО (просторечн.) — таксист
РАЗГИЛЬДЯЙ (ист.) — купец первой гильдии
РАЗГОВОРНИК (эстр.) — артист разговорного жанра
РАЗГРОМ — начало грозы
РАЗЗЯВА (груб.) — пасть
РАЗМИНКА (воен.) — саперное дело
РАЗНОБОЙ — вольная борьба
РАЗНОСОЛЫ (множ.) — ансамбль солистов-виртуозов
РАЗНОЧИНЦЫ — различающиеся воинскими званиями, например, капитан и лейтенант
РАКА — самка рака
РАКЕТКА (детск.) — космический кораблик
РАКУРС — задний ход
РАКУШКА — маленький уютный саркофаг

РАМАЗАН — маргарин «Рама»
РАНЕТ (быт.) — вундеркинд
РАНЕЦ — контуженный, ср. ПОМЕРАНЕЦ
РАНЖИР (сокр.) — преждевременная полнота
РАНТЬЕ — платье или обувь с декоративной строчкой
РАСКОЛЬНИК (хоз.) — топор
РАСПАТРОНИТЬ — 1. разоружить; 2. разжаловать, снять с высокой должности
РАСПАШОНКА (сельскохоз.) — поле, вспаханное под яровые
РАСПЕЧАТКА — вскрытое письмо
РАСПУТИЦА — девушка, имеющая несколько кавалеров
РАССАДА (разг.) — метрдотель
РАССТЕГАЙ — 1. застежка-молния; 2. стриптиз
РВАЧ — 1. стоматолог; 2. (опеч.) врач
РВАЧЕСТВО — см. РВЕНИЕ
РВЕНИЕ — см. РВАЧЕСТВО
РВОТА — ветошь, тряпье; результат РВЕНИЯ
РЕАЛ — факт
РЕВЕККА (библ.) — плакса
РЕВЕНЬ — 1. плаксивый мальчик; 2. ревнивый парень
РЕВМАТИК (сокр.) — ревнивый математик
РЕВЮ (бр.) — громкое, неблагозвучное пение
РЕГУЛЫ — правила дорожного движения
РЕЗЕДА (хирург.) — операция
РЕЗЕРВАТ — профтехучилище
РЕЗУС (лат.) — скальпель
РЕЙСШИНА (автомоб.) — запаска
РЕКЛАМАЦИЯ — большая реклама
РЕМАРКА (нем.) — марка, полученная в сдаче
РЕПЕТИР — ученик
РЕПУТАЦИЯ — приживление, противополож. АМПУТАЦИЯ
РЕССОРА — возврат к ссоре
РЕТРОГРАД — Старый город
РЕЦЕПТОР — аптекарь
РЕЧКА — краткое выступление, ср. СПИЧКА
РЕШЕТКА — задача, то же (сокр.) РЕШКА
РЖА — грубый смех
РИБОСОМА (научн.) — икринка, из которой вырастает рыба-кит
РИСОВАЛЬЩИК — сборщик риса
РОВНЯ — дорога, покрытая гравием

РОГАТКА — корова, ср. ДОЙНА
РОГОНОСЕЦ — то же, что НОСОРОГ
РОДИМЧИК (разг.) — любимый сыночек
РОДОНАЧАЛЬНИК — заведующий родильным домом
РОЖОН — детородный аппарат
РОЗВАЛЬНИ — дома на снос
РОЗМАРИН (нем.) — то же, что ПИОНИР
РОКАДА — шумная музыка
РОКИРОВКА — слет мотоциклистов
РОЛИК (обидн.) — артист массовки
РОМАШКА (игрив.) — курортный флирт, увлечение
РОСТОВЩИК — садовник, работник питомника
РОТМИСТР (казач.) — ротный министр
РОТОЗЕЙ — пациент на приеме у зубного врача
РОЯЛИСТ — аккомпаниатор
РУБАЙИ — поленья
РУБАНОК — топор
РУБИЛЬНИК — продавец в мясном отделе
РУБИЩЕ — 1. битва, побоище; 2. рукоять топора
РУДИМЕНТ (укр.) — рыжий милиционер
РУКОПАШНАЯ — делянка, грядка на приусадебном участке
РУКОПЛЕСКАНИЕ — омовение ладоней
РУКОПРИКЛАДСТВО — 1. ремесло, мануфактура; 2. (старомодн.)
знак внимания к женщине
РУЛЕТКА — 1. любительница рулетов; 2. женщина-водитель
РУНЫ — завитки (на шерсти барана)
РУПИЯ — индийский рубль
РУЧАТЬСЯ — здороваться за руку
РЫДВАН — похоронная колымага, катафалк
РЫЛО — инструмент дачника
РЫНДА — торговка на базаре
РЫСАК — самец рыси
РЫЧАГ — продавец, грубый с покупателями
РЯЖЕНКА — 1. модно одетая особа, ср. ФОРСУНКА; 2. участница
карнавала
РЯСКА — короткая ряса

САВАН — одежда для путешествий по саванне
САГО (сканд.) — сказание
САДИСТ — см. РОСТОВЩИК

САЖЕНЕЦ (юр.) — отбывающий наказание
САЖЕНКИ — молодые лесопосадки
САКСАУЛ — уличный саксофонист
САЛОНИКИ (мн.) — выставочные павильоны
САЛОЧКИ (нар.) — шкварки
САМЕЦ (разг.) — человек, который все делает сам
САМОБРАНКА — скандалистка
САМОВАР (шутл.) — холостяк
САМОГОН — 1. велосипедист; 2. (разг.) перпетуум мобиле
САМОГОНЩИК — мотоциклист, не состоящий в спортивном обще-
стве
САМОЕД — сидящий на диете, увлекающийся голоданием
САМООБЛАДАНИЕ — онанизм
САМОРОДОК (кур.) — вылупившийся птенец
САМШИТ — курсы кройки и шитья
САНТЕХНИК — чин мастера
САНТИМЕНТ — чувствительный милиционер
САРДИНЕЛЛА — сардина, пойманная в Дарданеллах
СБИТЕНЩИК — рабочий на производстве ящиков
СБИТЕНЬ — 1. ящик; 2. мессершмит; 3. человек крепкого телосложе-
ния
СБРОД (научн.) — продукт бродительного процесса
СБЫТ (соц.) — мечта, ставшая реальностью
СВАЙКА — небольшая свая, кол
СВАРИБОГ — победитель конкурса поваров, ср. СТРИБОГ
СВАРКА — небольшая ссора, скандальчик
СВАРЛИВЫЙ — имеющий отношение к кухне, кулинарный
СВАРЩИК — кок
СВЕЖЕВАТЬ (парикмах.) — обрызгивать одеколоном
СВЕРСТНИК (ред.) — подготовленный к выпуску номер газеты
СВЕРХЧЕЛОВЕК — сосед этажом выше
СВЕТЛИЦА (петерб.) — белая ночь, то же (разг.) СВЕТЕЛКА
СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ — спектакль при электрическом освещении
СВИНЕЦ (общеизв.) — самец свиньи
СВИНТУС — гайка
СВИСТОПЛЯСКА — Краснознаменный ансамбль песни и пляски
СВИТЕР (англ.) — сопровождающий, лицо, входящее в свиту
СВИЩ — автоинспектор
СВОДНИК (офиц.) — метеоролог
СЕВРЮГА (обидн.) — жительница Крайнего Севера

СЕГРЕГАТОР — расист
СЕДАН — диван
СЕЙНЕР (сельскохозяйств.) — рабочий на посевных работах
СЕКРЕТЕР — шифровальщик
СЕКСТАНТ — половой извращенец
СЕЛЕЗЕНКА — утка-самка
СЕЛИТРА — паспортистка в общежитии
СЕЛЬ (природн.) — мель
СЕЛЬДЕРЕЙ — маринад
СЕЛЬКУПЫ (множ.) — сеть магазинов в деревне
СЕМЕНИТЬ — сеять
СЕМИНАРИЯ — ночлежка на семь мест
СЕМИРАМИДА (чуд.) — теплица на семь рам
СЕНИ — высохшие травы
СЕРАЛЬ (экзот.) — санузел
СЕРВИЛИЗМ — наука обслуживания
СЕРДОЛИК — бука, человек с угрюмым лицом
СЕРДОБОЛЬНЫЙ — пациент кардиологического отделения
СЕРДЦЕВЕД (разг.) — кардиолог
СЕРДЦЕЕДКА — стенокардия
СЕРЕЖКИ — тезки, друзья с одинаковым именем Сергей
СЕРМЯГА — мягкосердый человек
СЕРНИК — 1. (кавказ.) загон для серн; 2. (просторечн.) унитаз
СЕРПАНТИН (устар.) — жатва вручную
СЕРПЕНТАРИЙ — помещение для хранения сельхозинвентаря
СЕРСО (типогр.) — опечатка, читай: СЕРДЦЕ
СЕСТЕРЦИЙ (лат.) — свояк, швагер
СЕЧКА (устар.) — битва регионального масштаба
СИВУХА — 1. (оскорб.) седеющая женщина; 2. (муз.) фальшивое си, режущее ухо
СИГНАТУРА (иностр.) — натюрморт с рыбой
СИДЕЛКА (разг.) — исправительно-трудовая колония
СИКОМОР — 1. средство от недержания; 2. яд для сикофанта
СИЛОК (разг.) — качок, занимающийся культуризмом
СИЛЬФИДА (мед.) — бледная спирохета
СИНЕКУРА — очень битая птица
СИНЕРАМА (телев.) — голубой экран
СИНИЦА (разг.) — алкоголичка
СИПАЙ — простуженный
СКАЛИТЬСЯ — заниматься альпинизмом

СКАЛЬПЕЛЬ — томагавк
СКАНДАЛИСТ — беглый каторжник
СКАТКА (детск.) — ледяная горка, то же (офиц.) СКАТЕРТЬ
СКВЕРНА — урна в парке, ср. СКВЕРНЫЙ
СКВЕРНЫЙ — бульварный, парковый
СКВОЗНЯК (железнодорожн.) — транзитный пассажир
СКЛАДЕНЬ — перочинный нож
СКЛАДКИ — стихи Виктора Бокова
СКЛЕП — корпус судна
СКОБЯНОЙ (арифм.) — заключаемый в скобки
СКОЛИОЗ (геол.) — отбитый кусок породы
СКОПЕЦ (бурж.) — толстосум, ростовщик
СКОПИДОМ — пайщик жилищкооператива
СКОРОПИСЬ — e-mail
СКОРОПОСТИЖНОСТЬ — техника быстрого чтения
СКОРНЯК — 1. расторопный официант; 2. (железнодорожн.) экспресс
СКРЕПЕР — шиватель для бумаг
СКРИЖАЛЬ — неисправные тормоза
СКУЛЕЖ — восточный тип лица
СКУПЕЦ — оптовый покупатель
СКУПИТЬСЯ — сторговаться
СЛАВИСТ (возвыш.) — одописец, автор мадригалов и панегириков
СЛАНЕЦ — курьер
СЛЕДОВАТЕЛЬ — дальний пассажир
СЛЕПЕНЬ (нар.) — слабовидящий
СЛИВНЯК — помой
СЛОВЕСА (множ.) — силки, ловчая снасть
СЛУЧКА — случайная встреча
СМАЗЛИВЫЙ (железнодорожн.) — вагонообходчик
СМЕЖНИК — сосед-дачник
СМОРЧОК — носовой платок
СМУТА — деятельность СМУ (строительно-монтажного управления)
СМУТЬЯН — работник СМУ
СМУШКА — робкая девушка
СМЫЧОК — осуществляющий смычку
СНЕДАТЬ — есть, принимать пищу
СНИСХОЖДЕНИЕ (альпин.) — спуск с вершины
СНОВАТЬ — повторять
СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ — дорожно-транспортный (о происшествии)

СОБЕС (сокр.) — собеседник
СОБЕСЕДНИК — работник собеса
СОБОЛЬ — совместная боль, сострадание, сочувствие
СОВЕЩАНИЕ (этич.) — обращение к совести
СОВОК — нос
СОВРАЩЕНИЕ — вальс
СОГЛЯДАТАЙ — свидетель
СОДЕРЖАНКА (книжн.) — аннотация
СОДОМ — коммунальная квартира
СОЙКА (разг.) — соевая мука
СОКРАТ (нар.) — человек, уволенный по сокращению штатов
СОЛДАФОН — говорящий на солдатском языке
СОЛИСТ — специалист по засолке
СОЛИТЕР — мельница на соляных коях (СОЛЯРИИ)
СОЛЛЮКС (кух.) — соль поваренная высшего сорта
СОМНАМБУЛА (искаж. укр.) — сон нам был
СОМНЕНИЕ — мнение коллектива
СОНАТА — колыбельная
СОПЕНИЕ — дуэт
СОПЕРНИК (лит.) — соавтор
СОПКА — ноздря
СОПЛЕМЕННИК — больной насморком
СОПРАНО (жарг.) — похититель
СОРВАНЕЦ (авар.) — сорвавшийся со скалы альпинист
СОРЕВНОВАНИЕ — взаимная ревность супругов
СОРОКОУСТ — клюв сороки
СОРОЧКА (зоол.) — небольшая сорока
СОРТИРОВАТЬ — ходить по нужде
СОСЕД (сокр.) — совершенно седой человек
СОСКА (просторечн.) — радиограмма о помощи
СОСЛОВИЕ (книжн.) — цитирование
СОСНЯК (санаторн.) — тихий час
СОТНИК — штангист, взявший вес в 100 кг
СОЧЕЛЬНИК — любитель отдыха в Сочи, ср. СОЧИТЬСЯ
СОЧИТЬСЯ — проводить отпуск в Сочи
СПАЛЬНЯ — поджог
СПАРЖА — супруга
СПАРРИНГ (соб.) — вязка
СПЕРТЫЙ (воздушн.) — исчезнувший, улетучившийся
СПЕЦ — любитель поспать, соня

СПЕЦИАЛИСТ (базарн.) — человек, продающий лавровый лист и другие пряности
СПИД (аббрев.) — специфические последствия интернациональной дружбы
СПИДОМЕТР — прибор для анализа крови на СПИД, ср. КУРВИМЕТР
СПИКЕР — всадник, вооруженный копьем
СПИН — 1. горб; 2. сон
СПИННИНГ — 1. рюкзак; 2. (спорт.) стиль плавания на спине; 3. обратная сторона шиллинга
СПИРАЛЬ — кража
СПИЦА — соня, любительница поспать
СПИЧКА (англ.) — маленькая застольная речь
СПЛЕТНИЦА — вязальщица
СПЛЕТНЯ — корзина
СПОРАДИЧЕСКИЙ (научн.) — дискуссионный, ср. СПОРЫНЬЯ
СПОРЫНЬЯ — дискуссия
СПРАВА (юр.) — обстоятельная справка
СРЕДОСТЕНИЕ (строит.) — место соединения панелей
ССАДИНА (разг.) — контролер в общественном транспорте
СТАВНЯ (студ.) — оценка, отметка
СТАДИОН (сельскохоз.) — пастбище
СТАНИОЛЬ (пушкинск.) — знакомство героя с сестрами Лариными
СТАТИСТ — журналист
СТАТИСТИК — журналист в многотиражке
СТЕК — водосточный желоб
СТЕНОГРАФИЯ (нехор.) — надписи на стенах
СТЕНОЗ (мед.) — состояние, при котором держатся за стену
СТЕПАНИДА — целина
СТЕПЕНЬ (научн.) — пень в степи
СТЕРЕОТИП — двуличный человек
СТЕРЛЯДЬ — очень плохая женщина, ср. БЕЛЬДЮГА, МИНЕРВА
СТИХАРЬ — поэтический сборник
СТИХИЯ — поэтическая графомания
СТОИК — человек в очереди
СТОЛБОВОЙ (мифол.) — столбавый, то же (груб.) СТОРОЖЕВОЙ
СТОЛЕШНИЦА — 1. долголетняя жительница Кавказа; 2. сторулевая купюра
СТОПАРЬ — автоинспектор
СТОПКА — 1. будка ГАИ; 2. девушка, путешествующая автостопом

СТОРОЖ (груб.) — большой зарубежный джаз
СТРАДА — мука
СТРАННИК — человек с необъяснимым поведением, чужак
СТРАХАГЕНТ — агент, нагоняющий страх (например, Джеймс Бонд)
СТРЕКУЛИСТ — крапива
СТРЕМЯ — 1. бремя страстей; 2. банкет вчетвером
СТРЕМЯНКА — 1. (мед.-обих.) шизофреническая форма карьеризма;
2. верховая лошадь
СТРЕНОЖИТЬ (фотогр.) — воспользоваться треногой при съемке
СТРИБОГ (мифол.) — классный парикмахер, победитель конкурса
цирюльников
СТРИЖ — парикмахер
СТРОГАЧ (разг.) — столяр
СТРОПАЛЬ — парашютист
СТРОПТИВЫЙ — парашютный
СТРУНА (опеч.) — читай: государство
СТРЯПЧИЙ — повар
СТУДЕНЕТЬ — поступать в вуз
СТУДЕНТКА-ЗАОЧНИЦА — студентка, получающая хорошие оцен-
ки за свои красивые глаза
СТУДИЯ — холода
СТУКАЧ — дятел
СТУПА — шаг
СТУПОР (сказочн.) — гараж Бабы-Яги
СУВЕРЕНИТЕТ (иностр.) — с уверенностью
СУГРОБ (фр.) — недорогие похороны
СУДАЧИТЬ — увлекаться рыбной ловлей
СУДОПРОИЗВОДСТВО — кораблестроение
СУДОРОЖНЫЙ — относящийся к деятельности дорожного строй-
управления (СУ)
СУДЬБА — гражданский процесс
СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ — похудевший на молочной диете (напри-
мер, на ряженке)
СУЛЕМА — обещание
СУПЕРМЕН — любитель супов
СУПЕРОБЛОЖКА — свёрхпошлина
СУПИН (научн.) — набор специй для супа
СУПИНАТОР — раздатчик в столовой
СУПОСТАТ — недоеденное первое блюдо
СУПРУГ — человек, который ест суп и ругается (например, муж)

СУФЛЕР (проф.) — кондитер
СУЧИТЬ (нехор.) — употреблять в разговоре бранные выражения
СУЧОК (ласк.) — щенок
СХОДНИ (мнж.) — дуэлянты
СЪЕМЩИК — фотограф
СЫРОЕЖКА — 1. сторонница сыроедения; 2. любительница сыра

ТАБЕЛЬЩИЦА — учительница
ТАБУЛЯТОР (этн.) — запретитель, тот, кто налагает табу
ТАБУРЕТ (афр.) — соблюдение запрета на что-либо
ТАВЕРНА (неграм.) — эта правильна
ТАКСИС (научн.) — таксопарк
ТАКСОФОН — радиофицированное такси
ТАКТИКА — работа часового механизма
ТАМБУРИН — железнодорожник
ТАМБУР-МАЖОР — День железнодорожника
ТАРАБАРЩИНА — сдача посуды в приемный пункт
ТАРАНТЕЛЛА — самка тарантула
ТЕКСТОЛИТ (полигр.) — типографский набор
ТЕКУЧКА (разг.) — менструация
ТЕЛЕКИНЕЗ (научн.) — программа передач на неделю
ТЕЛЕМАХИДА (эп.) — телевизор с большим экраном
ТЕЛЕОЛОГИЯ — наука о телевидении, ср. КИНОЛОГИЯ
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ — спальня
ТЕЛЯТИНА (разг., пренебр.) — плохая телевизионная программа
ТЕМЕНЬ (студ.) — перечень тем курсовых работ
ТЕМЛЯК — затылок
ТЕМПЕРА (сокр.) — температура; ср. О ТЕМПОРА О МОРЕС (лат.) —
температура морской воды
ТЕРМИДОР — тепличный помидор
ТЕРМОПСИС — инкубатор
ТЕРМЫ (мнж.) — градусы
ТЕРПЕНТИН — болеутоляющее
ТЕРПКИЙ — выносливый
ТЕТ-А-ТЕТ (иностр.) — тётъ, а тётъ!
ТИБЕТ — половое извращение, описываемое с точки зрения 2-го лица
ТИК — одно колебание часового механизма
ТИСКИ — объятия друга
ТЛЕТВОРНЫЙ — пожароопасный
ТОКАРЬ (тамб.) — тетерев

ТОЛКОВАТЬ — пихать
ТОЛКОВИЩЕ — 1. давка; 2. Словарь живого великорусского языка в 4 т. Владимира Даля
ТОЛКУЧКА — см. ТОЛОКНЯНКА
ТОЛОКНЯНКА — см. ТОЛКУЧКА
ТОЛСТОСУМ — почтальон
ТОМАГАВК — сердитая реплика Тома
ТОНАРМ — военный музыкант
ТОПАЗ (родит.) — малыш
ТОПОЛЬ — пешеходный переход
ТОПОРЩИТЬСЯ (сказочн.) — питаться щами из топора
ТОРИЙ (англ.) — сторонник партии консерваторов
ТОРМАШКИ (разг.) — неисправные тормоза (например: полететь вверх тормашками)
ТОСТЕР (ресторанн.) — тамада
ТОТЕМ (иностр.) — каждому свое
ТРАВЕСТИ — тропинка через луг
ТРАВИЛЬЩИК (нар.) — любитель рассказывать анекдоты
ТРАКТИР — придорожное стрельбище
ТРАКТОВАТЬ — трамбовать, утюжить (о дороге)
ТРАМ-ТАРАРАМ — грохочущий трамвай
ТРАНСАГЕНТСТВО — учреждение, доводящее своих клиентов до транса, ср. СТРАХАГЕНТСТВО
ТРАНСВЕСТИЗМ (журн.) — международное информационное агентство
ТРАНСПОРТИР — грузовик, перевозящий товары через границу
ТРЕБНИК — то же, что НУЖНИК
ТРЕЗВОН — 1. активист общества трезвости; 2. тройной звонок (в дверь)
ТРЕЛЬЯЖ — пение соловья, то же ТРЕЛЕВКА
ТРЕПАНАЦИЯ (общеизв.) — болтовня
ТРЕПАНГ (неодобр.) — болтун, враль
ТРЕСКОТНЯ (собр.) — косяк трески
ТРЕТИРОВАТЬ — см. УТРИРОВАТЬ
ТРЕХЧЛЕН (анат.) — совокупительный аппарат Змея Горыныча, ср. ТРИЛОБИТ
ТРИАДА — первые круги преисподней
ТРИКЛИНИЙ (древнегреч.) — трезубец, вилка
ТРИКОНЬ (горн.) — упряжка из трех лошадей
ТРИКТРАК (фр.) — трехколесный трактор

ТРИЛОБИТ — мыслительный аппарат Змея Горыныча
ТРИОДЬ (собр.) — транзисторная мелочь, радиодетали
ТРИОЛЕТ — 1. трехлетний юбилей; 2. самолет на троих
ТРИСТАН — стакан емкостью 300 г; ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА — то же, из холодильника
ТРИТОН — грузовик подъемностью 3,0 т, в отличие от ПИТОНА
ТРОГЛОДИТ — обжора, ср. ЖРЕЦ
ТРОЛЬ (сокр.) — троллейбус
ТРОПАРЬ — путеводитель для туристов
ТРОПИК (литературовед.) — небольшой троп, художественный приемчик
ТРУБАДУР — свихнувшийся трубач
ТРУСЦА — боязнь
ТРЫН-ТРАВА — чертополох
ТРЮМО — грузовое помещение в нижней части судна
ТРЯСИНА — плохая дорога
ТРЯСОГУЗКА — вертихвостка
ТУГОПЛАВКИЙ — стесняющий движения, обтягивающий (о трусах)
ТУК (машиноп.) — один удар пальцем
ТУЛУМБАС (тульск.) — придамбас
ТУЛЯ — жительница Тулы
ТУНЕЦ (социол.) — бездельник
ТУРИН (интур.) — заграничный вояж
ТУРНЕПС — экскурсионный рейс для пассажиров
ТУРНЮР (рыцарск.) — участник соревнований
ТУШ (сокр.) — пожарник
ТУШЕНКА — гашеная известь
ТУШКАНЧИК — мясник
ТЫКВА — грубиян
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК — толстый роман
ТЫЧИНКА (женск.) — указательный палец
ТЮЛЬКА — занавеска
ТЯГОМОТИНА — сматывание ниток в клубок
ТЯЖБА — 1. соревнование штангистов; 2. влечение
УБЕЖИЩЕ — старт
УБЛЮДОК (руг.) — официант
УБОИНА — выбоина на шоссе
УБЫТОК (офиц.) — дембель
УВЕРТЮРА — 1. (спорт.) обманное движение; 2. уловка

УВЕЩЕВАНИЕ (вокз.) — нахождение у вещей с целью их охраны
УГЛЕВОДНЫЙ — водный способ добычи угля
УГОДЛИВЫЙ — владеющий угожьями
УГОДЬЕ — подхалимаж
УГОРЬ — жертва отравления
УГРОЗЫСК — источник угрозы
УГРЫЗЕНИЕ — надкус
УДАЛЬ — разлука
УДАЧА (летн.) — приусадебный участок, фазенда
УДИЛА (собр.) — рыболовные снасти
УДОБОВАРИМЫЙ (кулин.) — полуфабрикат
УЕЗД — то же, что отъезд
УЖИМКИ — см. ЖМЫХ
УКЛЕЙКА (белор.) — клейка
УКЛОНИСТ — выпускник школы с музыкальным или иным уклоном
УКЛЮЧИНА (служ.) — вахтерша
УЛЕПЕТНУТЬ (детск.) — пробормотать что-то невнятное
УЛОВКА — удочка
УМКА — головоломка
УМОРА — эпидемия
УНИВЕРСАМ — умелец
УНИСОН — совместный сон
УПИСЫВАТЬ (лит.) — живописать впечатления, ср. УПЛЕТАТЬ
УПЛЕТАТЬ (лит.) — вовлекать в хитросплетения
УПОИТЕЛЬНЫЙ — алкогольный
УРАРТУ — древний боевой клич
УРКА — мурлыкающая кошка
УРОЧИЩЕ — занятие в классе продленного дня
УСАДЬБА (торж.) — размещение гостей за столом
УСУГУБЛЕНИЕ — сбривание усов
УСЫПАЛЬНИЦА — колыбельная
УТИЛИТАРНЫЙ — макулатурный, вторсырьевой
УТКОНОС — 1. охотник, несущий с базара утку; 2. (болнь.) санитар
УТОК — селезень
УТОПИЯ — 1. наводнение; 2. кораблекрушение
УТРИРОВАТЬ — умножать на 3, ср. ТРЕТИРОВАТЬ
УХАЖЕР — любитель рыбного супа
УХАРЬ (мед.-обих.) — отоларинголог
УХОВЕРТКА (старорежимн.) — сторонница физических методов воспитания

УШАНКА — женщина с крупными ушами, ср. УШАТ
УШАТ — мужчина с крупными ушами, ср. УШАНКА
УШЛЫЙ — отсутствующий, ушедший

ФАЗАН — монтер
ФАКТОРИЯ (филос., собир.) — объективная действительность
ФАНФАРОН (торж.) — трубач
ФАРАДЕЙ — осветитель
ФАРСИ — легкомысленные сценки
ФАРТИНГ — неожиданный и незаслуженный успех
ФАСОЛЬ — кое-что из области музыки
ФАТАЛИСТКА — невеста
ФАТА-МОРГАНА — невеста, подмигивающая из-под фаты
ФАУСТПАТРОН — Мефистофель
ФЕЛЮГА (руг.) — фельдшер
ФИГ (сокр.) — фигура
ФИГЛЯР (неодобр.) — школяр, показывающий фиги
ФИДЕИСТ — приверженник шахматной федерации ФИДЕ
ФИЗО (сокр.) — физическое истощение здорового организма
ФИЛЕНКА — мягкая часть тельца
ФИНВАЛ (сокр.) — ось для иномарки, ввезенной из Финляндии
ФИНГАЛ (ист.) — столкновение финна с галлом
ФИНИКИЕЦ — любитель фиников
ФИНТИФЛЮШКА — финт в хоккее
ФИРМАН — служащий фирмы
ФИСКАЛЬНЫЙ — ябеднический
ФЛЕГМОНА — апатия
ФЛОМАСТЕР — живописец фламандской школы
ФОНОГРАММА — жена граммофона
ФОРМАЛИН — документ
ФОРСУНКА — воображала, модница, ср. РЯЖЕНКА
ФОРТОЧКА (воен.) — небольшая укрепленная точка
ФРАКЦИЯ — опера
ФРЕНЧ (англ.) — французский язык
ФУГАНОК — любитель фуг
ФУРАЖКА (сельскохоз.) — сводка о ходе заготовки кормов

ХАЛАТНОСТЬ (больничн.) — обеспеченность медперсонала халатами
ХАМЕЛЕОН — грубиян
ХАРИЗМА (полит.) — умение преподнести лицо

ХАРИУС — круглолицый усатый человек
ХАХАЛЬ — хохотун, насмешник
ХВОРОСТИНА (архангельск.) — болезнь
ХИМЕРА (сокр.) — эра химии
ХЛАМИДОМОНАДА — монашеская одежда
ХЛЕБАЛО (дорев.) — булочник
ХЛЕБНУТЬ (общепит.) — вкусить хлеба
ХЛОПОТЫ — аплодисменты
ХЛОПЬЯ — отдельные (редкие) аплодисменты, ср. ВЫХЛОП
ХЛЮПИК — ребенок, больной насморком
ХОДАТАЙ — легкоатлет, мастер ходьбы на длинные дистанции
ХОЛЕРИК — инфекционный больной
ХОЛКА — маленькая прихожая
ХОЛОСТОЙ ПАТРОН — неженатый начальник
ХОРОВОД — руководитель хора
ХОРУНЖИЙ (воен.) — запевала
ХОРЬ (собир.) — женская хоровая капелла
ХРЕСТОМАТИЯ (калька с древнегреч.) — БОГОРОДИЦА
ХРОНИК — журналист, репортер
ХРУСТАЛЬ — битое стекло

ЦЕЛИБАТ — батальон снайперов на огневой позиции
ЦЕЛОВАЛЬНИК — донжуан, повеса, волокита
ЦЕЛЬСИЙ (нариц.) — снайпер
ЦЕНТРОПЛАН — Госплан
ЦЕХИН — ремесленник
ЦИКАДА — работница Центральной избирательной комиссии, то же
ЦИКУТА
ЦИКЛАМЕН — менструальный цикл
ЦИРКОНИЙ — цирковой наездник
ЦИРКУЛЯР — 1. ученик школы циркового искусства; 2. готовальня
ЦИРКУЛЯРКА — канцелярия
ЦИТРА — 1. (сокр.) список цитированной литературы; 2. лимонная
кожура
ЦОКОЛЬ (лош.) — копыто
ЦЫПКИ (ласк.) — куриное потомство

ЧАЙКА (сокр.) — чайная ложечка
ЧАЙНИК (англ.) — китаец
ЧАЙХАНА (студ.) — мысль: наверное, двойка

ЧАРКА (волшебн.) — колдунья
ЧАСОСЛОВ — справка «точное время»
ЧАСТИК (мелк.) — процент
ЧАСТОКОЛ — дневник двоечника
ЧАСТУШКА — 1. расческа с мелкими зубчиками; 2. малая доля, про-
цент, ср. ЧАСТИК
ЧАЯНИЕ (яп.) — чайная церемония
ЧЕБУРАХНУТЬСЯ (разг.) — помешаться на фильме про Чебурашку
и Крокодила Гену
ЧЕКИСТКА — кассирша, то же (нар.) ЧЕКУШКА
ЧЕЛОБИТЬЕ (древнерусск.) — соревнования по боксу
ЧЕПЕЦ (ласк.) — маленькое происшествие
ЧЕРЕПИЦА — затылочная кость
ЧЕРНИЛА (бюрокр.-обих.) — анонимщик
ЧЕРНОБУРКА — бурка черного цвета
ЧЕРНОКНИЖНИК — спекулянт книгами на черном рынке
ЧЕРНОСЛИВ — промышленные отходы, сточные воды
ЧЕРТЕЖ (собир.) — ад, преисподняя, то же ЧЕРТОГ
ЧЕСУЧА — лишайное заболевание кожи, ср. ЧЕШУЯ
ЧЕТВЕРТИНКА (школьн.) — самая короткая (вторая) четверть
ЧЕТВЕРТОВАТЬ (школьн.) — 1. выставлять оценки за четверть;
2. умножать на 4, ср. ТРЕТИРОВАТЬ
ЧЕТКИ — прописи
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК — домосед
ЧЕШУЯ — признание врачу-дерматологу
ЧИНАРА (адм.) — большой начальник
ЧИНАРИК — 1. зам большого начальника; 2. саженец чинары
ЧИНУША — сапожник
ЧИРОК — резкий однократный росчерк по бумаге
ЧИСТОПЛЮЙСТВО — несоблюдение гигиенических норм
ЧИСТОТЕЛ — банщик
ЧУДЬ (нар.) — фантастика
ЧУМИЧКА — инфекционная больная, ср. ХОЛЕРИК
ЧУТЬ (разг.) — способность обоняния, нюх
ЧУШКА — маленькая глупость

ШАЛАВА — проказница, баловница
ШАЛЕ (фр.) — кашне, шарфик
ШАЛЕВКА — уменьшительное к ШАЛАВА
ШАЛОПАЙ — то, что вырастает из шалуна и пай-мальчика
ШАМОТ — беззубый рот

ШАНЕЦ — небольшой шанс
ШАНСОНЕТКА — женщина, у которой нет шансов на успех
ШАРЛАТАН — побывавший в ремонте аэростат
ШАРМАНКА (амурн.) — очаровательная женщина
ШАРОВАРЫ — фрикадельки
ШАТЕН (милиц.) — подвыпивший мужчина
ШАТУН — 1. (мед.) молочный зуб; 2. см. ВАЛУН
ШАХЕР-МАХЕР — купленная шахматная партия
ШАШНИ — первенство по шашкам
ШВАЛЬ — продукция швейной фабрики, ср. ШВАХ
ШВАХ — крах швейного предприятия
ШВЕЙЦАР (ист.) — царский портной
ШЕВЕЛЮРА — фото с испорченной выдержкой
ШЕЙХ (вост.) — портной, ср. ШИВА
ШЕПТАЛО (суд.) — ухо
ШЕРШЕНЬ — напильник
ШЕСТЕРНЯ (потенц.) — шестеро близнецов
ШИВА (евр.) — портной, ср. ШЕЙХ
ШИПОВКИ (автом.) — шины из шипованной резины
ШИПУЧКА (разг.) — колючая проволока
ШИРИНКА — одно из измерений малых предметов
ШИТО-КРЫТО — цирк-шапито
ШКАЛИК (ласк.) — прибор
ШКОДНИК — работник автоконцерна «Шкода»
ШКУРНИК — скорняк
ШЛЕПАНЦЫ (множ.) — озорные, непослушные дети, сорванцы
ШЛЮПКА — шляпка для шлюхи
ШПАГАТ — фехтовальщик
ШТАБЕЛЬ (воен.) — стратег
ШТОПОР — машинка для починки носков
ШТУКАТУР — 1. комедиант, фокусник; 2. дорогая турпоездка
ШУМОВКА — вечеринка
ШУТИХА — см. ОСТРИЦА
ШУШУН — сплетник

ЩЕБЕНЬ (собр.) — птичье пение
ЩЕКОЛДА (женск.) — одутловатое лицо
ЩЕЛОК — отверстие, дырочка от сучка
ЩЕПОТЬ (собр.) — отходы деревообработки
ЩЕТИНА (уважит.) — большой счет в ресторане
ЩИТОМОРДНИК — омоновец

ЩУПЛЫЙ — осязаемый
ЩУРЕНОК — ребенок, смотрящий на солнце
ЩУЧИТЬ — заниматься рыбной ловлей, ср. СУДАЧИТЬ

ЭКСПИБИЦИОНИСТ — бывший сотрудник ГБ
ЭКСПРЕССИЯ — скоростная железная дорога
ЭКСТАЗ (общеизв.) — таз, бывший в употреблении
ЭКСТРАДИЦИЯ — традиция прошлых лет
ЭКСТРАКТ (автом.) — заброшенная дорога
ЭЛЛИНГ — древнегреческое причастие
ЭНИКИ-БЕНИКИ (детск.) — матерное ругательство
ЭПИСТОЛЯРНЫЙ (уст.) — оружейный
ЭПОЛЕТЫ — эпические годы
ЭРОТИЗМ — эпохальность
ЭСКИМОС — продавец мороженого
ЭСКУЛАП — брат эскалопа
ЭСТЕТИК — начинающий эстет
ЭТАЖЕРКА — соседка по лестничной площадке
ЭТАНОЛ (опеч.) — эталон
ЭТИКЕТКА — приверженница ритуалов и традиций

ЮБОЧНИК — дамский портной
ЮНКЕР (сокр.) — член кружка юных керамистов
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (ирон.) — фонтан перед Дворцом правосудия
ЮРСКИЙ ПЕРИОД (девич.) — период увлечения Юрой
ЮТИТЬСЯ (морск.) — находиться на юте

ЯБЕДА — самопризнание: я не подарок
ЯВА — событие, факт
ЯГОДИЦА (псковск.) — брусника
ЯДРИЦА (разг.) — атомная электростанция
ЯЗЫЧНИК (проф.) — лингвист
ЯЙЦЕКЛЕТКА — клетка на птицеферме
ЯКОБИНЕЦ — человек сомневающийся, не верящий чужим словам
ЯКШАТЬСЯ (тибет.) — кататься на яках
ЯМЩИК — дорожный рабочий, асфальтировщик
ЯРКА — Полярная звезда
ЯРОВИЗАЦИЯ — прихождение в ярость
ЯРОПОЛК — гвардейская часть
ЯСЕНЬ — ведро, хорошая погода
ЯСНОВИДЯЩИЙ — человек без очков

ИЗБРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ВОПРОСАМ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ И ЯЗЫКОВОГО ЮМОРА

- Аксиологическая лингвистика: игровое и комическое в общении: Сборник научных трудов. Волгоград, 2003.
- Анекдот как феномен культуры: Материалы круглого стола 16 ноября 2002 г. СПб., 2002.
- Арутюнова Н.Д.* Аномалии и язык (К проблеме языковой «картины мира») // Вопросы языкознания. 1987. № 3. С. 3—19.
- Арутюнова Н.Д.* Ненормативные явления и язык // Язык и логическая теория: Сборник научных трудов. М., 1987. С. 140—152.
- Бакина М.А.* Словотворчество // Языковые процессы современной русской художественной литературы. Поэзия. М., 1977. С. 78—127.
- Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
- Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
- Белянин В.П., Бутенко И.А.* Живая речь. Словарь разговорных выражений. М., 1994.
- Берн Э.* Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 1988.
- Бикертон Д.* Введение в лингвистическую теорию метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С. 284—306.
- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* «Аномальные» высказывания: проблемы интерпретации // Metody formalne w opisie języków słowiańskich. Pod red. Z. Saloniego. Białystok, 1990. С. 159—170.
- Бурау И.Я.* Загадки мира слов. Донецк, 1997.
- Вагапова Д.Х.* Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М., 1999.
- Вальтер Х., Мокшенин В.М.* Антипословицы русского народа. СПб., 2005.
- Вальтер Х., Мокшенин В.* Пословицы русского субстандарта (Материалы к словарю). Экспериментальный выпуск. Greifswald, 2000.
- Ветвицкий В.Г.* Занимательное языкознание. М., 1966.
- Витгенштейн Л.* Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985. С. 79—128.
- Гик Е.Я.* Занимательные математические игры. 2-е изд. М., 1987.
- Горелов И.Н.* Разговор с компьютером: Психолингвистический аспект проблемы. М., 1987.
- Горелов И.Н., Седов К.Ф.* Основы психолингвистики. М., 1997.
- Грайс Г.П.* Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985. С. 217—237.

- Григорьев В.П.* Паронимия // Языковые процессы современной русской художественной литературы. Поэзия. М., 1977. С. 186—239.
- Григорьев В.П.* Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М., 1986.
- Гридина Т.А.* Словарные пометы как элемент языковой игры (на материале «Бестолкового этимологического словаря») // Проблемы варьирования языковых единиц. Екатеринбург, 1994. С. 38—45.
- Гридина Т.А.* Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург, 1996.
- Димитрова С.* Исключения в русском языке. Ohio, 1994.
- Земская Е.А.* Словообразование как деятельность. М., 1992.
- Иткин И.Б.* Словарные пометы и языковая игра // Филологические науки. 1994. № 2. С. 100—107.
- Киклевич А.К.* Художественный текст и теория возможных миров // Художественный текст: онтология и интерпретация. Саратов, 1992. С. 39—47.
- Ковалев В.П.* Языковые выразительные средства русской художественной прозы. Киев, 1981.
- Кондратов А.* Формула чуда. М., 1987.
- Красильникова Е.В.* «Почему не говорят...?» // Развитие современного русского языка 1972. М., 1975. С. 221—227.
- Крейдлин Г.Е.* Структура афоризма // Проблемы структурной лингвистики 1985—1987. М., 1989. С. 196—206.
- Кронгауз М.А.* Социализм как источник юмора // Езикът на тоталитарното и посттоталитарното общество. София, 1996. С. 75—79.
- Кэрролл Л.* Логическая игра. М., 1991.
- Левин Ю.И.* Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998.
- Лингвисты шутят / Сост. и ред. А.К. Киклевич. München, 2000.
- Лихачев Д.С., Панченко А.М., Поньрко Н.В.* Смех в Древней Руси. Л., 1984.
- Маркарян Р.А.* Типы семантического противодействия в сфере формирования и словообразования. Ереван, 1970.
- Минский М.* Остроумие и логика когнитивного бессознательного // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988. С. 281—309.
- Мурзин Л.Н.* Норма, речевой прием и ошибка с динамической точки зрения // Речевые приемы и ошибки: типология, деривация и функционирование. М., 1989. С. 5—13.
- Новиков В.Л.* Книга о пародии. М., 1989.
- Норман Б.Ю.* Всерьез о шутке (Комментарий к «Этимологическому словарю» и «Этимологический словарь») // Вопросы языка и литературы. Выпуск IV, часть I. Новосибирск, 1970. С. 188—199.

- Норман Б.Ю. Псевдовысказывания как дидактический и лингвокультурный феномен // Традиции и тенденции в современной грамматической науке: По материалам I Международного конгресса исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность»: Сб. научных статей. М., 2005. С. 36–45.
- Норман Б.Ю. Язык: знакомый незнакомец. Минск, 1987.
- Одицов В.В. Лингвистические парадоксы. М., 1979.
- Панов М.В. О переводах на русский язык баллады «Джаббервокки» Л. Кэрролла // Развитие современного русского языка 1972. М., 1975. С. 239–248.
- Паркинсон С.Н. Мышеловка на меху // С.Н. Паркинсон. Законы Паркинсона. М., 1989. С. 237–312.
- Пешковский А.М. Объективная и нормативная точка зрения на язык // А.М. Пешковский. Избранные труды. М., 1959. С. 50–62.
- Попова Т.В. Семантическое пространство русского глагола и языковая игра // Художественный текст: структура, семантика, прагматика. Екатеринбург, 1997. С. 131–143.
- Протт В.Я. Проблемы комизма и смеха. М., 1976.
- Ремчукова Е.Н. Креативный потенциал русской грамматики. М., 2005.
- Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест / Отв. ред. Е.А. Земская. М., 1983.
- Санников В.З. Каламбур как семантический феномен // Вопросы языкознания. 1995. № 3. С. 59–69.
- Санников В.З. Лингвистический эксперимент и языковая игра // Вестник Московского университета. Сер. 9 (Филология). 1994. № 6. С. 25–28.
- Санников В.З. Русские сочинительные конструкции. Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 1989.
- Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.
- Сахарный Л.В. Как устроен наш язык. М., 1978.
- Сахарный Л.В. К тайнам мысли и слова. М., 1983.
- Седов К.Ф. Основы психолингвистики в анекдотах. М., 1998.
- Трошина Н.Н. Семантическая связность и нормативность поэтического текста // Структура и функционирование поэтического текста: Очерки лингвистической поэтики. М., 1985. С. 115–160.
- Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965.
- Фолсом Ф. Книга о языке. М., 1974.
- Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. Страх. Тотем и табу. Минск, 1998.
- Хантира Э. Окказиональные элементы в современной речи // Стилистические исследования. М., 1972. С. 245–317.
- Хейзинга И. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
- Хелльберг Е. Фольклорные перевертыши // Russian Linguistics. 12. 1988. С. 293–301.
- Хинтиikka Я. Логико-эпистемические исследования. М., 1980.
- Хоум Г. Основания критики. М., 1977.
- Чуковский К. От двух до пяти. Минск, 1984.
- Шмелев А.Д. Парадокс самофальсификации // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М., 1990. С. 83–93.
- Щерба Л.В. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Л.В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 24–39.
- Щербина А.А. О некоторых приемах «заострения» слога // Русский язык в школе. 1975. № 3. С. 80–83.
- Ягелло М. Алиса в стране языка. Тем, кто хочет понять лингвистику. М., 2003.
- Язык как творчество. К 70-летию В.П. Григорьева: Сб. научных статей. М., 1996.
- Языковая игра как вид лингвокреативной деятельности. Формирование языковой личности в онтогенезе (Всероссийская конференция «Язык. Система. Личность» 25–26 апреля 2002 г.: Материалы докладов и сообщений). Екатеринбург, 2002.
- Языковая игра. Онтогенез речевой деятельности. Дискурсивная презентация языковой личности: Материалы международной конференции «Язык. Система. Личность» 14–16 апреля 2004 г. Екатеринбург, 2004.
- Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 193–230.
- Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М., 1983. С. 462–482.
- Adams D., Lloyd J. The Meaning of Liff. London, 1983.
- Augarde T. The Oxford guide to word games. Oxford; New York, 1986.
- Buttler D. Polski dowcip językowy. Warszawa, 1974.
- Crystal D. Language play. Penguin books, 1998.
- Dönninghaus S. Normabweichungen als Grundlage der Scherzkomunikation. Illustriert an Beispielen aus dem Russischen // Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Bd. 3. München, 2000. S. 64–74.
- Fónagy I. Languages Within Language. An evolutive approach. Amsterdam / Philadelphia, 2001.

- Freidhof G.* Anaphonische Wortspiele und Übersetzung I (Schüttelreim, Anagramm, Palindrom) // Aspekte der Slavistik. Festschrift für Jozef Schrenk (Slavistische Beiträge, Bd. 180). München, 1984. S. 26–41.
- Freidhof G.* Anaphonische Wortspiele und Übersetzung II (Motivation, Verballhornung, Permutantenreihung) // Festschrift für Herbert Bräuer zum 65. Geburtstag am 14. April 1986. Köln; Wien, 1986. S. 85–100.
- Gerhardt D.* Russisch wie es nicht im Wörterbuch steht // Zeitschrift für den Russisch-Unterricht. Bd. VII. Heft 1. 1971/1972. S. 5–31.
- Gry w języku, literaturze i kulturze / Pod red. E. Jędrzejko i U. Żydek-Bednarczuk. Warszawa, 1997.
- Henne H.* Sprachpragmatik. Nachschrift einer Vorlesung. Tübingen, 1975.
- Lederer R.* Anguished English. An Anthology of Accidental Assaults Upon Our Language. Charleston, 1987.
- Norman B.* Reality and Language Games in Contemporary Russian // Language and Society in Post-Communist Europe / Edited by J.A. Dunn. Macmillan Press Ltd., 1999. P. 102–108.
- Raskin V.* Semantic mechanisms of humor. Dordrecht; Boston; Lancaster, 1985.
- Sobkowiak W.* On spoonerisms // Word, vol. 41 (1990). № 3. P. 277–292.
- Szczerbowski T.* O grach językowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesiątych. Kraków, 1994.
- Titkow T.* Dowcip – łajdak o rozdwojonym języku. Warszawa, 1995.

Научно-популярное издание

Норман Борис Юстинович
ИГРА НА ГРАНЯХ ЯЗЫКА

Подписано в печать 10.04.2006. Формат 60 × 88/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,1. Уч.-изд. л. 19,8.
Тираж 2000 экз. Заказ . Изд. № 1187.

ООО «Флинта», 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17-Б, комн. 345.
Тел./факс: 334-82-65; тел. 336-03-11.
E-mail: flinta@mail.ru, flinta@flinta.ru;
WebSite: www.flinta.ru

Издательство «Наука», 117997, ГСП-7, Москва В-485, ул. Профсоюзная, д. 90.